СИМВОЛЫ ВРЕМЕНИ

Сергей Ермолинский

О времени, о Булгакове и о себе

SHOUT
SHARE
IT

Annotation

С. А. Ермолинский (1900–1984) — известный сценарист, театральный драматург и писатель. По его сценариям сняты фильмы, по праву вошедшие в историю кинематографа: «Земля жаждет», «Каторга», «Поднятая целина», «Дорога», «Неуловимые мстители» и мн. др. Он является автором ряда пьес, постановка которых была отмечена как событие в театральной жизни: «Грибоедов», «Завещание» и «Ни на что не похожая юность».

Но сам он главным делом своей жизни считал прозу, которой посвятил последние годы, и прежде всего повесть-воспоминание «Михаил Булгаков». Они были близкими друзьями, несмотря на разницу в возрасте, и эту дружбу Сергей Александрович пронес через всю жизнь, служил ей преданно и верно, ни разу не отступившись даже в самых страшных обстоятельствах.

В книгу вошли отрывки из автобиографической повести «Юность», «Записки о Михаиле Булгакове», в том числе и не публиковавшаяся при жизни автора вторая, незавершенная часть — «Тюрьма и ссылка. После смерти», воспоминания друзей. В приложении даны письма к Ермолинскому М. А. и Е. С. Булгаковых, протоколы допросов.

- Сергей Ермолинский
  - ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ
  - ПИСЬМО Л. Н. ТОЛСТОГО ВОСЬМИЛЕТНЕМУ СЕРЕЖЕ ЕРМОЛИНСКОМУ[2]
  - ИСТОРИЯ ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО СЕРЕЖЕ ЕРМОЛИНСКОМУ
  - ЮНОСТЬ
  - ЗАПИСКИ О М. БУЛГАКОВЕ
    - ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
    - ЧАСТЬ ВТОРАЯ
    - ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
  - ЛОШАДИ В ВИТРИНЕ
  - ПРИЛОЖЕНИЕ
    - ПИСЬМА М. БУЛГАКОВА С. ЕРМОЛИНСКОМУ
    - ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ ЕРМОЛИНСКОГО[108]
    - ПИСЬМА Е. С. БУЛГАКОВОЙ С. А. ЕРМОЛИНСКОМУ И Т. А. ЛУГОВСКОЙ[109]
    - С. АХМЕТОВ[132]
  - ВОСПОМИНАНИЯ О ЕРМОЛИНСКОМ
    - Б. ЛЕВИНСОН[134]
    - В. КАВЕРИН[135]

- АНДРЕЙ ХРЖАНОВСКИЙ[137]
- СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ[139]
- Н. РЯЗАНЦЕВА[141]

Иллюстрации

- notes
  - 1
  - 2
  - 3
  - 4
  - 5
  - 6
  - 7
  - 8
  - 9
  - 10
  - 11
  - 12
  - 13
  - 14
  - 15
  - 16
  - 17
  - 18
  - 19
  - 20
  - 21
  - 22
  - 23
  - 24
  - 25
  - 26
  - 27
  - 28
  - 29
  - 30
  - 31
  - 32
  - 33
  - 34
  - 35
  - 36
  - 37
  - 38
  - 39

- ○ 40
- ○ 41
- ○ 42
- ○ 43
- ○ 44
- ○ 45
- ○ 46
- ○ 47
- ○ 48
- ○ 49
- ○ 50
- ○ 51
- ○ 52
- ○ 53
- ○ 54
- ○ 55
- ○ 56
- ○ 57
- ○ 58
- ○ 59
- ○ 60
- ○ 61
- ○ 62
- ○ 63
- ○ 64
- ○ 65
- ○ 66
- ○ 67
- ○ 68
- ○ 69
- ○ 70
- ○ 71
- ○ 72
- ○ 73
- ○ 74
- ○ 75
- ○ 76
- ○ 77
- ○ 78
- ○ 79
- ○ 80
- ○ 81
- ○ 82
- ○ 83

- ○ 84
- ○ 85
- ○ 86
- ○ 87
- ○ 88
- ○ 89
- ○ 90
- ○ 91
- ○ 92
- ○ 93
- ○ 94
- ○ 95
- ○ 96
- ○ 97
- ○ 98
- ○ 99
- ○ 100
- ○ 101
- ○ 102
- ○ 103
- ○ 104
- ○ 105
- ○ 106
- ○ 107
- ○ 108
- ○ 109
- ○ 110
- ○ 111
- ○ 112
- ○ 113
- ○ 114
- ○ 115
- ○ 116
- ○ 117
- ○ 118
- ○ 119
- ○ 120
- ○ 121
- ○ 122
- ○ 123
- ○ 124
- ○ 125
- ○ 126
- ○ 127

- ○ 128
- ○ 129
- ○ 130
- ○ 131
- ○ 132
- ○ 133
- ○ 134
- ○ 135
- ○ 136
- ○ 137
- ○ 138
- ○ 139
- ○ 140
- ○ 141
- ○ 142
- ○ 143

Сергей Ермолинский
О времени, о Булгакове и о себе

ОБ АВТОРЕ ЭТОЙ КНИГИ

С. А. Ермолинский Портрет работы Б. Жутовского

Если бы судьба подарила С. А. Ермолинскому возможность завершить работу, которую он в последние годы считал главной, — перед нами была бы другая книга.

Это была бы необычная книга размышлений одного писателя о другом — рассказ обо всем, чему Ермолинский, будучи другом Булгакова, являлся свидетелем в 20-е годы и в 30-е. Повесть о «булгаковском деле, которого не было, но которое существовало», отчего того же Ермолинского в 40-м году «взяли за шиворот» и бросили в тюремную камеру. Так как дело это «существует до сих пор», это был бы еще и полный, обстоятельный рассказ о том, как, какими непостижимыми путями пробивалось на свет затаптываемое и замалчиваемое булгаковское наследие. В этом фантасмагорическом процессе участвовали многие люди, и Ермолинский знал их роль, их разнообразные поступки — героические и трусливые, корыстные и мужественные. Но от третьей части задуманной писателем работы остался лишь неполный конспект, перечень некоторых фактов. Взявшись за это предисловие, я позвонила одному из известных, наиболее энергичных булгаковедов, чтобы спросить: какое место, на его взгляд, в нынешнем потоке исследований и мемуарной литературы о Булгакове занимает то, что было когда-то написано Ермолинским. Мне было отвечено: «Он задал тон».

Не так уж мало. Потому что за двадцать с лишним лет, с той поры как в журнале «Театр» вышли в свет фрагменты этих записок, «тон» не удалось сбить ни восторженным поклонникам Булгакова, ни биографам, более всего почитающим объективность. В конце концов, само время могло сбить этот тон — не сбило, однако.

Трудно сбить тон, продиктованный не только личным знанием, но стремлением понять самую суть художника, его стержень. В таком стремлении нет ни личной корысти, ни ученого честолюбия.

Сегодняшний день открывает совсем новые возможности изучения советской литературы и личности Булгакова в частности. Открыты архивы, опубликована масса документов. Можно сопоставить все факты биографии писателя и вчитаться в каждую его строчку. Можно вписать человеческую жизнь в сложный контекст времени. Все это делается и будет делаться еще неоднократно. Растут и множатся сведения, а объективность сегодняшнего биографа неравнозначна сверхобъективности какого-либо завтрашнего.

Записки Ермолинского не претендуют ни на полноту, ни тем более на беспристрастность. Но мне они кажутся более мудрыми, нежели иной научный труд. Потому что они человечны прежде всего. В драме чужой жизни пытается разобраться близко знавший Булгакова человек и делает это не холодно, а с горечью, любовью, болью. Как филолог он размышляет о возможных

источниках романа «Мастер и Маргарита», но как художник, лишенный всякой зависти, он пишет об этом волнуясь. Факты в этих записках бесценны, потому что не только не выдуманы, но и выверены, и об этом следовало бы сказать в первую очередь. Ермолинский — не «беллетрист», его ведет не фантазия, но память. Память сердца и ход собственных размышлений. Личность Булгакова на наших глазах становится легендой, а легенда, как известно, складывается почти независимо от серьезных исследований. Свидетельства Ермолинского в свое время преградили дорогу многому, что было неправдой. И уже одно это важно.

Но кроме фактов, внутри них и над ними, в этих записках возникает своя тема — тема человеческих отношений, которые могут стать формирующей силой.

Ермолинский рассказывает о характере Елены Сергеевны Булгаковой, а мы видим, что и ее, в конце концов, создала и деформировала личность Булгакова, уже когда писателя не было в живых. Она не была Маргаритой, как иногда думают и как гласит легенда. Но она ею стала. Булгаков увидел в ней свою Маргариту, полюбил, а потом и сотворил. В жизни этого художника много необыкновенного. Прежде всего, необыкновенна сила творящего.

И в судьбе Ермолинского эта сила сделала свое дело. Однажды мы беседовали с ним о том, что помогает человеку выстоять в тяжелых обстоятельствах. «Что касается меня, — сказал Сергей Александрович, — я был хорошо оснащен». Он произнес это с той суховатой твердостью, с какой говорил на самые важные темы. Его оснащением были урок Булгакова и дружба с ним. Кроме того, человека иногда держит долг. Не тяготит, но — держит. Булгаков перед смертью сказал, показав на ящики письменного стола: «Тебе надо знать, где что лежит. Ты должен помочь Лене». И этот долг стал во многом содержанием жизни и ее поддержкой.

У каждого мемуариста свой путь писания мемуаров. Ермолинский написал о Булгакове после того, как многое сделал для его памяти. Его работа началась буквально через несколько дней после кончины Булгакова. Судьбой было отпущено какое-то время, и Ермолинский вместе с Еленой Сергеевной принялись разбирать рукописи и черновики. Все это не исчезло, не пропало, стало основой архива, которым исследователи пользуются по сей день. Из старых газет и журналов сейчас извлекаются фельетоны и рассказы молодого Булгакова, но и это в свое время начали Елена Сергеевна и Ермолинский. Он был введен в первый состав комиссии по литературному наследию писателя, начал там

хлопотливую и трудную работу, не предвидя, чем она будет прервана. В 40-м году его арестовали.

Почему у меня как у читателя возникает чувство доверия к автору?

Его личное знание ничем не замусорено, не искажено.

Нет сомнения, что автор знает больше, чем написал. Он был наблюдательным человеком, и ему было свойственно чувство живого любопытства. Но пишет он только о том, что имеет отношение к Булгакову-художнику. Это не специальное утаивание каких-то знаний, а высокая этика и дисциплина письма, к которой призывал Пушкин.

Притом автор не намекает на то, что знает о Булгакове все. Напротив. Далеко не все он увидел и смог понять. И даже со временем, хотя он об этом постоянно думал, далеко не все ему открылось. И это естественно. Разве все открылось в Пушкине или в Гоголе? Например, на самый главный вопрос — почему в 20-е годы мог родиться замысел такого романа, как «Мастер и Маргарита», у Ермолинского нет ответа. Он прекрасно знал, что исследователи думают об этом, изучают и сопоставляют факты, он сам помогал этой работе, интересовался ею, — но ответа не дал.

Потому что это тайна. И разгадки ее, может быть, не знал сам Булгаков.

Лучше вовремя остановиться перед тайной. И Ермолинский останавливается. Почти так же, как когда-то, в начале 30-го года, будучи молодым, прослушав первые главы романа и выйдя с Булгаковым на улицу, остановился перед ним, чтобы воскликнуть только одно: «Гениально!»

Смешным, наверное, выглядел этот первый потрясенный слушатель, забавной была вся эта мизансцена. Но и в старости иногда человек дорожит больше минутой какого-то пережитого чувства, нежели умными, более поздними соображениями. Счастливым человеком был Сергей Александрович Ермолинский! Подумать только! — был у него случай, когда, глядя прямо в глаза автору «Мастера и Маргариты», ни о чем не размышляя и ничего не опасаясь, он мог выкликнуть то, что, может быть, единственно и нужно было автору, но главное, что было верно: это — гениально. Тут Булгаков захохотал и, схватив за руку своего приятеля, стал выплясывать… («Ай-да Пушкин, ай-да сукин сын!»)

Сколько жизней иногда может прожить один человек? Да еще в России, где социальный уклад переломил однажды всю историю страны, да еще в литературе, где судьбы ломались нещадно?

С. А. Ермолинский любил повторять мысль драматурга

Островского, что писателю в России надобно жить долго. Чтобы все успеть. Булгаков долго не жил, но успел написать свой главный роман. Невозможно, однако, узнать автора этого романа в его первых фельетонах — они как будто не им написаны.

Я держу в руках книжку, изданную в 36-м году. Называется она «Как мы работаем над киносценарием». Это сборник статей. Среди таких авторов, как А. Каплер, Н. Зархи, О. Брик, — имя С. Ермолинского. И начинается его статья так:

«Я люблю путешествовать. Во мне пробуждается тогда неудержимый оптимизм.

Трясясь на полуторатонке в предгорьях западного Копетдага, по белым плешинам солончаков, я неожиданно сочиняю и пою песни.

В горном кишлаке Таджикистана тренькаю на дутаре, будто на балалайке, соревнуясь с крохотным дутаристом-таджиком.

В Донбассе я играю в шашки с молчаливейшими людьми на свете — с шахтерами, и даже могу поплясать на вечеринке у местного профсоюзного работника…»

«Я был металлургом, подводником, агрономом, летчиком…» Это написано человеком, которого я не знала. Это отражение какой-то первой части его жизни, мне неизвестной. Здесь все — и веселый перечень занятий, и уверенность в «знании жизни», и ритм, и настроение — из тех 30-х годов, которые мы знаем по кадрам старого бодрого кинематографа.

Однако и выдумки тут нет — Ермолинскому в кинематографе действительно везло, он был признанным сценаристом. Страсть к путешествиям позволила ему объездить всю страну. И дружба с режиссерами была, и радовали успешные премьеры фильмов. Сергей Александрович Ермолинский, по его словам, был «вполне благополучный господин» — сначала журналист, потом сценарист, путешественник и ярый собачник, судья на собачьих выставках и т. д. и т. п.

Когда мы познакомились, он говорил о тех своих занятиях с оттенком иронии, будто и не о себе, а о каком-то отдаленно знакомом человеке.

Между тем однажды, рассказывая о работе в кино, он сделал неожиданное отступление в сторону:

— Пристрастие мое к изучению исторических и историко-литературных материалов не покидало меня никогда. Это было потребностью — пищей для раздумий над судьбой народной и судьбами людей необыкновенных, вобравших в себя судьбу века.

В ссылке он написал пьесу о Грибоедове. А дальше — Пушкин, Денис Давыдов, Блок, Толстой, Островский стали его героями. В тот же ряд встал для него Булгаков.

Мне мучительно больно было читать черновик рукописи второй части этой книги. Больно, потому что Сергея Александровича я хорошо знала и его уже нет на свете. Он не дожил до того времени, когда Сталина открыто назвали палачом и всю придуманную им и его соратниками систему осознали как многолетнюю болезнь, от которой во что бы то ни стало надо избавиться, то есть вылечить и общество, и людей.

Он о многом молчал, а теперь будто решился рассказать — и мне, и другим. На самом деле он решился гораздо раньше — рассказать во всех подробностях про то, как дано ему было узнать «изнанку нашего существования», какова она, эта изнанка. Во второй части своих записок он пишет только об атом, — напрягая память, но восстанавливая в деталях все то, что хочется забыть, как кошмар. Он не забыл. Но если говорил, то очень коротко. «Друг мой, я видел все это в натуральную величину», — ответил он писателю Даниилу Данину, который хотел поделиться с ним какими-то новыми сведениями о людях, прошедших тюрьму.

В тюрьме у него поначалу отбили всякую способность что-либо понимать. Трудно представить себе, в каких условиях человек обретал эту способность, какими усилиями добывал ту «пищу для размышлений», без которой не мог жить. Но вот, больной, измученный, заброшенный в глухие края Казахстана, он, оглядевшись вокруг, уже бежит в библиотеку, роется в справочниках, потому что уже работает голова и он заинтересовался историей завоевания Россией Средней Азии и судьбой Чокана Валиханова…

Днем копал промерзшие чужие огороды, чтобы получить две тарелки борща, но при этом достал-таки ученическую тетрадь и соорудил коптилку. Зачем? Чтобы не быть рабом. «Я мог работать ночами!» — это написано ликующе. И потому при первом же случае на Алма-атинскую киностудию была отправлена заявка сценария о Чокане Валиханове. Ее написал человек без вольного паспорта (такого документа не было до 66-го года), совсем не похожий на «благополучного господина», которым был когда-то.

Имеет ли все это отношение к Булгакову? Да, и самое прямое для судьбы Ермолинского. «Руки мои скручены, но голова свободна: не засорять ее пустыми страхами. И я думал о Булгакове, когда он, зная, что умирает, поправлял строчки и отдельные слова в своем последнем романе. А я не умираю. Я не имею права умирать. Лишь один раз смалодушничал — в Лефортове. Но ведь я был невменяем, бессонница довела. Нет, теперь не то!»

О том, как он подобрал на тюремном дворе острый осколок стекла и взрезал себе вены на руке, когда-то, приглушив голос,

рассказывала мне Татьяна Александровна, его жена. Сам он об этом никому не говорил. Теперь, я вижу, написал — как о минуте недопустимой слабости.

На первых допросах все было непонятно. Речь шла о «связях с иностранцами», о шпионаже в пользу японской разведки. Все это казалось бредом. Но вот было произнесено имя Булгакова. В доме, который для Сергея Александровича был родным, оказывается, «заваривалась вонючая контрреволюционная каша», и он, Ермолинский, должен подробно рассказать об участниках этих сборищ. «И вдруг все ясно стало в моей голове. Я понял, чего от меня добиваются. И понял, и смог думать, и, вернувшись в камеру, мог задать себе вопросы, чтобы уже знать, как вести себя дальше. Почему нужно, чтобы я очернил память Миши?.. Но ведь это кому-то надо? А может быть… трусливое желание оболгать загубленную жизнь писателя, если не удастся забыть ее?». Он не предполагал, что еще столкнется с таким желанием совсем в другое время. Не думали об этом и следователи — «маленькие садисты», как он их называет.

От него ничего не добились. И вытолкнули из камеры в вагон для ссыльных. Вагон отправлялся в Саратов. Потом он узнал, что в том же вагоне, где-то рядом с ним находился великий ученый Н. Вавилов.

…Читая все это, вдруг вспоминаешь самое начало записок — о том, как по легкому морозцу спускались они с Булгаковым от Остоженки на замерзшую Москву-реку и, блаженствуя от зимнего солнышка, катились к Нескучному саду по наезженной лыжне. Менее опытный лыжник часто падал на крутых спусках, но однажды неожиданно удачно съехал с большой горы. «Молодец! — воскликнул Булгаков. — А почему? Да потому что не боялся. Не видел, какая горка, и не боялся. Главное, Сергей, не бояться…»

До ареста — не видел, не знал, потому и не боялся. А потом увидел столь многое, что чуть не потерял рассудок. Но не потерял, а страх постепенно стал отпускать душу. Он узнал, какая связь существует между племенем «маленьких садистов» и высокопоставленной государственной элитой, в частности — писательской. Эта связь может по случайности и порваться, но может и завязаться крепким узлом и решить чью-то судьбу. К примеру, ордер на его арест отказался подписать первый секретарь Союза писателей А. Фадеев, но в соседнем кабинете ту же необходимую процедуру выполнил второй секретарь — П. Павленко. Нечто существенное к следствию добавила и бумага В. Вишневского, где было сказано, что работник киностудии, посмевший раскритиковать сценарий «Мы — русский народ»,

безусловно, антисоветчик.

Эти горькие знания тоже давали в итоге пищу для размышлений о судьбах нашей литературы. В русском писателе, вернувшемся в литературу, навсегда сохранилась настороженность к писательским верхам. Это как у Заболоцкого, тоже страстного любителя собак, осталось холодное отношение к немецким овчаркам. «И все-таки, — сказал однажды Заболоцкий, — мы оба не правы… Потому что я убежден, что и этих собак можно было сделать людьми… Не наша ли это вина? Мы сталкивались с ними в ненормальных условиях, у нас не хватало выдержки и, если хотите, ослабела воля…»

Вторую часть своих воспоминаний он писал в годы, когда все общество, следуя повелению сверху, «забыло» свою историю и свой опыт. Было сделано все, чтобы люди забыли свою жизнь, свое и чужое страдание, чтобы молчали, не разбираясь ни в чем — ни в прошлом, ни в настоящем. Ермолинский писал вопреки этому общему забвению, и потому писать было трудно.

Как теперь выяснилось, не он один так работал в те годы. Но у кого-то была своя надежда на публикацию — не у нас, так за рубежом. Другие потихоньку читали написанное друзьям или пускали в Самиздат. С. А. Ермолинский был далек от таких действий. Он писал для себя, «в стол», и не был уверен, что успеет закончить эту работу.

Когда кто-то говорит, что он об этом охотно рассказывал, советовался и т. п., — я не верю. Он и Татьяне Александровне рассказал о тюрьме лишь однажды ночью и больше никогда об этом не говорил. Какие же тут советы были ему нужны? Он проходил по однажды уже пройденной дороге, шаг за шагом, и мучился оттого, что надо рассказывать о самом себе. «Трудно писать о себе. Слова, ворочаясь, падают пудовыми гирями».

Вполне может быть, двум-трем людям он и давал что-то читать. Мне — нет. При всей откровенности и доброте наших отношений, он не предлагал, а я не просила. В дни, которые он отводил в последний год жизни этой работе, лицо у него было измученное и отрешенное. Он решил выполнить долг до конца, то есть рассказать все, но делал это, мне кажется, без той страсти и энергии, которые сегодня одолевают иных пишущих.

Может быть, он слишком долго откладывал эту работу и мало на нее осталось сил? Может, корил себя за то, что тратился на «поденщину», которая продолжала вмешиваться в его жизнь? Не знаю. Трудно старому человеку, профессиональному литератору писать «для себя». Трудно, когда с запасом сил плохо и понимаешь это. Однотомник его «Драматических сочинений» был задержан в Госкомиздате. Это лето, прошедшее в ожидании,

стоило ему таких нервов, что на другую работу просто не было сил. Он догадывался, в чем тут причина («Булгаков! Неприятное имя!»), но как только намекали, что вынуть из сборника надо только эти записки, он будто каменел, ни на какие уступки не шел. И не было никаких высоких знакомств, не было хлопотунов, которые подтолкнули бы как-то проклятую административную машину. На глазах Ермолинский терял здоровье. Наблюдать это было невыносимо тяжело.

А вокруг шла обычная писательская круговерть. Кто-то дарил свои книжки, кто-то приносил вырезки рецензий. А Сергей Александрович сидел на веранде в Переделкино перед закрытой пишущей машинкой и молчал. Днем ходил звонить — ждал вестей от редактора. Выходил из телефонной кабинки с замкнутым, но спокойным лицом.

Вот и во второй части записок он рассказывает о самом страшном, не меняя спокойной интонации. О том, например, как надо научиться выносить зловонную парашу, как привыкать к смраду тюремного общежития, как ценить глоток воздуха на прогулке, как приспосабливаться к соседям-уголовникам. К чему ему так и не удалось привыкнуть, так это к изощренной матерщине, которая окружала его не в камере, но всегда ждала в кабинете следователя.

Он понял — «маленькие садисты» переняли это из уголовного мира как оружие, как язык, связующий два внешне враждебных лагеря. Переняли, ввели в обиход, освоили в виде орудия пытки. И вот его писательский вывод, данный по размышлении и относящийся уже к другим временам: «…нынче в моде украшать прозу циничными словечками. Это как бы свидетельствует о так называемой раскованности писателя, бесстрашно фиксирующего язык своего современника. Тут, думаю, я мог бы перещеголять многих любителей эдакого городского фольклора, ибо находился едва ли не в центре его лабораторной обработки… Языковедам, надо полагать, придется покопаться и в этой грязи, а меня — увольте».

Для него было слишком понятно, какова разница между сквернословием и свободомыслием, истинным бесстрашием и мнимым.

Пьесой о Грибоедове заинтересовался Московский Художественный театр, к зданию которого не раз приходил Ермолинский, чтобы проводить домой уже больного Михаила Афанасьевича Булгакова. А поставил эту пьесу (уже в другом театре) М. М. Яншин, в то время назначенный руководителем Драматического театра имени Станиславского. Тот самый Лариосик, к которому особую слабость питал автор «Дней

Турбиных», но который написал под давлением обстоятельств статью «Поучительная неудача» о булгаковском «Мольере». Они не разговаривали с тех пор и не встречались. Вспоминая обо всем этом, Яншин плакал. А 15 января 1951 года он чуть не пинком вытолкал на поклоны автора «Грибоедова» — тот тайно приехал в Москву, без всяких документов и без приличного костюма. Как кланялся, в чьем пиджаке был — не помнил. Так, парадоксально, сплетались судьбы, имена, поступки.

Когда Сергей Александрович Ермолинский в 56-м году был реабилитирован, ему, как тогда делалось, предложили денежную компенсацию — 2 или 3 тысячи. Он отказался: «Я стою дороже». Об этом я узнала только недавно, сам он ничего не рассказывал. Его могли считать высокомерным, замкнутым — но это было формой защиты от унижений, которых он достаточно натерпелся. На самом же деле, что самое удивительное, с годами как раз доброта, достоинство и мужество дали в нем какой-то редкостный неповторимый сплав. Неброский, неэффектный, но очень прочный.

Жизнь иногда дарит встречу с человеком, который становится для тебя авторитетом и опорой в самых важных делах — профессиональных, нравственных. Это длится годами, и ты привыкаешь к этому счастью, как к воздуху. Всегда можно прийти, всегда можно поговорить, всегда тебя поддержат, даже если отругают — коротко, мягко, но отругают. И все равно — поддержат, помогут.

Мы познакомились, когда Сергею Александровичу было уже за семьдесят. Ничего старческого или стариковского в облике. Строгая джентльменская стать неторопливой походки. Лишь зная, что он очень плохо видит, можно было понять, откуда осторожность и экономность жестов. Но при том — какие это были красивые жесты — ничего лишнего в движении пальцев, достающих папиросу, берущих книгу… Все запомнилось — как закуривал, как красиво закидывал ногу на ногу, когда сидел, как помешивал чай в стакане. Про него можно было сказать «очень скромный человек», а можно — «аристократ». И то, и другое верно.

Сегодня не хватает поддержки, мужества и доброты этого человека, не хватает его поведения. Не хватает не только мне, но всем, кто приходил в дом к Ермолинским. Пишу «всем», потому что лишних людей в этом доме не было, а плохие как-то не уживались.

Тут все казались хорошими. Потому что дом притягивал к себе хорошее, а плохое оставлял за дверьми. Каждый получал здесь свое. Собирались лица очень разные, но в доме они

становились лучше, это точно.

Я спрашиваю сегодня Леонида Лиходеева: чем нас всех объединял Сергей Александрович? И он, умеющий острить, но не успев придумать никакой остроты (или почувствовав ее неуместность), отвечает задумчиво: «Трудно сказать. Может быть, естественностью своего бытия?» — «Но разве в другом месте ее нет?» — «Значит, нет или не хватает».

Даниил Данин назвал Ермолинского «интеллигентнейшим интеллигентом». Может, нас и привлекала атмосфера чисто русской, чуть старомодной интеллигентности, атмосфера уходящая и не давшая себе замены?

Это был очень добрый дом, но и строгий. Здесь притихали болтуны и неуместной была бы развязность. Дом дисциплинировал, он негласно учил, как себя вести, — и многие учились.

В старом человеке, многие годы прожившем без всякого «общественного обновления», мы находили то благородство, то мужество и человеколюбие, в которых остро нуждались.

Между тем, если заглянуть в самую суть, и характер, и поведение Сергея Александровича определялись не чем-нибудь, но очень стойкой общественной позицией, кодексом нравственных правил, равно обращенных к обществу и к отдельному человеку. Увы, устройство нашего общества этими правилами слишком долго пренебрегало — возникла привычка к лжи, двуличию, парадности. Таким образом, позиция Ермолинского оказывалась далеко не «общей» и требовала мужества.

Будучи краток в определениях и оценках, он свои взгляды не скрывал. Они были выстраданы, выношены. Это было свое понимание отечественной истории последних десятилетий и нерушимое представление о ценностях — и в жизни, и в литературе, и точное знание границ между добром и злом, правдой и ложью. Не посещая никаких писательских собраний, занимаясь исключительно собственным профессиональным делом, Ермолинский был общественным человеком, другого слова я подобрать не могу.

Однажды вечером мы сидели на кухне, пили чай, как вдруг Сергей Александрович почувствовал сильнейший озноб. Пока ждали врача, Сергея Александровича уложили в постель, накрыли несколькими одеялами. Сидя у его изголовья, я, чем могла, развлекала его. Он лежал с закрытыми глазами. Не выдержав, я спросила: «Вы страдаете?»

Не открывая глаз, он произнес слова неожиданные и по смыслу, и по категоричности твердого тона: «Я страдаю за

отечество».

Потом, спустя недели, когда он выздоровел, я рассказала ему про наш диалог и мы долго смеялись. Он уверял, что произнес те слова уже в бреду, ничего не понимая.

Может, так это и было. Но сказал он то, чем постоянно жил, что всегда в нем болело, отодвигая на второй план личные боли. Он действительно страдал за отечество.

…Он любил неторопливость беседы, несуетное сидение на своей московской кухне или на переделкинской веранде, где время от времени очередной гость отодвигал с улицы занавеску и появлялся в раме окна, и иногда так и оставался там, участником разговора.

В зависимости от посетителя, бывало, Сергей Александрович менял тему, переводя ее в необязательное «светское» русло.

Но зато, оставшись в своем кругу, как прекрасно он владел искусством беседы — естественной и умной, шутливой или серьезной! Он не главенствовал в ней и никем не руководил, — но он ценил рождение мысли и ее течение, ценил слово, как-то красиво умел его подыскивать. И бывал доволен, когда находил. Умел замечательно слушать. Понимал настроение говорящего и не навязывал ему собственного. Высший такт проявлялся им как нечто разумеющееся.

В этих вольных разговорах легко дышалось. В них как-то отсекалось все мелкое. В дом Ермолинских не несли сплетен. А говорили о чем угодно! И острили, и хохотали, и истории всякие рассказывали. Но все это как-то само собой приобретало высокий настрой. При том, что любая высокопарность тут же снижалась шуткой.

…А еще дом этот был прекрасен потому, что в нем жила любовь. Не странно ли называть так отношения двоих, совсем уже немолодых людей? А как еще их назвать, если не только удивляться, но любоваться можно было всем — и забавно-упорным обращением друг к другу «на вы»: «Вы, Сереженька…» — и скрытым, но необычайно зорким вниманием друг к другу, и пониманием, и заботой без всякой сентиментальности, и мужеством — совместным, постоянным…

Странное дело, наблюдая, как и кто решается подойти к Ермолинскому на переделкинских дорожках, можно было подумать, что этот человек в мягкой куртке, с палкой в руке — важная персона, именитый писатель, у которого где-то тут несомненно есть собственная дача, где он кому-то дает рекомендательные письма, кому-то — интервью и т. п.

Но дачи у Ермолинского не было, и громкой славы тоже.

Было другое — репутация. Она и создавала вокруг особую атмосферу, ей-то и надлежало как-то соответствовать, если уж вступил в общение.

Некоторым он казался надменным. Но подчеркнутая сдержанность манер была лишь формой защиты — от бесцеремонности, от хамства, от чужой грубости, он напора всего того, что было неприемлемо.

«Он мог быть разорванным надвое — между страданиями своего времени и его высокими идеалами. Он мог быть придавлен трудностями жизни (и не только своей собственной). Он мог быть разрушен, если не физически, то нравственно. Он мог ожесточиться и возненавидеть… Он мог оробеть, чуя выжидательно-изучающие взгляды на себе. И, наконец, он мог просто устать… Этого не случилось».

С. Ермолинский пишет о другом человеке, о Заболоцком, но я, перечитывая эти строки, вижу, каким сгустком мыслей взрывается внешне неторопливое повествование, и думаю, что независимо от авторской воли это написано и о себе тоже.

1991

Н. Крымова[1]

ПИСЬМО Л. Н. ТОЛСТОГО ВОСЬМИЛЕТНЕМУ СЕРЕЖЕ ЕРМОЛИНСКОМУ [2]

Л. Толстой — Сереже Ермолинскому
25 марта 1909 г.
Ясная Поляна.

Желание ваше быть писателем очень дурно; желать быть писателем значит желать славы людской. Это дурное чувство тщеславия. Надо желать одного; быть добрым человеком, никого не обижать, не осуждать, не ненавидеть, а всех любить.

ИСТОРИЯ ПИСЬМА Л. Н. ТОЛСТОГО СЕРЕЖЕ ЕРМОЛИНСКОМУ

Не берусь объяснить, почему восьмилетний мальчик, не прочитавший еще ни одной книги, кроме самых детских, выстроил в своем воображении образ писателя Льва Толстого и сделал его своим кумиром. Может быть, это произошло потому, что он слышал разговоры взрослых (в те годы они обязательно были, кто-то негодовал, а кто-то восхищался Толстым), или портрет сурового и прекрасного старика поразил сердце мальчика, но, так или иначе, он был пленен. И это чувство возвышенного удивления к Толстому сохранилось у него на всю жизнь.

Весьма неискушенный еще в грамоте, но полный порыва, потребовавшего действий, мальчик сел за письмо в Ясную Поляну и в нем выразил свое непреклонное желание стать таким же писателем, присовокупив при этом, что он, мальчик, больше всех людей на свете любит Льва Толстого. Надо думать, ужасающие каракули и орфографические ошибки, равно как непосредственность выражения чувств и мыслей, не управляемая никакими законами грамматики и синтаксиса, лучше всего обнаруживали, что письмо это — плод совершенно самостоятельного творчества.

В этом и заключался успех автора.

На второй день Пасхи (30 марта 1909 г.) в квартиру его родителей — Вильно, Снеговая ул., д.7 — позвонил почтальон и принес письмо, но оно было адресовано не им. Удивление возросло, когда тут же было обнаружено, что письмо из Ясной Поляны, обращено лично к мальчику и подписано рукой великого писателя.

Этим мальчиком был я.

В кругу знакомых моих родителей не без зависти говорили, что восьмилетний отпрыск Александра Ивановича Ермолинского получил письмо от Толстого, и укоряли своих детей, что они отстали от сообразительного сверстника.

И тогда все мальчики и девочки не только из круга наших знакомых, но и знакомых наших знакомых, а также и тех, кто отголоском услыхал об этом событии, словом, почти все интеллигентные мальчики и девочки города Вильно (Вильнюса) под руководством честолюбивых пап и мам, домашних учителей и гувернанток писали письма Льву Николаевичу Толстому. Разумеется, это были письма, аккуратно переписанные на

разлинованной бумаге, без помарок, без ошибок, без клякс, с правильно составленными фразами и расставленными точками и запятыми и восклицательными знаками. Никто из этих мальчиков и девочек ответа от Толстого не получил.

Я смотрю сейчас на это письмо и не перестаю удивляться. В коловращении жизни моей оно терялось два раза, а последний раз, когда погибли почти все мои вещи, книги, архив, было потеряно, казалось, безнадежно. Смотрю на него и понимаю: оно вернулось ко мне буквально чудом!

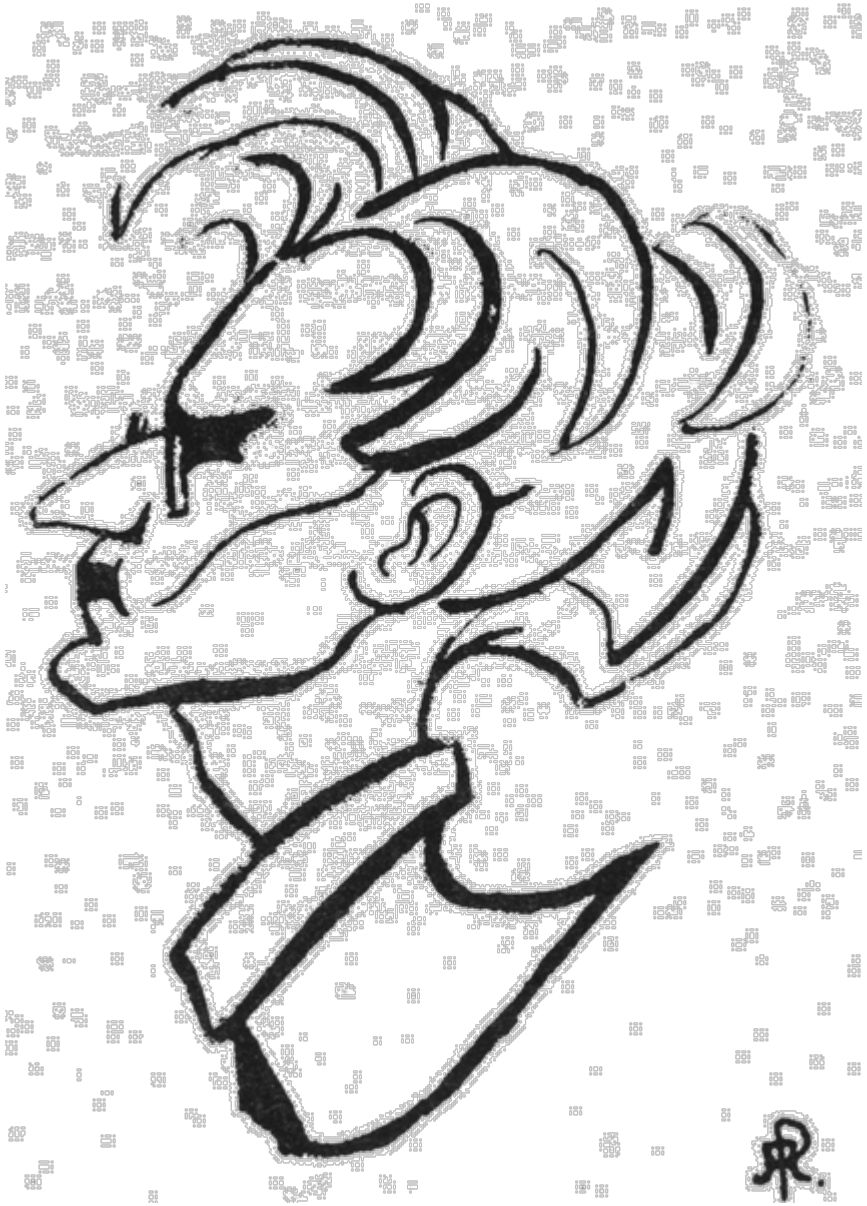
Как это произошло и почему — чудом, расскажу в другом месте, а здесь мне нужно добавить несколько слов. Лев Николаевич осудил мое детское стремление к писательству, заподозрив в нем лишь дурную тягу к славе. Не притворяясь скажу, что никогда не был отягчен тщеславием, но совету его не последовал, стал профессиональным литератором, на собственном опыте распознав, как это трудно, а подчас и горько.

С. Ермолинский

ЮНОСТЬ
Автобиографическая повесть

… Как брошенный с пути снегам
Последней станцией в развалинах,
Как полем в полночь, в свист и гам
Бредущий через силу в валянных…

Борис Пастернак



Поезд пришел в Москву утром.[3] Площадь недостроенного Киевского вокзала была завалена грязным снегом. Толпа с мешками, узлами, корзинками двигалась сплошной серой массой, и морозный воздух сразу пропах запахом казармы. Шпана с гиканьем окружала приезжих. Трамваи стояли, обвешанные людьми, и все еще лезли и лезли… Был «военный коммунизм», денег за проезд не брали, не нужны были и почтовые марки. Письма шли неделями или вовсе не доставлялись, а переполненные трамваи еле ползли и попасть туда было почти чудом. Некоторые, кто мог, подряжали тележку, и за несколько

миллионов «рикша», владелец этого единственного тогда транспорта, катил багаж по указанному адресу, а пассажир шагал рядом.

Я взвалил корзинку на плечи, попрощался с Мишей Герасимовым. Он пошел по Садовой, в Оружейный, где жила его сестра, а я — через центр на Мясницкую, в Армянский переулок. Там в помещении бывшего Лазаревского института обосновался наш новый Восточный институт, из которого впоследствии возникли Институт востоковедения и Институт трудящихся Востока. В дортуарах лазаревских лицеистов разместились мы, первые советские «восточники».

Москва предстала передо мной засугробленная, словно брошенная людьми, с темными заколоченными витринами, с нежилыми домами. Следы октябрьских пуль еще виднелись на облупившихся стенах домов и подворотен. И чем далее от вокзала, тем реже попадались прохожие. Волокли санки, шли сгорбившись под грузом вещевых мешков. У хлебной лавки вилась очередь. На спинах мелом были написаны номера.

Такой я увидел Москву впервые, если не считать совсем детских воспоминаний, когда привозил меня сюда отец[4]. Запомнилось шумное движение на тесных улицах, пестрота газетных киосков, коридор гостиницы «Кремль», душный, в самоварном угаре. Отец показывал мне московскую старину — царь-колокол, царь-пушку — и здание Университета, в котором он учился. Его рассказы о Бронных уличках, о студенческих Козихах, о Татьянином дне, о «Гаудеамус игитур» запомнились с детства. И с детства я мечтал об Университете. Теперь все было молчаливо-пустынно. Даже узкая Моховая, когда-то густо набитая лавками книгоиздателей и букинистов, казалась просторной. Все было непохоже на воспоминания, но Университет я узнал сразу.

Он возник исполином, живой и реальный. Я остановился у решеток его ограды. Во дворе нового здания было оживленно. Здесь Москва кипела! Люди в солдатских шинелях, с горками книг под мышкой деловито перебегали двор из одного подъезда в другой, тут помещался Рабфак. У большинства из них были буденновские шлемы или лихо заломленные папахи, украшенные красными звездами. Они были такие же красноармейцы, какие во множестве штурмовали поезда, валялись на вокзалах, толкались на базарах, дымили самосадом. — Глупо, что на мне допотопная студенческая фуражка, — думал я, шагая дальше. А ведь радовался, когда наконец разыскал ее на калужской толкучке. Глупо. Старая, выгоревшая фуражка, приплюснутая, как блин, — она оказалась ничуть не лучше вырванной кокарды из околыша чиновника… Папиного университета не существовало.

На Театральной площади поднялась поземка. Большой театр плыл из тумана, угрюмый и тоже казавшийся нежилым. Я посидел немного в сквере, потому что устал, да и корзинка моя развязалась, веревка съехала набок.

В корзинке было нехитрое мое барахло — две пары бязевого солдатского белья, кальсоны с тесемками, летняя гимнастерка, портянки. Под старой гимназической шинелью, из которой я вырос (а пуговицы были пришиты разные), был на мне суконный френч зеленого цвета, черные кожаные штаны, заправленные в расхлябанные сапоги с широкими короткими голенищами. У меня были длинные волосы, стриженные под скобку, прямыми палками торчали из-под студенческого блина. Впрочем, я был одет отнюдь не хуже других, франтить мы начали значительно позже…

… А в Калуге я был в некотором роде знаменитый человек; я разъезжал в наробразовской бричке, запряженной высокой рыжей кобылой, числился «ответственным», получал дополнительный паек, стоял на деревянной трибунке, когда в октябрьские и майские праздники проходили по плац-парадной площади тощие демонстрации обывателей с пением — «мы кузнецы, и дух наш молод…» Словом, еще не окончив школу, я уже возглавлял подотдел Искусств Калужского Губнаробраза. Я был, если хотите, министром изящных Искусств города и окрестностей!

Учреждение наше находилось сначала в особняке бывшего помещика Колоривова, что на спуске к Загородному саду. В большой зале с колоннами вдоль стен стояли столы подотделов и секций. Мы сидели под пальмами и на узких полосках бумаги писали распоряжения. Наименование учреждения, подотдела и секции, дата и исходящий номер изображались наподобие штампа, от руки. Бывшие чиновники, которые возглавляли некоторые секции, налаживали официальную форму написаний казенных бумаг. Они сидели в центре стола, а по бокам и напротив располагались сотрудники — из бывших гимназистов и гимназисток. Переписанные бумажки, они назывались «отношениями», передвигались по столу и подписывались делопроизводителями и заведующим. Мой подотдел отставал в этих тонкостях, но он просуществовал в Кологривовском особняке недолго, его перевели на Молотковскую улицу, в помещение вновь организованного Художественного музея, и там мне удалось, наконец, наладить полнейший канцелярский беспорядок.

В одной из верхних полутемных комнат жил таинственный человек — Гнеденко, художник и фотограф, прежний заведующий

подотделом. О нем ходили слухи, что он безнадежно болен и что он непризнанный гений. Он никогда не показывался, и бывал у него только я. Комната была загромождена неотремонтированной музейной мебелью. На креслах, стульях, у стен стояли картины без рам и в рамах, изображавшие один и тот же, я сказал бы, мучительно скопированный пейзаж, и большие окантованные фотографии, раскрашенные от руки. Это и были его непризнанные работы. А сам он, задумчиво вдохновенный, всегда лежал на кушетке. При моем появлении он болезненно морщился.

— Не смотрите, не смотрите, это еще не готово, я еще не доволен, — говорил он раздраженно.

Я покорно переворачивал стоявшую на стуле возле его кушетки картину (все тот же пейзаж).

— Осторожно, еще не просохла, — говорил он и утомленно закрывал глаза.

Маленькая женщина, бесшумно двигаясь, служила ему.

— Сегодня кашлял меньше, сделал два этюда, — благоговея шептала она, и совсем понизив голос: — Нуждаемся в жирах и молоке. Сходила в Губпродком, обещали.

Через год они уехали в Крым, и их комната превратилась в «запасник» музея.

Внизу разместились экспонаты. В большинстве они составились из мебели, бронзы, картин и книг, вывезенных из горящих поместий губернии. Первыми этими экспедициями еще руководил Гнеденко. Я сидел в креслах с фарфоровыми медальонами на спинках. На медальонах были изображены дамы и кавалеры в напудренных париках. Зимою, в ушанке, не снимая шинели и дыша на руки, я углублялся в бумаги, переписанные круглым детским почерком моего секретаря Кости Швабельблита, сына местного портного. Он был веселый и лукавый парень, черный как жук.

В театре я сидел в директорской ложе. Пыльные бархатные занавески с золотыми кистями обрамляли ее. Это была бывшая губернаторская ложа, она до отказа заполнялась теперь приятелями Кости. Фома Строгачов-Бобров, главный режиссер Гортеатра, в прошлом антрепренер и актер, драматический и опереточный, подхватывал меня под руку и, понизив голос, допытывался:

— Говорят, гарнитурчик прибыл не то из Юхнова, не то из Боровска?

— Прибыл.

— Из какой же усадьбы?

— Не знаю еще.

— Знаете. От Шеншиных. Восемнадцатый век. Опять в музей

думаете? А надо бы в театр. Нет у нас стильных гарнитурчиков.

— С Малининым посоветуюсь.

— Ну, Дмитрий Иванович не отдаст, — вздыхал Фома, — а народ в театре просвещается, не в музеях, между прочим…

Он враждовал с Краеведческим музеем, директором которого был мой учитель истории Дмитрий Иванович Малинин.

…Гимназия вспоминается мне как предрассветное, холодное утро, когда, неврастенично ежась, входишь в класс с его специфическими запахами мастики и невыдохшегося дыхания сорока человек, смешанного с сырым, свежим воздухом, потому что только что настежь были открыты окна. И потом сидишь где-то в глубине класса, впереди аккуратненькие, под машиночку взятые макушки товарищей, их торчащие и прилизанные уши, сидишь и по-рабьи ждешь, что сейчас вызовут к доске — и будешь стоять столбом, и заученно отвечать, и страдать, что от этой заученности ты жалок и даже угодлив. Я ненавидел гимназию! И февральскую революцию приветствовал, стоя на перевернутых партах с криком: долой!.. А кончал уже «Единую трудовую школу 2-й ступени», в которой все шло вверх тормашками: вольница! Напуганные преподаватели были осторожны и вежливы с нами. Большинство из нас учились спустя рукава. Только Дмитрий Иванович в своем поведении не изменился ни на йоту. Класс замирал, как прежде, когда он входил. Он был сух, деловит, обрывая всякие посторонние разговоры, в которые его хотели вовлечь ученики. Он говорил и позволял говорить только о том, что имело прямое и самое узкое отношение к его урокам.

Закончив «государственные дела» в своем подотделе Искусств, я, хотя и не всякий день, отправлялся в школу, где сидел за партой как обыкновенный ученик, и Дмитрий Иванович, увидав меня и сказавши — ну-с? — вызывая к доске и посмеиваясь в свою толстовскую бороду, не мог отказать себя в удовольствии погонять меня по всему курсу. А на следующее утро появлялся в моем служебном кабинете и, опустившись в кресло с фарфоровым медальончиком и чуть склонивши голову, докладывал мне о нуждах музея.

— Вот и это креслице напрасно здесь, это вещь музейная. Его ко мне бы надо, — говорил он походя, но не настаивал. Он был почтителен и даже подчеркивал это, однако же без тени иронии. Игра велась вполне всерьез.

— Согласен с вами, — говорил он. — Полагаю, что могу рассчитывать на вас. Нужны дополнительные пайки. Разделяю ваше мнение. Ошибка думать, что интеллигенция меньше значит для государства, чем рабочие. Полагаю, мы с вами понимаем друг друга. Ну-с, надеюсь, вскоре и другие поймут. И будут, так

сказать, не только «рабочие» карточки. Так вот — музей. Вы правы, не спорю. Не театр, конечно, но тоже культурное заведение…

При последних словах был короткий смешок.

Он всегда поглядывал на меня зоркими, колкими глазками, полными любопытства. Я был для него анекдотический персонаж смутного времени. Но относился он ко мне без неприязни, скорее сокрушенно: жалко-де, пропадает нахальный молодой человек не без способностей и со вкусом к истории, революция-де, скоротечна, а развратить успевает. Что революция скоротечна, он не сомневался. Держался в выжидательном нейтралитете, корректнейше, но — ни-ни, никаких заигрываний с большевиками.

Актерская братия другое дело. Спокон века она вышколена в гибкости к любому начальству. Царь и купцы ее воспитывали. Фома Строганов носил себя с обаятельной барственностью — жила в нем почти классическая величавость старого актера — но он был лукав и, незаметно подлаживаясь, угождал. Как-никак я был начальник! Мной утверждался недельный репертуар, я подписывал сметы на все текущие расходы и распределял билеты по учреждениям и красноармейским частям. Он привык иметь дело с исправниками и полицмейстерами, сталкиваясь с разным губернским начальством, но такого, как я, не видывал. Бывший гимназист, облеченный властью, держался неуверенно, был дурно одет и как будто ничего не требовал. Однако же, на всякий случай, он то и дело завлекал меня в театр, и что греха таить, мне льстило, когда он советовался со мной по художественным вопросам. «Голуба моя!» — говорил он, подхватывая меня под локоток. Мы ходили по темному, пустому коридору. На сцене, тускло освещенной, возились декораторы и плотники. Я впервые окунался в волшебные будни театра, и это обволакивало, волновало меня. Казалось, я был окончательно сломлен театральной властью Фомы, но все же не обошлось без взрыва.

Начитавшись в «Вестнике театра» о Мейерхольде и «Театральном Октябре» (а еще больше под влиянием Николая Григорьевича Смирнова, о котором скажу чуть позже), я предложил Фоме поставить «Мистерию Буфф»[5]. Фома обомлел. Он ставил «Потонувший колокол», «Нору», «Тетку Чарлей», «Трильби». Ставить Маяковского он решительно отказался. А тут заело меня. Я восстал против собственной робости, революционно раскричался и на радость Кости Швабельблита написал приказ. Костя обожал скандалы, но чтобы скандалили не он, а другие.

Фома побежал в Губнаробраз и в Губком. Он подал протест. Чтобы поставить футуристическую пьесу, писал он, надобно

ломать сцену, уничтожать оркестровую яму, кулисы, колосники, а он отвечает за театр, за сохранность помещения и имущества. Он не мальчишка, а многоопытный театральный администратор. Его труппа полна любви и доверия к своему заведующему, приятному молодому человеку, но она привыкла к «высокому», а ей предлагают играть балаган. Разве это нужно пролетариату? Нет, он не согласен, он напишет Луначарскому. И что будут делать в этом спектакле такие артисты, как Мартини, Шер, Одоевская, имена которых гремят по всей России?..

Мой приказ бал отменен, мне даже всыпали за него. Но Фома не хотел со мной ссориться. В тот же день он прибежал ко мне, выставил Костю Швабельблита и, закрыв дверь, с драматической дрожью в голосе признался, что он не мог поступить иначе, что он не в силах ставить футуристов, он их не понимает, что он человек старый, он за революцию, он всегда сочувствовал, но, воля вам, не может! Мы помирились.

Так окончилась моя попытка учинить «Театральный Октябрь» в Калужском театре. Но зато возник новый театр — Театр революционной сатиры (Теревсат). И Фома охотно помогая в его организации, не сразу разобрал, что в первых же обозрениях высмеивались театральные штампы, ходульные провинциальные актеры, допотопный репертуар и он сам, Фома.

Ядро нового театра составили любители драматического кружка «Вестник знания». В дореволюционное время такие кружки возникали не только в Калуге. Был журнал «Вестник знания», издававшийся в Петербурге В. В. Битнером, он считал себя идейным центром этого «культурного движения в провинции». Помесь умеренного либерализма с эстетствующим декадентством составляла его основу. На деле — это была отдушина для провинциальной интеллигенции, оживлением ее общественной жизни, без какой-либо, впрочем, политический окраски.

Наш «Теревсат» возглавлял Николай Григорьевич Смирнов.

Это был человек насмешливый, остроумный и талантливый. С озорством, легко писал он агитки, пародии, обозрения. У него уже был небольшой театральный опыт. Он написал несколько мелочей для эстрадно-пародийного театра Кугеля[6] «Кривое зеркало», когда-то популярного в Санкт-Петербурге. Я побаивался Николая Григорьевича, как всегда побаивался людей безапелляционных и иронических. Они действуют на меня, как удав на кролика. Рядом с ними я чувствую себя невеждой. Они убивают меня тоном, при котором всякое возражение выглядит ребяческим лепетом. Лишь потом я заметил, что они лишены сколько-нибудь серьезной эрудиции, но не сразу научился быть

храбрым и не поддаваться мнимому авторитету этих самоуверенных людей. А тогда я был вовсе не защищен и только пыжился противостоять Николаю Григорьевичу. Я делал это, высказывая еще более сногсшибательные мысли, чем он.

— Искусство — на слом! — без лишних слов объявил Николай Григорьевич.

— Рано на слом! — начиная волноваться, возражал я. — Мы сделаем его таким отвратительным, что даже самого матерого обывателя стошнит.

— Мейерхольд вбил осиновый кол в тетей Маней и дядей Ваней Художественного театра, с этим покончено, — как состоявшуюся смерть констатировал Николай Григорьевич.

Я был в ужасе, я любил Станиславского, Чехова, я был заочно влюблен в Художественный театр, но не показал вида и только саркастически пожал плечами:

— Слегка спутали, Смирнов, это Маяковский сказал, а не Мейерхольд.

И чтобы окончательно перещеголять Николая Григорьевича, даже прочитал публичный доклад о Маяковском под названием «Тринадцатый апостол» (печатная афишка эта у меня случайно сохранилась), в котором, провозглашая сногсшибательные лозунги, не пощадил многих любимцев своей юности — и Блока, и Тютчева, и Лермонтова. Каюсь, было у меня чувство, как у богохульника, плевавшего на иконы, в которые он верил. Вспомнить об этом, может, и стыдно, но скорее — смешно, настолько это было несерьезно и по-мальчишески. Думаю, что и Николай Григорьевич, человек значительно старше меня, тоже «играл в игру».

Словом, мы взрывали обывательскую Калугу. Взрыва не получилось, потому что аудитория наша была невелика. Но все же кое-какие страсти разгорелись.

Учительница Мария Петровна Переверзева, жаждавшая деятельности и бурно переживавшая вторую молодость, стала центром тогдашней культурной жизни в Калуге. Меня она побаивалась примерно так, как я — Николая Григорьевича. Устраивая концерты и лекции, литературные вечера я диспуты, она неизменно говорила о молодом революционном искусстве с жестом в мою сторону. «Я мыслю… — она тогда говорила „я мыслю“, а не „я думаю“. — Сублимируя творческую энергию масс… Естественное влечение к новым формам не обозначает все же буржуазного нигилизма…» — говорила она, стараясь примирить крайности наших доморощенных новаторов и архаистов. Она была калужским Луначарским, беззаветно отдаваясь подхватившей ее волне успеха, шума, острословия.

Молодежь ринулась к нам. И тогда возникла мысль о создании вольной театральной школы, вполне экзотического заведения для нашего города.

Конкурс при приеме был огромный.

Председательствовала на экзаменационной комиссии Мария Петровна, справа сидел Фома, слева — Смирнов, а я фигурировал не только в качестве одного из экзаменаторов, но являлся еще и «ученым» секретарем.

Калужские девицы и юноши, задыхаясь от волнения, читали апухтинского сумасшедшего, «Сакья-Муни», «Тяжелое детство мне пало на долю» и басни Крылова. Но вот перед нашим столом появился юнец, мой сверстник, живой, быстрый. Нараспев, подвывая, он прочитал Маяковского — «только тот коммунист истый, кто мосты к отступлению сжег» — и мы все обомлели. Он тотчас же из экзаменующихся стал экзаменатором и сел рядом со мной. Это был Коля В., сын врача городской больницы, впоследствии литературовед. Тогда он мнил себя поэтом и держался с тем отчаянным высокомерием, которое, казалось, завоюет мир. Он вырабатывал в себе повадки Пушкина, и у него был даже брат — Лев!

Театральная школа находилась в просторных мансардах над аптекой на Стрелке. Я читал там не более не менее, как курс «История литературных стилей». Не разумею, что я читал! Но даже Коля В. поражался. Калужские девицы наслушались, полагаю, вдоволь всего.

В это удивительное время мы чувствовали себя абсолютно безнаказанно — ни дома, ни в школе авторитетов не стало. Мы словно вырвались на воздух из всех домашних и гимназических ограничений, навязанных вкусов, казенных суждений. Контроля не было. Мы жили без контроля. Нам самим предоставили самостоятельно выбирать, что мы любим, что отвергаем и как нам жить. Так учат плавать щенков: бросают в воду — плыви! Мы были еще мальчишками, но мы уже были взрослыми: нам очень рано пришлось отвечать самим за себя…

Калуга, как и многие другие города, жила полуголодной жизнью. А утрами в моем подотделе Искусств толпились приезжие из уездов. Это были организаторы всяческих театральных кружков — из Юхнова, из Боровска, из Медыни, — и я раздавал театральную косметику, грим, гуммоз, парики. Кружков народилось без числа. И мои инструкторы, братья Малюги из уездного городского училища, разъезжали по калужским глухоманям, насаждая там революционные театры, а заодно обменивали родительское барахло на картошку и сало. Мария Петровна читала инструктивные доклады о массовых

действах на площадях, о театрализованных празднествах, о передвижных детских театрах.

Вечерами мы собирались в нашей школе, и она устраивала свои интимные музыкально-литературные вечера — под музыку Ребикова читала, сверкая ослепительными зубами, миниатюры Петера Альтенберга, декадентствующего венца 10-х годов («Они сидели на гнутых стульях…»). Ей тихонечко аккомпанировал чахоточный пианист, приехавший к нам из голодающего Петрограда, Александр Александрович Михайлов. В заключение вечеру он играл Шопена и Шумана. Он сидел за роялем строгий, чопорный, почти не двигаясь. Свет был приглушен.

— Это наша студия чувств, — говорила Мария Петровна, закрывая глаза от наслаждения.

В уездах еще вспыхивали пожары, еще горели помещичьи усадьбы. У городских колодцев собирались с ведрами чиновники в фуражках с выдранными кокардами, обсуждая слухи и тревожно покачивая головами. Когда я проезжал мимо на своей бричке, запряженной рыжей кобылой, они замолкали, провожая меня взглядами: я был из Совдепа — бывший гимназист.

Из массовых действ Марии Петровны ничего не получалось, обыватели шагали уныло, но в октябрьские, майские дни, в день Парижской коммуны мне полагалось устраивать концерт-митинг в городском театре. Исполнителями были актеры театра и любители. В один из таких праздников я сам грозно читал из Артура Арну «Мертвецам коммуны», а актриса Одоевская — мои стихи (стихов я не писал, эти были написаны из-за отсутствия революционного репертуара).

Все губкомовское и губисполкомовское начальство присутствовало на этих концертах. В поощрение моей деятельности (и дабы немного приодеть меня, окончательно износившегося) мне были выданы ордера, по которым я приобрел те самые кожаные штаны, зеленый френч и сапоги с короткими голенищами, в которых я и появился в Москве. В Университет и в Восточный институт поступил по путевке Губнаробраза. И больше никогда не стоял я на правительственных трибунах в праздники, не было у меня «ответственных пайков», персональной (да и никакой) брички, секретарей и подчиненных. Неактуальное высшее образование (филолог), отсутствие честолюбия (не возглавлял, не руководил) и, наконец, вольная профессия незнаменитого литератора избавили меня от этих бед.

Можно было бы сочинить целую повесть об этом. Но зачем стеснять себя заведомыми рамками? Я профессиональный сочинитель сюжетов, у меня оскомина от сочинительства, да и что такое, в конце концов, повесть, что такое роман? Может быть,

это как раз то, что я пишу, не ограничивая себя «сюжетом»? И я пишу не мемуары, даже не воспоминания о знаменитых людях и знаменательных событиях, а всего лишь рассказ, как складывалась моя жизнь и, главное, размышления, думы о том, что было в пути: о времени, о друзьях, о себе[7].

В начале Мясницкой я свернул направо и Кривоколенным переулком вышел в Армянский. Я шел, не спрашивая, потому что весь маршрут от вокзала был мною досконально изучен еще в Калуге. И я сразу догадался, что передо мною особняк бывшего Лазаревского Института, мой новый дом. Он возвышался в углублении, перед ним был небольшой палисадник, а за ним, как я потом узнал, парк. Мы называли его — сады лицея.

Я поселился в одной из комнат общежития. Нас было шестеро: здоровенный парень из Симбирска Голомбек, три корейца — Ким-Вон, Ким-Чен-Ха и Ким-Сан-Таги. Ким-Вон и Ким-Чен-Ха окончили токийский университет, они не говорили по-русски, Ким-Сан-Таги говорил. Он уже давно приехал в Москву, был коммунист, организовывал комячейку в Институте, к его академическим занятиям преподаватели относились снисходительно. А Ким-Вон и Ким-Чен-Ха снова засели за школьную парту: учились русскому языку и революции. По своим убеждениям они были похожи на наших народников конца прошлого века. Кроме того, Ким-Вон был поэт. «Медлен Амур, но он впадает в великое море» писал он (по-корейски, я переводил). Мы дружили. Пятым был Дзи-До-Ся — это было прозвище верблюдообразного, очень высокого, очень ссутулившегося человека (он казался горбатым). Он был русский, настоящую фамилию его мы узнали позже, но мы и не называли его по фамилии. Дзи-До-Ся по-японски — грузовик. Шестой — я. В центре комнаты стоял длинный стол, за которым мы занимались. Дзи-До-Ся, самый старательный, сидел над книгами целый день. Кроме классов и столовой никуда не выходил. Он был немолодой и зубрил, зубрил, стараясь изо всех сил, боясь чтобы его не выгнали. Как он попал в Институт, я не знал, но позже выяснилось, что фамилия у него вымышленная, а на самом деле он колчаковский штабс-капитан Коротков. Через год он был изобличен, арестован и исчез. Его взяли из общежития, и когда он складывал вещевой мешок, руки у него дрожали и он все время оглядывался на молчаливого чекиста, стоявшего у двери. Вышел, не попрощавшись и не оглянувшись в нашу сторону…

Большинство студентов, получивших места в общежитии, были так дурно одеты, что нам решили выдать мундиры бывших воспитанников Лазаревского института: черного цвета с ярко-

красными, подпирающими щеки воротниками, с золотыми пуговицами. Пуговицы заменили обыкновенными, «штатскими». Мундиры не всем пришлись впору — кому широк, кому узок. Брюки остались наши — у кого солдатские, в сапоги или в обмотки, у кого навыпуск. Головные уборы у всех были разные: солдатские фуражки, ушанки, даже шляпы. Когда мы собрались в столовой, переряженные в это странное платье, то наша кухарка Серафима только всплеснула руками: мы были похожи на разгромленное царское войско при отступлении. А кто-то из нас (дело было весной) вышел в этом наряде на улицу и был задержан милиционером, как подозрительный обломок империи. Директор Института арабист Атая, приказал мундиры снять. Летом кое-кому удалось выменять их на муку. Но это были счастливцы. Повезло и мне: мой мундир уехал в Борисполь на Украину, где стояла батарея моего зятя. Вместо мундира я получил около пуда муки — колоссальная поддержка по тем временам. Наш паек был нищ и скуден. У нас был утренний чай (чаще кипяток без всякой заварки) с половиной дневного хлеба (200 граммов), в четыре часа — обед.

Столовая находилась в полуподвальном помещении. Лед не стаивал зимой по углам. В столовой, как и в классах, и в нашей комнате, мы пальто не снимали. Мы раздевались лишь ложась спать, ныряли под одеяло и накидывали на себя пальто. Изо рта валил пар. Но у нас было веселое настроение. Мы голодали и холодали одинаково, это важно. И все кругом голодали и холодали. Мы отнюдь не были беднее других. Конечно, трудновато было держаться на кипятке с краюшкой глиняного хлеба, на обеденном брандахлысте с несколькими капустными волокнами, на двух посиневших от мороза картофелинах и на кашице, едва прикрывавшей дно тарелки, с янтарным кружочком льняного масла посередине.

Больше всех страдал от голода громадный Голомбек. Если кто-нибудь из нас получал посылку, она делилась по-братски. Само собой так получилось. В голову никому не могло бы прийти поступать иначе. Но вот однажды наш бедный Голомбек скрыл от нас свои запасы и ночами, когда все спали, тихо, по-воровски глотал куски сала и грыз очерствелые домашние лепешки. Мы застукали его. Он был предан позору. Как грозные судьи, мы стояли перед ним, закутанные в одеяла. Он даже и не думал оправдываться, он просил пощады, почти плакал от стыда. И когда после этого трагического случая, вновь пришла на его имя посылка, он торжественно поставил ее на стол, предложив разделить поровну. В общий котел мы взяли лишь небольшую часть и с жаром доказывали, что при его грузчиковой силище он,

Голомбек, как никто из нас, нуждается в дополнительном питании. Он пытался отказываться. Но закон нашего общежития во всех случаях был тверд, и это был закон дружбы.

«Какая прекрасная у нас жизнь», — сказал мне Ким-Вон. Он стал хрупкий, восковой, очень осунулся за год, и белки его глаз совсем пожелтели.

Конечно, было трудно. Свою энергию мы тратили беспощадно, не считаясь ни с чем: всюду надо было успеть. Утром лекции (у меня еще Университет), потом Румянцевка, часами сидели мы там, потому что именно там накапливались знания, как раз те, к которым влекло независимо ни от каких лекций и учебных занятий.

Я до сих пор вхожу туда, в эту вольную нашу академию, знаменитую «Румянцевку», ныне «Ленинку» с волнением молодости. Все то же — и притихшие залы (вечерами горят настольные лампы), перешептывание с библиотекаршей, стопки книг, которые осторожно несешь к своему месту, и продымленная курилка с большими блюдами-пепельницами на столах, похаживающие студенты, негромкий разговор.

Я опять сижу там, но уже не над учебниками, не над университетскими пособиями — я пишу пьесу; прошло не меньше тридцати лет, а чувство такое, как будто вернулось ко мне мое студенчество, и я никогда не буду старым!

Но мой день еще далеко не окончен. Из библиотеки надо бежать в Университет. На вечерней лекции, если немножко скучна, можно вздремнуть — как лошадь спит, на ходу, на несколько коротких минут. Но все равно и без сна надо еще в театр, в концерт, на литературный вечер…

Москва пестрела афишами!

«Штурм Москвы имажинистами». «Маяковский издевается». «Сергей Есенин»…

Среди оголенно-кирпичных стен мейерхольдовской сцены вертелись в клетке конструкции колеса, прыгали и рапластывались столы и стулья в «Смерти Тарелкина» или и другом спектакле, в «Великодушном рогоносце», выбивали еле сдерживаемую, нетерпеливую чечетку синие люди, выстраивавшиеся в очередь за любовью. Ильинский-Брюно[8] страдал от ревности, как от приступа острой боли в желудке и, свесившись через прутья клетки, шептал нам, тоскуя, о страданиях своего сердца, о всеобъемлющей, всемирной своей ревности. «Звезда моя, весна моя, шоколадина моя! Стелла! О, Стелла! Ты изменяешь мне со мной!»… В театре было холодно (всюду холодно, всюду!), и зрителей набиралась небольшая кучка

— неистовых мейерхольдовцев, готовых умереть за своего мастера, иногда из-за кулис показывался его профиль, волосы тронула седина, горло закутано шарфом — и восторженный гул приветствовал его из зала. Могли быть и свистки противников, равнодушных не было (нигде не было равнодушных, нигде, ни в чем!..)

А в Камерном шелестел занавес[9], открывая супрематические[10] лоскуты ярких пятен, и на сцене появлялись изысканные Церетелли[11] и Румянцев. Звучал с трагической напевностью голос Алисы Коонен[12]. Из оркестровой ямы урчала музыка. Все было рафинировано, каждый жест, каждая мизансцена. Это была утонченная Европа, Париж, а по Тверскому бульвару люди озабоченно тащили санки с пайком и портфели под мышкой, Москва была погружена в мглистую тьму… Через 30 лет парижские театры привезли нам эту утонченную Европу, открытую Таировым в 20-х годах, как собственное, наисовременнейшее открытие!

В Политехническом музее гремел Маяковский, расхаживая по эстраде шагом саженьим, в проходах, в дверях теснились студенты, прорвавшиеся сюда через все кордоны билетеров и милиции… Или Мариенгоф[13], розовато-припудренный в демисезоне с приподнятым, на стойке воротником и в мягкой шляпе (немыслимый для тех времен заморский франт), читал: «Девятью девять месяцев Мариенгоф в животе зарю вынашивал…» Вслед за ним вылощенный Шершеневич[14], глава имажинистов, острослов, не боявшийся схлестнуться с самим Маяковским, с завораживающей многозначительностью нес околесицу: «Вижу, женщина над тротуарами юбками прыснула, и калитка искачалась в матчише…» Политехнический неистовствовал и рукоплескал ничуть не меньше, чем Есенину, когда тот выбегал и, прыгнув на стол, бросал в зал, поистине вдохновленный: «Гей вы, рабы, рабы, брюхом к земле прилипли вы, нынче луну с воды лошади выпили!..» Он был тогда возбужден бесшабашным своим имажинизмом, но немного позже, года через два, я видел его ночью в «Стойле Пегаса», когда он, мутный, хмельной, охрипшим голосом читал: «Неужель под душой так же падаешь, как под ношею?..»

На стенах Страстного монастыря (он стоял на Пушкинской площади, там, где теперь кинотеатр «Россия») криво и косо были намалеваны футуристические лозунги. Рядом висели «Окна РОСТА», тут верховодил Маяковский. Расписанными под «индустриальное» фанерными щитами мы прикрывали в праздник свои развалюхи. Отечественного авиастроения не было, но загадочный Татлин[15] сооружал воздухоплавательный аппарат

с невиданными крыльями — «Летатлин» — и, сидя в своей подчердачной мастерской на колокольне Новодевичьего монастыря, играл на бандуре и пел протяжные думы украинских слепцов. Он в детстве ходил с ними поводырем. Деревянный бюст молодого Есенина, светло-желтый, свежеотструганный, весело стоял в мастерской Коненкова, олицетворяя молодость. А в Большом зале консерватории Игумнов, патриарх московских пианистов, величаво играл Баха. Старая Москва, тихо шелестя, восседала здесь. Но он, академичный, словно бы отчужденный от времени, не знал, что играет не для нее, не для этой старой Москвы, искавшей лишь иллюзий прошлого, а для нового мира, которому нужна была гармония!

Гармонии не было окрест, дико, перепутанно, невообразимо было вокруг…

Уследить за всем было трудно, так и кидало из стороны в сторону. На дню были — японский язык, Гоголь и Грибоедов, Мейерхольд и Таиров, Маяковский и многое другое, вплоть до кафе поэтов на Тверской-18, у входа в которое объявляли рукописно о своих выступлениях неоклассики, экспрессионисты, литературные особняки, заумники, ничевоки, вся устная поэзия тех лет, пузырившееся болотце богемы времен военного коммунизма.

Прозы не было. Она зрела невидимо, надвигалась исподтишка. Она ползла на поездах с фронтов гражданской войны, из Сибири, с Юга, из мятежных, опаленных революцией городов и деревень, но только не из этих крикливых кафе.

И казалось, нельзя было слова вывести по старинке. Все двоилось, троилось, налезало друг на друга, как скрипка Пикассо. Впечатления жизни не влезали в привычные формы рассказа, нужны были другие слова, другие ритмы. Из-под ног ушел быт. Мерки прежних литератур исчезли. Ничего еще не отстоялось. Неназванная Россия, непрерывно меняясь, проходила перед нами, и сами мы были еще не названы.

Мы были в стадии не родившихся, но уже существовали. О фиглярстве ничевоков говорить не приходится, но у Хлебникова[16] в первобытности его слов, корнями вырванных из сути смысла, было отнюдь не фокусничество и не филологический эксперимент только, но словно бы пророческое бормотание рождающихся…

Мы были как листья, оторвавшиеся от дерева, но летать нам было весело!

И если случалось вдруг низвергнуться в быт притаившейся старомосковской квартиры, где шли толки и толки, как выжить, что и как, и почем где достать, и страхи, и слухи, слушки,

шепотки, стоило только окунуться в это, как я чувствовал себя свалившимся с луны — снова туда, на ту землю, от которой оторвался и которая уже мертва, я чванился, что сыт, и отказывался от обеда, хотя зашел в тайной надежде, что пообедаю. Я был голоден, но убегал из этой отмиравшей, как мне казалось, квартиры. А там теплился знакомый с детства уют, пили морковный чай, скрупулезно делили конопляные лепешки и рады бы по делиться со мной. На книжных полках ученого моего дяди поблескивали отсыревшей позолотой корешки книг. Я любил книги (это, должно быть, врожденное), но я отказывался и от них. Я шагал с Пречистенки на Мясницкую и думал о том, что в этих книгах, как ни мудры они, нет ни единого слова о нашем времени. И сказать эти слова предстоит нам.

Впечатлений московских хватало, но все же мы были еще без среды, если не считать нескольких калужан, да и то — техники, филологи, художники, будущие актеры — мы жили вразброд.

Житейски я был связан с Восточным институтом, но Университет привлекал и притягивал гораздо больше. Он был как вольный форум! Никто не загонял нас на лекции, мы учились свободно.

Курс истории вели непримиримый марксист М. Н. Покровский[17] и, споря с ним, кадетствующий златоуст А. А. Кизеветтер[18] (позже эмигрировал). Почтенный сотрудник «Русских Ведомостей» профессор М. М. Богословский[19] читал нам о Петре (его конек). С академической обстоятельностью он излагал материал, насыщенный фактами, не позволяя никаких скороспелых обобщений. А в соседних аудиториях шумели лекторы по диалектическому материализму. Тут было еще полно разногласий, как и в области марксистской эстетики, единой программы не было. Благостно протекали лекции профессора П. Н. Сакулина[20] по русской литературе XIX века, он ораторствовал гладко и красиво, как по-писанному, и традиционная, профессорская его борода, упадавшая на грудь, как нельзя более соответствовала его речам. Грибоедовед проф. Н. К. Пиксанов[21] был увлечен тогда «творческой историей крупных литературных произведений». Многие из нас (на старших курсах) стали работать на его семинарах — деловых, строгих, потребовавших от нас досконального накопления фактического материала. Гоголь, Грибоедов, Достоевский, Тургенев были предметом наших изучений. В этом помогали нам другие наши руководители — и пылкий, молодой еще, с усиками, торчащими петушками, Н. Л. Бродский[22], и острый, как его собственный нос, Л. П. Гроссман[23].

Я еще застал многих маститых представителей старого Университета — психолога Г. И. Челпанова[24], классика А. А. Грушка. Помню подергивающегося страшным тиком Н. А. Бердяева[25], который, хотя и не читал в Университете, но постоянно выступал в литературно-философских обществах того времени. Там витийствовал, поражая своими прозрениями и темпераментом, Андрей Белый. Едва ли не лучшую свою книгу — блестящие, уникальные по образности мемуары — он написал уже в советское время.

Нам ничего не навязывали, мы разбирались сами. Внезапно появлялся и Валерий Брюсов, читавший о русской литературе начала XX века. Это были рассказы современника той эпохи, в которой он сам жил. Глава русских символистов одним из первых стал на сторону Октябрьской революции. Среди литераторов, его сверстников, если и сотрудничавших в советских изданиях, то с натянутой, подчеркнуто сдержанной миной, поведение Брюсова, вступившего в партию, вызывало презрительную улыбку. И писали о нем дурно. «Он пытается высказать свои желания, возникшие в траурной обстановке, из коих мы узнаем, что ему „хочется слить свой голос с общим хором“… Нет, из Брюсова ни истинного поэта, ни писателя не вышло, как он ни старался. Напрасно он не занялся другим делом. Например: почему бы ему не быть чиновником? Хороший был бы чиновник» (Борис Аннибал. Поэзия или механика. «Вестник литературы», № 1, 1922). Это был намек и на то, что он занял множество должностей (в Литературном институте, только что им основанном, в книжной палате, в Госиздате и т. д.). Забыли, что характерной чертой Брюсова всегда была кипучая общественная деятельность: поэт, прозаик, редактор, председатель разных обществ, пушкинист, оратор, классик, переводчик…

Он возникал на кафедре, скрестивши на груди руки и как бы повторяя свой портрет, написанный Врубелем. К лекциям он не успевал подготовиться и, не смущаясь, затевал рассказы о случаях с символистами. Тут шли байки об Эллисе-Кобылинском[26], отрубавшем хвост дьявола (всерьез) и пускавшем дым изо рта, имитируя открываемую дверь трактира в мороз (шуточное), или о Бальмонте, который упал со второго этажа и после этого стал писать гораздо лучше. О здравствующем в Москве Андрее Белом он не говорил, но подпускал в его адрес намеки и шпильки. А когда иссякали анекдоты, то просто читал свои новые стихи: «Над всякими, над Ассурбанипаллами…». И у Брюсова в аудитории, настроенной смешливо и легкомысленно, всегда было полным-полно. Нет, он был честолюбив, жаждал быть «с веком в ногу», но чиновником он не был!

В Восточном институте дело обстояло совсем не так. Там были классы. Мы сидели за партами. Это напоминало школу. Посещение лекций и уроков по языку считалось обязательным. Нас было мало — двенадцать человек, каждый на виду.

Японский язык преподавал нам Н. М. Попов-Татива. У него была особая система, она называлась фразеологией. Были заготовлены постепенно усложняющиеся разговорные предложения. Мы их зубрили. Попутно мы разбирали грамматическую и синтаксическую структуру каждой фразы и получали дополнительную порцию слов. Мое постоянное общение с тремя Кимами стало лучшей практикой, и, к удовольствию Попова, я очень скоро стал разговаривать с ним по-японски.

Хотя я уже совсем забыл японский язык, но многие предложения из фразеологии нашего преподавателя запомнились, кажется, на веки вечные! Разбуди хоть ночью, выпалю, как солдат:

— Го киген икхага де годзаимас?

— О каге де тайхен тася де годзаимас.

Это очень вежливая форма вопроса: как вы поживаете? И не менее вежливый ответ: Вашей тенью совершенно здоров.

Педагогическая жилка Попова-Тативы сказалась не только в целесообразном подборе фраз и оборотов, но и в том, что он умел заинтересовать самим процессом их изучения. Он не был ученым, исследователем языка, как, например, Н. Конрад[27] или Е. Поливанов[28].

Тут нельзя не напомнить об Евгении Дмитриевиче Поливанове, крупнейшем явлении в советской лингвистике. Несчетное количество языков и наречий народов Азии и Африки было исследовано им, систематизировано, определено, а в своих обобщениях он уходил далеко за рамки востоковедения. Судьба его была трагична: арестованный по навету подлецов в 1938 году во Фрунзе, куда приехал со своей обычной научно-исследовательской целью, он был расстрелян. Его имя на время стало запретным, но сейчас, полностью реабилитированный, он сам стал предметом пристального изучения. В 1965 году в Самарканде состоялась всесоюзная межвузовская конференция лингвистов, специально посвященная Е. Д. Поливанову. Сокращенно ее так и называли — поливановская конференция, и основной доклад В. В. Иванова на ней был — «Поливанов и мировое языкознание».

Первая работа Поливанова, с которой я познакомился, была напечатана в 1921 г. в 1-м выпуске Сборников по теории поэтического языка (ОПОЯЗ) — «По поводу звуковых жестов японского языка». Поливанову было тогда, если не ошибаюсь, не

более 25 лет.

Этот блистательный лингвист и Н. Конрад, ныне академик, возглавили ленинградскую школу японоведения, гораздо более яркую, чем наша московская (Попов-Татива, М. Г. Попов, Поливанов).

Николай Михайлович Попов-Татива по складу своему был скорее журналистом, литератором, влюбленным в страну, которую он изучал. Его очерки и статьи опубликованы в дореволюционных «Морских сборниках». Со студентами он сразу наладил хорошие, дружеские отношения. Жил он в одной из пристроек нашего института и любил, когда мы к нему заходили. Его рассказы о Японии были наполнены живыми черточками быта, а о народе он говорил, подчеркивая удивительное соединение поэтичности японцев и их практицизма, поразительную быстроту в освоении современной цивилизации и техники с неколебимой привязанностью к традициям: японец всегда японец, каким бы европейцем он ни стал.

Я пробовал переводить японские танки и обычно показывал их Николаю Михайловичу. Лаконичная образность этих своеобразных поэтических миниатюр требовала расшифровки, без нее ничего не было понятно. Например: «ни симиру о кация содзи ни юби но ато» (о, проникающий в душу ветер, это работа маленьких пальчиков в содзи). Как это понять?

— Содзи — это промасленные передвижные стенки японского домика, — подбрасывая полешки в железную печку и кутаясь в плед, объяснял Попов-Татива. — Дети любят протыкать их кончиком пальца, с лопающимся звуком образуются дырочки. И вот у матери умер ребенок. Осень. Она сидит дома. Ветер проникает в дом через дырочки в содзи. О, проникающий в душу ветер… Николаю Михайловичу нравится объяснять, и он говорит мне:

— У вас, Сережа, есть вкус к японской культуре. Когда я в первый раз очутился в этой стране, я подумал, не на другой ли я планете?..

Института я не окончил, потому что на последнем курсе совмещать Институт с Университетом стало трудно. А я полностью погрузился в русскую литературу, в ее 19-й век, все более проникаясь ее нравственной красотой и силой. Это было не увлечение, а духовная необходимость, и это осталось на всю жизнь.

Нашим кумиром тогда был Грибоедов (я говорю про своих друзей). Он был для нас не только автором «Горя от ума», не это волновало нас. Романтика его дипломатического подвига, трагическая гибель в Тегеране, о которой Пушкин написал: «его

смерть была мгновенна и прекрасна», его ум, скептический и едкий, не лишивший его способности мыслить государственно, все это необыкновенно привлекало нас. Он был обличитель, переживший крах декабризма, и он, не сдавшийся, продолжал утверждать свои политические идеалы (в проекте ли азиатской кампании, составленной в Тифлисе, или в жесткой и прямой линии поведения в Тегеране). Неврастеник века, он был мужественен! Он был, если можно так выразиться, Хемингуэем нашей молодости. И подобно санкт-петербургским модникам тех двадцатых годов, когда он вернулся в столицу после подписания блестящего Туркманчайского трактата, мы, юноши наших двадцатых годов, готовы были подражать, если не его узким очкам и взбитому коку, то благородству и смелости. Нам импонировала, наконец, ироническая загадочность его мужского поведения, трагически подчеркнувшая нежность его любви к девочке Нине Чавчавадзе. Это поражало нас. Он был герой шпаги, бретер, рыцарь слова! Мы выдумывали его даже. В 1951 году в Московском драматическом театре им. К. С. Станиславского была поставлена моя пьеса «Грибоедов»[29], и я мог бы, по праву, посвятить ее друзьям моей юности.

Я помню Бориса Лапина и Зяму Хацревина. Они тоже готовили себя «в Грибоедовы»… Оба поступили в Институт восточных языков — Боря на отделение индустани, а Зяма — на персидское. Зяма, раньше всех нас освоивший грибоедовский дендизм, оказался в конце концов в Иране (в середине тридцатых годов) и написал небольшой цикл новелл «Тегеран», а Боря поначалу своей желторотой молодости шатался по квазилитературным кафе, объявив себя неоклассиком (на Тверской, 18 тянул в нос — «…спит тютюн, не движется осока…») — и совсем было опустился, но вдруг бросил всю эту муть, как отрезал, и худой, издерганный исчез. Этот хрупкого сложения, близорукий, углубленный в себя человек оказался на редкость выносли в и деятелен. Сохранились его стихи, написанные с веселой иронией: «Было мне шестнадцать лет. Поглядите на меня — я приехал в Самарканд в розовом начале дня и пришел в редакцию „Азиатского огня“, и редактор В. Степанов взял наборщиком меня. Было это в ноябре, в месяц пыли и ветров. В небе плыли облака — яркой пышностью ковров. Важно плыли облака. Мой характер был суров. Я готов был вечно жить. Я был счастлив и здоров».

Он объявился на Памире в качестве переписчика статистического управления (шла перепись) и верхом путешествовал по диким тропам горного Бадахшана. Он написал об этом очень талантливую прозу — «Повесть о стране Памир», в

конце которой с достоверностью рассказал, как он попал в плен и был увезен в Индию. Этого не было. Был трудный будничный путь маленького переписчика, пробиравшегося от кишлака к кишлаку, терпящего невзгоды и лишения, но воображение не отпускало его. Оно расцвечивало события, фантастически увеличивало их. Он был мистификатор, работавший на документальном материале.

Дружба с Хацревиным началась у него, когда он вернулся из Таджикистана. Появился писатель-журналист Лапин-Хацревин. Их объединила тяга к Востоку. Там набухали уже освободительные войны, и они мнили себя дипломатами, выдумывали приключения.

В тридцатых годах мы трое не раз вспоминали о нашей юношеской влюбленности в грибоедовский образ. «Грибоедовы» из нас не получились, но разве в этом дело? Он заставил нас подтянуться и внутренне и внешне. Он воспитал нас, этот странный неудачник и высокомерный денди.

Про Борю и Зиму я могу еще сказать, что их смерть тоже «была прекрасна». Они погибли в Отечественную войну под Киевом. Боря был ранен. Зяма мог уйти. Приближались гитлеровцы, но друзья встретили их вместе и вместе героически приняли смерть: от гитлеровцев, как от тегеранской черни.

Но все описанное случилось гораздо позже. А пока я изучал литературу и решал свои проблемы, все в Москве переменилось до неузнаваемости. Все переменилось как по волшебству, и стараюсь восстановить в памяти черты того противоречивого времени, вернее, свое восприятие его, каким оно было тогда. И, кажется, сейчас, словно в одну ночь, буквально в одну — перевернулась жизнь — как будто повернулся круг сцены, новая декорация, ослепительно освещенная, возникла перед изумленным взором. Она называлась нэп.

Зажглись витрины магазинов и магазинчиков, их сразу стало множество. Открылись рестораны, варьете, казино. Зашумели улицы, и по ним бежали пролетки, лихачи на дутых шинах, а зимою сани, покрытые меховой полостью. «Яков Рацер» поставщик древесного угля и концессионер «Гаммер» — автоматические ручки и карандаши, лезвия бритв «Братья Брабец» и, наконец, пиво Коннеева-Горшанова, старомосковское пиво! Рекламы засверкали на улицах. И как из-под земли появились толстые господа, модно одетые, в пиджаках в талию, застегнутые на одну пуговицу, в кепи, в шляпах, в котелках, с тросточками, в длинных желтых полуботинках, в коротких, вздернутых брюках, из-под которых выглядывали палевые гамаши и пестрые носки. По Петровке поплыли мадамы, летом под зонтиками, в юбках, обтягивающих зады, суженных книзу и коротких до колена, а

зимою в каракулевых саках и манто. Откуда они сразу возникли? Где они были до сих пор? Притаились в подвалах? Прятались под серыми шинелями, укрывались, как в чадру, в крестьянские платки своих горничных и кухарок? Неслышные, сгинувшие, исчезнувшие, они появились сразу, в одну ночь, буквально в одну ночь… Может быть, это произошло не так внезапно, а разворачивалось постепенно, набирая силы, но память сохранила именно эту поразительную внезапность.

Я к тому времени переехал из общежития в комнату на Большой Спасской, неподалеку от Сухаревской площади. Трехярусная башня еще замыкала ее. При Петре было там училище «математических и навигацких наук», а позже (при губернаторе Д. В. Голицыне) устроен водный резервуар для мытищинского водопровода. От этой знаменитой Сухаревой башни, снесенной в 30-е годы с лица земли, через всю площадь, ныне заделанную в асфальт, до самых Спасских казарм, где стояли когда-то гренадеры, тянулись дощатые балаганы-лавки, в булыжных проулках между которыми и вокруг гудела, шевелилась, текла толкучка. Торговали здесь всяким товаром, готовым платьем, ботинками, мануфактурой, подержанными вещами, краденым добром, шныряло жулье, играли в три листика, пускали ручную рулетку, шепотком предлагали порнографические открытки, зазывали гадалки, меняли новые червонцы на старые деньги… Вся нечисть выплыла так же внезапно, как толстые франты и пышнозадые мадамы на Петровке.

Комнату мне устроил мой товарищ по Институту Коля Оболенский. Эту фамилию он сам себе выдумал (настоящая — была самая обыкновенная — Иванов Коля). В те годы получить новый паспорт не составляло труда. Служебное удостоверение, профсоюзная книжка или мандат были несоизмеримо весомее. В соответствии с этой практикой Малая советская энциклопедия 20-х годов называла паспорт орудием полицейского режима — несвободы и закабаления личности.

Коля Оболенский (князь, как мы его называли) жил в трехкомнатной квартире, одну комнату занял я. Вначале, кроме нас двоих, никого не было, потом в Москву вернулись его мать и сестра с мужем, спасавшиеся от голода в провинции. Между комнатой князя и моей двери не было. На пороге стояла железная печурка («буржуйка») с трубами, выходившими в форточку. Ей мы отапливались, кипятили на ней чай и варили в солдатском котелке картошку. Вся остальная квартира леденела. Ночью мы выходили на промысел — в районе Каланчевской площади ломали покосившиеся заборы, за которыми прятались

беспризорники. С ними мы жили в дружбе. Они помогали нам в заготовке топлива — стояли «на стреме», предупреждая появление дворника или милиционера. Посуды у князя было великое множество. Грязные тарелки и стаканы мы складывали как попало в кухне и доставали чистые, Время от времени приглашались в гости студентки, мы угощали их картофелем с постным маслом, а они в ответ скребли и мыли горы тарелок, и жизнь начиналась сначала.

Князь ходил в щегольских сапогах, всегда начищенных, в хорошо подогнанном френче. Он был строен, красив, серые глаза с поволокой, вид человека, познавшего все соблазны мира, а на деле простодушный парень. Он был влюблен в замужнюю женщину и страдал, однако же рассказывал о ней цинично. Но если она появлялась у нас, он не мог скрыть своего смятения, своего счастья. Тем не менее он всегда говорил мне:

— Тебя замучают женщины, ты слишком возвышенно о них думаешь, бедный чудак. И ты недостаточно красив, чтобы вести себя лопухом. Не будь размазней. Они тебя съедят и косточки выплюнут.

Он учился в Институте (тоже на Японском) и служил делопроизводителем в отделении милиции, чем очень гордился.

На лестничной площадке, напротив нас, жил Саша Ц., композитор. Он не был композитором и в консерваторию его не приняли, потому что он был сыном домовладельца (того дома, где мы жили), и он брал частные уроки у профессора Конюса. Его старшая сестра — зубной врач — содержала семью и души не чаяла в своем брате, казавшемся ей чудом. Он целый день просиживал за роялем, сочиняя какие-то черные мессы, в которых было много от Скрябина. Его музыка была барством, а барство кончилось. Оно кончилось в искусстве, так же как кончилось в жизни.

Иногда я заходил к нему сразиться в шахматы и прослушивал очередную мессу. У него были длинные волосы, пожалуй, он был немного похож на Блока, но иконописно женоподобен. Зубному врачу приходилось нелегко (семья, фининспектор, придирки домоуправа к бывшим домовладельцам), но все же наш сосед жил, не в пример нам, как беззаботный принц. Из него ничего не вышло, так это обычно и бывает с маменькиными сынками. А маменькиных сынков было тогда мало — прежние, дореволюционные, извелись, а послереволюционные еще не народились…

На обломках старого только начинала складываться новая общественная лестница. Не было еще рангов (и званий, и регалий), далеко еще было до зарождения новых потомственных

связей. Путь был широко открыт, но продираться надо было собственными локтями (умом, талантом, интригами, но не по знакомству, не рекомендациями и не связями). Кое-кто уже спешил занять пустующие места, шумел, хотя в нэповских противоречиях неясно было, как и откуда начинается борьба за первые ряды.

Я отнес свою повесть в журнал «Россия». К середине 20-х годов советская литература уже располагала несколькими серьезными органами: «Красная Новь», «Печать и революция», первый большой критико-библиографический ежемесячник, появились затем «Молодая гвардия», «Октябрь», «Новый мир»… Журнал «Россия» занял в этом ряду небольшое, но характерное для того времени место.

Сначала это был двухнедельник, выходивший на 32-х страницах обычного журнального формата, потом стал толстым ежемесячником. В подзаголовке стояло: общественно-литературный журнал группы литераторов и ученых. В списке сотрудников объявлялись имена молодых писателей — М. Зощенко[30], Вс. Иванова, Н. Никитина, Н. Тихонова, К. Федина, Б. Пильняка, тут были и уже известные — М. Пришвин, Мариэтта Шагинян, В. Лидин, Ольга Форш и ряд видных московских и петроградских ученых и публицистов. В нем начал печататься роман Михаила Булгакова «Белая гвардия».

Журнал издавался частным издательством «Новое слово». Он заигрывал с интеллигенцией, старался стать ее трибуной, подчеркнуто демонстрировал нестандартность вкусов и свою политическую независимость. И он словно доказывал Западу, что в России, которую продолжают обвинять в полном бесправии, покончено с единомыслием, возрождается свободная литература. По-видимому, это была одна из главных, подпочвенных задач нового журнала.

Сменовеховцы[31] заговорили о возвращении на родину, а затем ряд видных профессоров и писателей (в том числе Алексей Толстой) получили право вернуться домой.

Играя на настроениях колеблющихся эмигрантов, журнал всячески подчеркивал национальный характер нашей революции. Почитался Горький за то, что сказал, что «жестокость русского народа выходит из чтения жития святых», об этом упоминал М. Пришвин («Письма из Ватищева», «Россия» № 2,1922). «Революция произошла, — писал он там же, — надо, чтобы ум человеческий произошел». Рекламировался Б. Пильняк, один из самых модных писателей того времени, он говорил сумбурной своей прозой об особенном, исконно русском, кондово-национальном духе большевизма. Он писал о «мятельной метели»

и писал: «Поезд стоит в тупике — поезд впер в Россию. Вопрос: что получит собственник в случае несоглашения между ним и советским правительством? Ответ: ничего». (Б. Пильняк. Два мира. Из романа «Третья столица»). Социолог Питирим Сорокин[32] рассуждал о том, что русская интеллигенция «всегда придавала слишком исключительное значение государственной власти». А. С. Изгоев ему вторил: «Еще дореволюционная „Русская мысль“ ставила одной из своих задач борьбу с гипертрофией политики, которая буквально заслонила в глазах интеллигенции всю жизнь. Интеллигенция должна быть независима от власти в духовном и моральном отношении», — заключал он.

Славянофильничали слегка, ратовали за высвобождение литературы от политики, чересчур навязываемой, и, как и полагается либеральному журналу, воевали с мещанскими вкусами.

Осип Мандельштам печатал очерк о литературной Москве, в условиях нэпа, в которой «Хлебников, как лесной зверь, укрывался от глаз человеческих и незаметно променял жестокие московские ночлеги на зеленую новгородскую могилу». Просвещенный Петербург откликнулся на его смерть лишь скудоумной, высокомерной заметкой. «Петербург, — писал Мандельштам, — разучился говорить на языке времени и дикого меда. Но зато именно там расцвела наука о поэзии, вызванная к жизни Потебней и Андреем Белым и окрепшая в формальной школе Эйхенбаума, Жирмунского, Шкловского»[33].

Литературная хроника сообщала, что ожидается появление ряда новых периодических изданий: толстого журнала «Русская жизнь», «Завтра» и др., а один из предприимчивых петроградских фотографов собирается даже издавать журнал типа «Солнце России», возможно, будут выходить «Огонек», «Нива», под названием «Красная нива», «Красный огонек», что Борис Пильняк живет под Москвой, в Коломне, революцию прожил там, мешочничал, ездил за мукой, писал рассказы, а теперь, после «Голого года», закончил роман «Иван-да-Марья»; что живущий в Феодосии поэт Максимилиан Волошин сильно бедствует, написал книгу «Неопалимая Купина»; что, по слухам, И. Н. Потапенко[34] был арестован в Житомире и затем пробрался за границу; что беллетрист Н. Н. Никандров[35] живет в Севастополе, где занимается покупкой и продажей вещей; что в Куоккале подвергся истреблению архив Корнея Чуковского; что Виктор Шкловский, сокрушаясь по поводу малого выхода книг по беллетристике, ищет желающих пожертвовать 7 миллионов рублей на издание лежащих втуне произведений 12 молодых писателей — «Серапионовых братьев»[36]; что получено письмо от

Марии Моравской[37], которая находится сейчас в Нью-Йорке, она много путешествовала, объездила Вест-Индию и Южную Америку и в том же письме сообщает о Нижинском[38], который открыл балетную школу в Сант-Рио; что писатель Осоргин[39] умирает от голода в Казани; что в Москве возникло новое литературное общество — Общество друзей музея Чехова, в совет которого избраны Вл. И. Немирович-Данченко, А. И. Южин[40], П. Н. Сакулин, Б. Н. Зайцев; что… и т. д. и т. п. Можно было бы продолжить пестрый перечень этой хроники, но я и так слишком подробно остановился на этом журнале. Перелистывая его страницы, я не мог не сделать этого, потому что в случайности материала, в обрывках его, было заключено время, то время, когда был еще полный разброд в литературе, все толпилось, толкалось, и пока что старые корифеи Федор Сологуб, Борис Зайцев, Евгений Замятин, Иван Шмелев, Вячеслав Иванов[41] (будущие эмигранты) мирно соседствовали с молодыми литераторами, все больше и больше заполнявшими страницы журналов и сборников. «Россия» была перекрестком разных путей и дорог, противоречивый, пестрый журнал, но его направляла умелая, ловкая редакторская рука…

Итак, я отнес свою повесть туда. Редактор-издатель принимал авторов у себя дома, на Большой Полянке. Меня встретил рыжеватый человек с красными веснушками на лице[42]. Он взял рукопись и предложил зайти к нему через две недели. Я пришел в назначенный срок и позвонил с замирающим сердцем. Дверь отворила дама. Она смотрела на меня испуганно. Она сказала: «Редактора нет, он уехал и неизвестно когда вернется».

Он не вернулся совсем, он исчез. Журнал перестал выходить. Роман Булгакова так и не был напечатан до конца. Полностью он каким-то образом появился, кажется, в Риге. Моя рукопись пропала. Ходили слухи, что редактор «независимого» журнала «Россия» арестован, потом говорили, что он административно выслан за границу.

И он действительно оказался за границей. Я встретил его в Москве, но когда? — уже после войны. К моему удивлению, он был вполне благополучен, работал в одной из газет, как правоверный человек писал статьи и книги о литературе. Меня он, разумеется, не узнал, а я счел лишним напомнить ему о нашей давней встрече. О его журнале 20-х годов давно уже все забыли, так что говорить по этому поводу — что, как и почему — вряд ли стоило, а может быть, было бы и бестактно?..

Надо было заглянуть в глубины, где ворочалась неведомая Россия. Вот это хотелось увидеть воочию, узнать — не из книг. Путь к этому, как мне казалось, могла дать мне газета.

Я пошел в «Комсомольскую правду». Редактировал ее тогда Тарас Костров[43]. Если не ошибаюсь, он был ее первым редактором, но если не первым — то, во всяком случае, с его именем связано создание этой боевой, дерзкой газеты. Версталась она для того времени необычно — с крупными заголовками, лозунгами. На ее страницах то и дело открывали сенсационные дискуссии о комсомольском быте, о студенчестве, о литературе, об искусстве, с перехлестом за что газете влетало.

Редакция помещалась в Малом Черкасском переулке, у Старой площади. У Тараса было чуткое ухо на людей, а сотрудников он любил шумных. У Тараса с утра до ночи гудел народ. Ну а если появлялся Маяковский, то и вовсе превращалось все в бурный и веселый клуб.

Триумфально-популярный среди молодежи, но вместе с тем не раз обруганный, и травимый, и осмеянный, он любил заходить сюда, чувствовал себя здесь общим кумиром и признанным мэтром и, как всегда на людях, «играл Маяковского» — бравируя безапелляционной грубоватостью, принимался за составление хлестких заголовков-лозунгов для очередного номера. Высмеивая нас за беззубость и неизобретательность, он почти лежал на столе, склонившись над развернутым сырым оттиском, а в углу рта была зажата папироса. Мы стояли вокруг, наперебой соперничая в остроумии, чтобы отличиться перед ним. Тарас, выйдя из кабинета, любовался им и нами и от удовольствия почесывал кончик носа.

Помню я и появление в редакции Эдуарда Багрицкого[44], недавно приехавшего в Москву. Глуховатым голосом он читал отрывки из «Думы об Опанасе». Кто он и откуда, никто еще толком не знал, но он предъявил паспорт — свои стихи — и тотчас был признан своим. Мне кажется, он уже и тогда выглядел таким же, каким знали мы его позже — с зачесанной на лоб челкой, полнеющий, грузный. Время стерло для меня портрет молодого Багрицкого, только таким его помню.

Л. Иохвед, начинающий беллетрист, выпустивший в издательстве «Прибой» повесть «Пристань», заведовал отделом «Театр, кино, музыка». Мы сразу сцепились с ним по поводу Художественного театра (он признавал только Мейерхольда, а я уже не боялся говорить, что думаю) и несколько успокоились, сойдясь на Дзиге Вертове — оба считали, что надобно поднять дикий шум в его защиту. Иохвед тут же заказал мне статейку о кинохронике. Я пришел, как говорится, с улицы, но тогда вопрос о сотрудничестве решался просто: вали, докладывай о себе делом, т. е. напиши, а мы поглядим, что ты за птица, парень, и годишься ли нам. Я написал и, оказалось, сгодился.

Неожиданно устроился и мой бесприютный быт. У дяди Коли, который жил на Пречистенке[45], я бывал редко, самолюбиво сторонясь его старомосковского, как мне воображалось, чванливого барства. В дальнейшем расскажу, как я ошибался в этом родном мне человеке. Он был ученый библиограф, известный книжный собиратель. Его редкостную библиотеку хорошо знали московские книголюбы и букинисты (сейчас его собрание в «Ленинке»). Он жил в книгах, ради книг и прожил всю жизнь, никуда не выезжая.

В середине 20-х годов в Москву из Сибири вернулся его младший брат, Вениамин, человек совсем иной судьбы. В 1905 году за участие в восстании Ростовского гренадерского полка (полк квартировался в Москве, в Спасских казармах) военный суд приговорил его к смертной казни, которую заменили бессрочной каторгой. Он отбывал ее в знаменитом Александровском централе под Иркутском и был освобожден Февральской революцией. В годы голода и холода пречистенский дядя, зябко потирая руки, пофыркивал:

— Это все наш Веничка устроил…

Когда я познакомился с дядей Веней, он работал в редакции журнала «Каторга и ссылка». Его рассказы послужили мне материалом для сценария «Каторга», осуществленного чуть позже нашим содружеством (режиссером Ю. Райзманом[46], оператором Л. Косматовым[47] и мной).

Жена дяди Вени, сибирячка, поражала своей необычностью. Она одевалась в платья-сарафаны, расшитые ярко-желтыми подсолнухами, украшалась серьгами и бусами и была черна, как цыганка, шумная и властная, а он, не в пример ей, тих и покладист. Он был охотник, рыболов, лыжник-спортсмен, знаток беговых и скаковых лошадей, но все это — теоретически, по книгам. Он досконально изучил все это в тюремной камере, в которой три года просидел в кандалах, а потом ряд лет в одиночке, пока его не стали выпускать на общие работы. У него висели ружья, рыболовные снасти, лыжи, стопкой лежали беговые программки с пометками и справками о лошадиных карьерах. Но из ружей он не стрелял, спиннинги и удочки мирно стояли в передней. На лыжах он иногда ходил, а на бегах бывал регулярно. Туда у него был почетный билет. Он, разумеется, не играл, но беговики и лошадники знали его хорошо. Ходил он в сапогах, всегда безукоризненно начищенных, в гимнастерках или суконных куртках, сшитых наподобие тюремного бушлата, летом в светлых, зимой в темных, из добротного сукна. Коверкотовая фуражка с мягким кожаным козырьком заказывалась у Куприянова, лучшего шапочника тех лет. Он был аккуратист во

всем. Рано ложился, рано вставал. Утрами делал гимнастику, был атлетического сложения, коренаст, с могучими руками. Весной и летом уезжал за город (у него был почетный, бесплатный билет на трамвай), совершал продолжительные пешеходные прогулки по заранее разработанному маршруту, а его жена Татьяна Ивановна намазывалась маслом и до аспидной черноты загорала. Комната после прогулок наполнялась букетами полевых цветов. Окна были распахнуты, дядя любил сквозняки. Громоздкая мебель из русского кустарного магазина, как в «Золотом петушке», стояла в комнате. На стенах висели ковры, и на тахтах ковры, стены обклеены обоями с шишкинскими мишками в лесу. Дядя терпел все это. У него в личном распоряжении была этажерка с книгами, и он сидел, погруженный в свои охотничье-рыболовные предположения или начищал сапоги и все туфли и башмаки, какие только имелись…

В этот дом я и попал после своего бездомья.

Как я не притворялся, что живу прекрасно, тетка сразу догадалась о моем истинном положении и без долгих разговоров распорядилась, чтобы я переехал к ним. У них две комнаты, одна будет моей.

— Вот и отлично, Танюшечка, — сказал бывший революционер.

Если он не выказал по этому поводу особого родственного энтузиазма, то только потому, что боялся, как бы племянник не нарушил их мирного существования. Только этого он боялся в жизни: никаких перемен. Я поселился у них.

Весной мне удалось совершить первое большое путешествие — в Среднюю Азию. Я был корреспондент, приобрел допотопную трехрядную «Корону» и, не без важности, сидя в купе международного вагона, настукивал одним пальцем путевые заметки и корреспонденции. Поезда уже ходили исправно, и люди ехали, разместившись спокойно на плацкартных местах, хотя еще бегали за кипятком. Теперь исчезло и это, стало чинно, чисто, пустынно на станциях, а тогда еще пошумливали базарчики у платформы и бежали туда милые люди в тапочках и без сапог в военных рейтузах, с чайниками и котелками. Тогда еще интересовались местной едой подешевле… Я побывал в Ташкенте, Самарканде, Бухаре, задержался в Ашхабаде.

В Туркмении в это время работала экспедиция академика Ферсмана[48]. Из Чарджоу она двинулась караваном автомобилей и верблюдов на север и пересекла Кара-Кумы — начались исследования пустыни советскими учеными. Много позже реальным станет сооружение каракумского канала. А тогда только еще подходили к этой проблеме, и она казалась

фантастикой, как ракетный самолет. Я изучал труды ученых, погрузился в народные легенды. Версия об Узбое, старом русле Аму-Дарьи, якобы впадавшей не в Аральское, а в Каспийское море, находила подтверждение в сочинениях древних арабских путешественников. «Козел по крышам мог пройти до самого Каспия», — писал один из них (Ибн Батута). Река несла воды через всю пустыню, все цвело вокруг. Стихийное бедствие или месть Тамерлановых полчищ, обрушившихся на непокорных туркмен, увели русло Аму-Дарьи на север — и высохли сады, исчезли селения и города. Вода! Вот проблема Туркмении, арена классового угнетения, классовых битв, бедности народной. Но «каждая пустыня имеет свое будущее», говорили упрямые люди. Об этом и был написан мною сценарий «Земля жаждет», спустя некоторое время поставленный режиссером Ю. Р. Райзманом.

К осени я сдал последние экзамены в Университете, заканчивал дипломную работу о Гоголе, сотрудничал в газете, начал писать сценарии.

Двадцатые годы подходили к концу.

Ялта

Май, 1966

ЗАПИСКИ О М. БУЛГАКОВЕ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
МИХАИЛ БУЛГАКОВ [49]

Люди выбирают разные пути.
Один, спотыкаясь, карабкается

по дороге тщеславия, другой ползет по тропе унизительной лести, иные пробираются по дороге лицемерия и обмана.

Иду ли я по одной из этих дорог?

Нет! Я иду по крутой дороге

рыцарства и презираю земные блага, но не честь.

М. Булгаков «Дон Кихот»

В сухой зимний денек, особенно когда солнечно было, Михаил Афанасьевич появлялся у меня. Я жил недалеко, в Мансуровском переулке, в небольшом деревянном доме. Перейдя Остоженку, можно было переулком спуститься к Москве-реке. Поэтому лыжи стояли у меня и наша прогулка начиналась прямо из моего дома. Он оставлял свою зеленовато-серую доху до пят и из такого же американского медведя большую, налезавшую на уши ушанку, натягивал неизменный вязаный колпак, и мы, закрепив лыжи уже во дворике дома, отправлялись в поход.

Остоженка была перекопана — начинали строить первую очередь метро (его строили открытым способом). Через улицу в некоторых местах были перекинуты деревянные мостки. Мы пробирались по ним, обледенелым и скользким, далее катили по переулку, утопавшему в сугробах, и оказывались на реке. По Москве-реке в ту пору свободно катались лыжники. Теплые стоки не мешали окрепнуть ледяному покрову. И по наезженной лыжне, запорошенной ночным снежком, можно было лихо и быстро докатить до самых Воробьевых гор. На горках этих или по Нескучному саду мы бродили не спеша. Обычно это был будничный день, народу мало, главным образом детвора. Иногда лишь пролетал заправский спортсмен, сверкнув красным свитером и не заметив нас.

Михаил Афанасьевич бегал на лыжах лучше меня. Скатываясь с горки чуть покруче, я не мог удержаться, лыжи разъезжались, и я валился набок. Это обязательно происходило, когда мы, возвращаясь, съезжали с Нескучного или с Воробьевых на реку. Тут спуск крут, и я летел вниз, теряя палки. Но однажды, когда сгустились сумерки и в синеве тумана не видно было реки внизу, я вдруг покатился, чуть присев, и хотя чувствовал, что несусь быстро, в лицо бьет ветер и, кажется, уже чересчур долго несусь, но не падаю. Вылетел на реку, не упал, завернул и не без лихости притормозил. Булгаков стоял неподалеку и кричал мне, смеясь:

— Оглянись!.. Погляди, горка-то какая!

Снизу, с реки, косогор, с которого я съехал, открылся мне.

Как это я не упал?

— Молодец! — воскликнул Булгаков. — А почему? Да потому, что не боялся! Не видел, какая горка, и не боялся. Главное, Сергей, не бояться. Вот как, брат.

Вечерело. Катили мы по лыжне Москвы-реки и продолжали рассуждать. А тут как раз подвернулся случай поговорить о трусости. О, трусость, говорил он, не от нее ли происходит вся подлость человеческая? Полистаешь журнальчик, почитаешь книжку — и такой вдруг стыд! Эх, эх, страшная вещь!

На легком морозце, на воздухе чистейшем, райском для города, в безлюдье и вне суеты вольготно было без обиняков поговорить о литературе и о себе.

— Не могу привыкнуть, а пора бы, — сокрушался он, чуть отталкиваясь палками. — Все время чувствую недоверие к себе, подозрительность, придирку к каждому написанному слову. Наверное, преувеличиваю, ну да тут нечему удивляться — чехлы на нервах поистрепались. Когда я приехал в Москву, литература наша начиналась с ручейков, крикливых и шумных, и лишь постепенно сливалась в большую реку. Казалось бы, плыть стало просторнее, а ведь нет, не легче. Тут потребовалось особое умение, его у меня не оказалось. Другие умели, а я, о нет, решительно не умел!..

Позже он скажет жестче:

— Литература, приспособленная для того, чтобы поспокойнее и побогаче устроить свою жизнь, самый отвратительный вид делячества. Писатель должен стать стойким, как бы ни было ему трудно. Без этого литературы не существует.

И еще он скажет: «Главное не потерять уверенности в себе, не изменить своему глазу».

А еще позже фраза его «рукописи не горят», словно мимоходом брошенная в «Мастере и Маргарите», мгновенно разлетится во все концы мира, станет поговоркой… Он не любил общих рассуждений, а вот тихое поскрипывание снега на лыжне всегда располагало его к этому.

Прошло много лет с тех пор. Невозможно восстановить все наши «лыжные» разговоры, а именно в них (я особенно понимаю это теперь) с наибольшей открытостью выражались его взгляды, его «точка опоры», благодаря которой он жил и работал. У меня никогда не возникало желания написать «мемуары» о нем. Уже тогда я намечал проследить драматическую хронику его жизни, чтобы понять, по его же выражению, стержень, которым он был движим и без которого не сохранился бы для нас Булгаков во всей своей удивительной неповторимости.

Важнее всего для меня было докопаться с наибольшей

ясностью до того, что я мысленно называл «писательский подвиг», то есть до самой сути.

Но в беспокойстве думал я: смогу ли что-нибудь сделать? Сжимая виски, я пытался вспомнить его голос, интонацию, с которой он произносил то или иное слово. Без интонации даже мысль, которую я воспроизводил, кажется, безошибочно, наполовину теряла не только живость, но и полноту еще одного, неуловимо важного смысла… Сперва я и вовсе отчаялся. Но память, память! Странная вещь память. Вдруг всплывают незначительные подробности, мелочи, к нему не относящиеся, или возникают забытые строки стихотворения неизвестно почему, или вдруг отдельные события, точность которых без записи, казалось бы, не восстановить, но они обнаруживались, вынутые из этой подспудной, запрятанной вглубь памяти, и потом проверка их, если это удавалось сделать, подтверждала, что ошибки не произошло. Словно бы внутри сработал какой-то потаенный механизм, который неведомым способом (за письменным столом, в благословенной сосредоточенности) внезапно приходит в действие…

А в моей судьбе случилось так, что архив мой, бумаги, письма, рукописи, а с ними то, что я успел написать о Михаиле Афанасьевиче, погибли. И ведь уже возникала книга о нем! Ее не стало, но она притаилась где-то внутри меня. Я пронес ее, притаившуюся, через все бедствия войны и свои личные беды, вернуться к ней, казалось, невозможно, все забыл! Не сразу появилась уверенность, что могу сделать это.

Когда он заболел, но еще вставал с постели, я стал записывать за ним, чтобы хоть как-нибудь восстановить его ранние годы, о которых мне и до сих пор не все известно. Запись велась шутливо.

— В молодости я был очень застенчив, — примерно так записывал я за ним. — До конца жизни, пожалуй, не избавился от этого недостатка, хотя и научился скрывать его. В середине двадцатых годов мне довелось встретиться в Москве с одним писателем, тоже киевлянином, с которым я учился в одной гимназии. Мы не дружили раньше, но встретились душевнейше, как и полагается киевлянам, с пристрастием любящим родной город, и он воскликнул: «Помню, помню вас, Булгаков! Вы были заводилой! Я старше вас, но до сих пор на слуху ваш беспощадный язык! Да! Латинист Субоч, помните? Он же, право, боялся вас! Вы гремели на всю гимназию! А теперь вот „Дни Турбиных“! Гремели, еще тогда гремели!..»

И Булгаков, рассказывая это, в недоумении разводил руками:

— По-моему, я не гремел, всего-навсего оборонял свою независимость. Но вот гимназическое начальство меня не жаловало, это правда. Мне всю жизнь не везло с начальством! А между тем я мечтал быть примерным мальчиком, старался — выходило наоборот!..

Нет, пожалуй, он начал свою самостоятельную жизнь вполне нормально. В 1916 году, в разгар первой мировой войны, окончил медицинский факультет Киевского университета со званием «лекаря с отличием» и, признанный негодным к несению военной службы, был направлен земским врачом на Смоленщину, в село Никольское Сычевского уезда. Неопытному медику, попавшему в захолустную больницу, пришлось сталкиваться с любыми неожиданностями, быть терапевтом, хирургом, акушером, окулистом. Впоследствии он описал случаи из своей практики в «Записках юного врача». Признаюсь, я отнесся к ним как к талантливой беллетристике. Булгаков-врач был для меня лишь внешним признаком его биографии. И напрасно. Сохранилась справка, выданная Сычевской управой. Я познакомился с ней недавно. В ней были перечислены операции, произведенные им, — отнятие пальцев на ногах, выскабливание матки, удаление атеромы и липомы, ручное удаление последа, выпрямление вывихов, удаление осколков раздробленных ребер после огнестрельного ранения и многое другое. В этой схватке за человеческую жизнь надо было действовать быстро и решительно. Он кидался к медицинским справочникам, наспех перелистывал страницы, а иногда, наверно, и времени на это не хватало и приходилось полностью положиться на интуицию. Нервы его не всегда выдерживали. По непроверенным сведениям, для взбадривания себя он начал прибегать к уколам морфия, но когда это стало превращаться в пагубную привычку, прекратил уколы (так появился потом рассказ «Морфий», скрупулезно показывающий разрушение человека под влиянием наркоза).

Не знаю, какой бы получился из Булгакова врач (а медицину он чтил), но характер свой как писателя он, наверно, уже закалял там, в сельской больнице на Смоленщине. И в справке Управы, видимо, по справедливости отмечено, что он «зарекомендовал себя неутомимым работником».

Из Никольского он был переведен в городскую земскую больницу в Вязьме (повышение!), где и застала его Октябрьская революция. В начале 1918 года вернулся в Киев. Пробиваясь домой теплушками, переполненными солдатами и мешочниками, он впервые столкнулся с разбушевавшейся революционной стихией.

«Велик был год и страшен по Рождестве Христовом 1918, от

начала же революции второй» — первые строки романа «Белая гвардия». И вот «красный, дрожащий Марс» встал над Киевом. Вместе со своим родным городом он пережил все кровавые смуты на Украине (немцев, гетмана Скоропадского, Петлюру, белую армию). Он не только многое увидел, но и многое понял за это время. И когда деникинцы, бросив Киев и отступая на юг, мобилизовали его как врача, он все более убеждался, что ему с ними не по пути. Где-то между Пятигорском и Грозным его, заболевшего тифом, в бреду, тащили в обозе, «спасая от большевиков», но он скрылся. «Быть интеллигентом вовсе не значит обязательно быть идиотом», — саркастически напишет он впоследствии.

Так кончился военврач М. А. Булгаков, скрывавший свою медицинскую специальность.

В редакции «Известий ревкома гор. Владикавказа» появился бродяжка-литератор. Ему сказали, что газеты, собственно, еще нет, издается всего лишь листок, и предложили обратиться в Политотдел искусств Наробраза. Там его тотчас назначили заведующим литературной частью. ЛИТО, ИЗО, МУЗО, целое ведомство, расположившееся в помещении бывшего коммерческого клуба. Булгакова еще пошатывало после недавно перенесенного тифа, но он уже действовал. В архивах сохранились протоколы с упоминанием его имени. Он организовывал лекции, театрализованные суды, литературные диспуты, на которые почему-то валом валил разношерстный народ.

Рассказывая об этом сумбурном времени, он с иронией вспоминал о своих первых драматургических опытах. Несколько написанных им агитационных пьес было поставлено во Владикавказском театре. «Вполне достаточно, чтобы завязнуть и уже не выбраться никогда», — говорил он.

Пьес этих у него не сохранилось, и он вспоминал о них с кислой миной, как о предмете, раз и навсегда отбившем у него вкус к подобного рода сочинительству.

На Кавказе он познакомился с Мандельштамом, жившим бедно, гордо и поэтически беспечно. Именно это запомнилось и вызвало уважение. Стихов Мандельштама он раньше не знал — тем более «Камня» или «Tristia», и ему было поразительно впервые услышать:

Театр Расина! Мощная завеса
Нас отделяет от другого мира;
Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит.

Но несколько выспренняя, многозначительная манера, с которой читал свои стихи поэт, не пришлась по вкусу Булгакову. Он всегда посмеивался над такой манерой — слушал, сконфуженный.

В подотделе искусств сблизился с Юрием Слезкиным[50]. Должно быть, еще в Киеве он читал в «Русской мысли» его роман «Ольга Орг», типичный для своего времени, что называется, модный, имевший шумный успех. Начинающему литератору казалось важным и лестным знакомство с «настоящим» писателем. Булгаков благоговел перед литературой, и каждый писатель представлялся ему существом прекрасным и возвышенным. Пожалуй, это не вполне подтвердилось в дальнейшем, но тогда он был полон иллюзий.

То, что он делал во Владикавказе, лишь приблизительно можно считать началом его литературной работы. Он ехал в Москву ни с чем. А ему было уже тридцать лет! И среди начинающих московских писателей он оказался самым старым.

Шел 1921 год.

Просматривая старые подшивки «Гудка», я нашел, видимо, первую публикацию Булгакова в этой газете (18 апреля 1922 года), об экскурсии культотдела Дорпрофсожа Моск. — Курской ж. д. в разные музеи и галереи Москвы. А затем — первый его фельетон (17 октября 1923 года), «Беспокойная поездка», подписанный — Г. П. Ухов. От этого псевдонима его попросили отказаться, тем более что из сотрудника, дававшего небольшие заметки и обрабатывавшего почту рабкоров, он постепенно возвысился до ранга фельетониста. Фельетоны его появлялись все чаще, под менее озорными псевдонимами.

Он работал в «Гудке» вместе с группой молодых литераторов — Юрием Олешей, Катаевым, Ильфом и Петровым, Львом Славиным. Веселое время молодости! Знаменитая четвертая полоса! Хлесткие фельетоны! Не редакция, а клуб безудержных остряков! Было ли все это такой безоблачной идиллией? Конечно, нет. Булгакову жилось нелегко. Надо было тянуть газетную поденщину, зарабатывая на жизнь, перебегая из «Гудка» в другую, третью редакцию какого-нибудь профсоюзного или ведомственного журнальчика, благо их развелось в ту пору множество. И к вечеру, освободившись от этой беготни, можно было забраться в свою комнату, примерно такую, как она описана им в «Записках покойника» («Театральном романе»), комнату Максудова, и там, в этой максудовской комнате, всю ночь писать свой первый роман — «Белую гвардию». Жизнь сразу приобретала

высокий смысл: писался роман! Появилась вера в себя, и честолюбивые писательские мечты будоражили воображение. Эту книгу, по его словам, он любил больше других своих вещей. Писал ее воспаленным пером, не остывшим от пережитого. Не потому ли роман этот до сих пор сохраняет живой нерв, живое чувство и, думаю, еще недооценен нашей критикой.

Я познакомился с Михаилом Афанасьевичем значительно позже (в конце двадцатых годов) и обо всем, что происходило до этого, знаю лишь с его слов. Надо условиться: я не пишу биографии Булгакова и тем более исследования о нем — это лишь раздумья о его жизни и, следовательно, раздумья о нашей советской литературе, о ее взлетах и падениях (о да, было и это!).

В своем творчестве он всегда исходил из того, что подсказывала ему жизнь. Он смотрел на нее не равнодушными глазами. Его писательская позиция была неизменной и тем более непримиримой, когда он сталкивался с любым проявлением бесстыдного угодничества и литературной нечистоплотности.

Он был веселый мистификатор — и в сочинениях своих, и в жизни; но в каждой его шутке терзалось нетерпение говорить впрямую. Он мог бы выразить это словами Герцена: «Долой маскарадное платье, прочь косноязычие и иносказания, мы свободные люди, а не рабы Ксанфа, не нужно нам облекать истину в мифы!»

Но это позже, когда задумался он над трагическими судьбами Мольера, Пушкина, Дон Кихота. Когда возник перед ним образ тихого Иешуа, избитого Крысоловом и оставшегося наедине с надменно-холодным Понтием Пилатом. Нет, в молодости было проще, беспечнее. Он с удовольствием разыгрывал перед читателем гофманиады советского быта. Круговорот учрежденческих лабиринтов возникал как рок, как дьявольская неизбежность. Это было смешно. А наша литература жила тогда без мелочной опеки. Но вот в повести «Роковые яйца» прозвучал уже зловещий, пророческий сюжет…

Словом, появился изобретательный и остроумный автор, и Горький, в ту пору независимый в своей жизни и суждениях знаменитый писатель, зорко следил за первыми шагами молодой советской литературы и тотчас отметил Булгакова, назвав его вместе с именами Федина, Зощенко, Леонова, Каверина, Всеволода Иванова… Спрашивал писателя С. Т. Григорьева: «Знакомы ли вы с М. Булгаковым? Что он делает? Не вышла ли „Белая гвардия“ в продажу?» А Ромену Роллану писал, что в России появляются поистине замечательные писатели — Леонов, Булгаков…

Критика тех лет увидела в сборнике булгаковских рассказов «Дьяволиада» искажение советской действительности и пожурила его за это, но более широкое, выходящее за рамки журнальной полемики внимание привлек роман «Белая гвардия». Две части его были напечатаны в журнале «Россия» (в 1924 году), а третья осталась неопубликованной из-за закрытия журнала.

В этом романе запечатлелись еще не остывшие, жгучие воспоминания о Киеве времен гражданской войны. Тут были куски личной жизни, втянувшей его в бурный поток событий и превратившей его, врача, в литератора… Максимилиан Волошин писал Н. С. Ангарскому[51], одному из редакторов издательства «Недра»: «Эта вещь представляется мне очень крупной; как дебют начинающего писателя ее можно сравнить только с дебютами Достоевского и Толстого».

Художественный театр заинтересовался романом и предложил автору сделать инсценировку. Так появились знаменитые «Дни Турбиных».

В пьесе, как и в романе, Булгаков, кровно связанный с судьбой русской интеллигенции, выступал ее адвокатом и прокурором. Он всегда видел в ней одно из самых высших проявлений духовной силы русского народа и никогда не изменял этому убеждению. Но он смотрел исторической правде в глаза и именно поэтому клеймил изменников и трусов из своей среды, судил их беспощадным судом. В «Беге» он показал бесславный конец белого движения, возникавший как кошмарное сновидение, как трагический балаган. В «Турбиных», напротив, автор полон глубокого сочувствия к турбинскому дому, его неповторимой теплоте, тревожной смуте. Тальберг мерзок и жалок, но зато Алексей Турбин до конца сохраняет неподкупную честь и благородство.

Вот за этот «объективизм» критика и обрушилась на театр и на Булгакова. «Защищать?.. Что?.. Кого?..» — с болью и гневом останавливал юнкеров Алексей Турбин. — «Одним словом, в бой я вас не поведу, потому что в балагане не участвую, тем более что за этот балаган заплатите своей кровью и совершенно бессмысленно, вы все!..» Слов этих не услышали.

Удивительно, что не только смысл пьесы, ее идейная направленность не были уловлены, но и художественная сторона драматургии Булгакова вызывала сомнения. Я поразился, прочитав письмо А. В. Луначарского В. В. Лужскому[52], помеченное 12 октября 1925 года. Ознакомившись с пьесой, А. В. Луначарский не нашел в ней ничего недопустимого с точки зрения политической. «Я считаю, — писал он, — Булгакова очень талантливым человеком, но эта его пьеса исключительно

бездарна, за исключением более или менее живой сцены увоза гетмана. Все остальное либо военная суета, либо необыкновенно заурядные, туповатые, тусклые картины <…>. В конце концов нет ни одного типа, ни одного занятного положения <…>. Если некоторые театры говорят, что не могут ставить тех или иных революционных пьес по их драматическому несовершенству, то я с уверенностью говорю, что ни один средний театр не принял бы этой пьесы именно ввиду ее тусклости, происходящей, вероятно, от полной драматической немощи или крайней неопытности автора». Это написано наркомом просвещения, одним из разносторонне образованных людей — критиком, публицистом, оратором, а к тому же и драматургом, пышные пьесы которого шли в Малом и других театрах[53].

Но тут было не просто непонимание нового автора современниками (даже такими всеядными, как Луначарский). Дело обстояло глубже. Булгаков лицом к лицу столкнулся со зрителем, который только что прошел тяжелейшие дороги гражданской войны. Ее раны еще кровоточили. А на московской сцене вдруг сыграли спектакль, героями которого оказались белые офицеры, и автор рассказывал о них с горестным сочувствием к их трагической судьбе. Как могли воспринимать «Дни Турбиных» люди, только вчера скинувшие буденовки и красноармейские шинели? Они были взволнованы, но отношение их было непримиримо, и в их понимании смысл пьесы, естественно, искажался. Лишь впоследствии «Дни Турбиных» и «Бег» прозвучали совсем по-другому, но для этого потребовалось время, чтобы не только психологическая, но и историческая правда его пьес стала очевидной. А тогда они вызвали бурную полемику, и это было неизбежно. И добро бы, если бы это было просто полемикой. Вспыхнула и неведомо почему разрасталась критика самая злопыхательская. Вот уж в выражениях не стеснялись!

Били и по МХАТу, и по Булгакову с двух сторон: с одной — ортодоксы из РАПП (Российская ассоциация пролетарских писателей), самозванно присвоившей себе функции партийного руководства литературой, с другой — крикливые лефовцы, провозглашавшие новые революционные формы и громившие старое искусство и одну из его цитаделей — МХАТ.

Много лет позже Булгаков вспоминал об этом без всякого озлобления, даже весело и говорил:

— А знаешь, кто мне больше всех навредил? Завистники.

Действительно, появление на сцене Художественного театра такой шумной премьеры, как «Дни Турбиных», вызвало еще и зависть. Он оказался первым советским драматургом,

появившимся на прославленной сцене МХАТа. Это было слишком заметно и громко. А в ту пору было немало молодых литераторов, еще неведомых по весу и возможностям, но все они толпились и спешили занять места в литературном партере… Мхатовская афиша с именем Булгакова произвела такое же раздражающее впечатление, как в «Театральном романе» имя Максудова рядом с Софоклом и Эсхилом. И чем мельче встречались на пути люди, тем больше было зависти, а впереди его поджидали не менее крутые горки. Но теперь он был не один, за его спиной стоял театр! МХАТ стал его крепостью и защитой от многих штурмов, даже в годы, когда он поневоле притих как автор и лишь помогал сценическому воплощению очередного спектакля, работая режиссером-ассистентом, и редактировал пьесы, намеченные к постановке…

Однако и в лучшие, самые безоблачные времена его отношений с Художественным театром он, прирожденный литератор, мечтал о работе в журнале, о редакции с ее суетой, о писательской среде. Недостижимыми становились манящие слова «верстка», «гранки», и лишь в воображении возникал сладкий запах типографской краски… Этого не было. Казалось, исчезло навсегда. Промелькнуло в молодости, когда сотрудничал в «Гудке» и немного в издательстве «Недра».

Конечно, он любил театр — темный зал во время репетиций, волнующее чувство соучастия в общем деле создания спектакля, в его невидимом, словно бы исподтишка, прорастании и, наконец, публичное рождение своих собственных слов, зазвучавших вдруг с нестерпимой громкостью со сцены. Все эти превосходные вещи не могли, однако, вытеснить и заменить литературу, которая втайне оставалась для него главным делом жизни. А он был отрешен от нее, на Первый съезд писателей в 1934 году ему даже не послали гостевого билета…

В первый раз я увидел Булгакова в конце 1927 или в начале 1928 года (точно не помню) на диспуте «Любовь Яровая» — «Дни Турбиных». Тогда часто противопоставляли эти пьесы: первую — как положительный пример революционного спектакля, вторую — как враждебную вылазку. Диспут происходил в Театре Мейерхольда.

В книге мемуаров О. Литовского[54] «Так и было», опубликованной в 1958 году, я с удивлением прочитал, что «старый и опытный театральный критик В. Блюм (Садко)[55]», как пишет Литовский, пришел к нему, Литовскому, и… «совершенно серьезно сказал, что произошло два примечательных события: появились две пьесы, одна — революционная — Булгакова „Белая

гвардия“ (так первоначально назывались „Дни Турбиных“), а другая — реакционная — Тренева „Любовь Яровая“».

Это поразительное для того времени мнение одного из самых придирчивых работников Реперткома о пьесах Булгакова и Тренева распространения не получило, оставшись глубоко спрятанной «внутренней» рецензией. Напротив, в печати и на диспутах на пьесу Булгакова дружно обрушились, а примитивная пьеса Тренева в постановке Малого театра была поднята на щит.

На диспуте, о котором я рассказываю, одним из основных докладчиков был критик Орлинский, особенно крикливо выступавший против «Дней Турбиных». Он без обиняков обзывал автора внутренним эмигрантом и обвинял его в сочувствии белой гвардии.

Я не могу восстановить отповеди Булгакова, но помню, как на сцене появился светловолосый человек, с любопытством вглядывающийся в своего противника, которого увидел впервые, торжествующего, победоносного. Пряча возбуждение и нервность, Булгаков старался говорить как можно спокойнее, но это ему удавалось с трудом.

— А! Вот вы какой! Наконец-то я вас вижу! — восклицал он. — Скажите мне, почему я должен слушать про себя и про свою пьесу черт знает что и нигде не могу ответить вам!

Он бился, как в ловушке, прекрасно понимая, что суждения Орлинского, как и всех его соратников, озлобленно-пристрастны, что от него, Булгакова, требуют, чтобы он изобразил белых офицеров как сплошных негодяев, истязающих своих денщиков. («Денщиков уже не было! И вы, Орлинский, представления не имеете, что происходило в Киеве тогда — при немцах, при Скоропадском, при Петлюре!» — уже кричал Булгаков.)

Это было трудное для него выступление. Не знаю, готовился ли он к нему или вышел на сцену внезапно, не выдержав. В зале царило молчание. Настроены к нему были враждебно. На диспутах в Театре Мейерхольда преобладала «левая» молодежь, нападавшая на МХАТ, обожавшая Мейерхольда. В этой аудитории он не мог «пройти».

Он был здесь одинок и неуместен, и он показался мне почему-то очень высоким, длинноруким, длинноногим и по-юношески горбившимся.

Познакомился я с ним спустя несколько лет после этого диспута.

В ту пору он уже поселился на Большой Пироговской. При нэпе появились люди, которые имели право построить небольшой дом и становились его частными владельцами. У одного из таких

застройщиков Булгаков и арендовал трехкомнатную квартиру (немалая по тем временам роскошь). Из небольшой квадратной столовой три ступеньки вниз вели в его кабинет. Там стояли некрашеные стеллажи с грудой книг и старых журналов. По квартире разгуливал рыжий пес Бутон, приветствуя гостей пушистым с плюмажем хвостом. Постоянно толпилось множество разных людей. Гостила очень милая девушка из Тбилиси (из-за нее я сперва и попал к Булгакову).

Он был женат тогда на Любови Евгеньевне Белозерской. Ее биография стала бы, пожалуй, необязательной в моих записках, если бы с ней не была связана работа над «Бегом», последовавшая тотчас за «Днями Турбиных». Об этом нужно рассказать.

В начале революции с общим потоком бежавших из России (не знаю, с кем и как) Любовь Евгеньевна очутилась в Константинополе, испытав все унижения, выпавшие на долю эмиграции. Затем перебралась в Париж, где жизнь ее сложилась трудно, пока, по-видимому, не сблизилась со сменовеховцами, ратовавшими за возвращение на родину. Это привело ее в Берлин, в берлинскую редакцию «Накануне», возглавляемую А. Н. Толстым. Там (или, может быть, раньше) она вышла замуж за журналиста Василевского (Не-Буква)[56], близкого к этой редакции. Не знаю, был ли это брак «по любви» или «по расчету», но он упрощал ее возвращение в Россию. Во всяком случае, по приезде в Москву она разошлась с мужем, и вскоре состоялась ее встреча с Булгаковым, еще дурно одетым, застенчивым, но уже входившим в моду писателем.

Трагическая тема русской интеллигенции, искавшей спасения в эмиграции, продолжала тревожить его воображение. В рассказах Любови Евгеньевны оживал страшный Константинополь, жизнь бывших людей, похожая на жизнь «на дне». Жалкий генерал Чарнота, тараканьи бега, превратившаяся в проститутку Люська и готовая выйти на панель Серафима, фантастически авантюрная надежда на Париж и многое другое — все это постепенно сложилось в сновидения «Бега». Возник Хлудов с неотступным кошмаром о повешенном им солдате Кропилине, возникла тема о преступлении против народа и о возмездии («И судимы были… сообразно с делами своими»).

Годы совместной жизни с Любовью Евгеньевной, думаю, едва ли не были самыми счастливыми в писательской биографии Булгакова. Я подчеркиваю — счастливыми, хотя это может показаться неожиданным. Ведь именно тогда на него обрушился, как я уже говорил, буквально шквал самой грубой критики. К его имени прилепили, как каинову печать, обобщающее словцо «булгаковщина». Но ведь при всем нервном напряжении, какое

ему пришлось вынести, он жил! Он находился в центре кипучих театральных битв! Он действовал! Он боролся! Он был «на коне»! Он был в славе! Когда он приходил ужинать в «Кружок», где собирались писатели и актеры (как нынче в Доме литераторов или в Доме актера), его появление сопровождалось оживленным шепотом. К нему, услужающе юля, подбегал подвизавшийся в «Кружке» тапер и, приняв заказ, тотчас возвращался к роялю и отбарабанивал в усладу знаменитому гостю модный фокстротик (кажется, «Аллилуйя»), Если в бильярдной находился в это время Маяковский и Булгаков направлялся туда, за ним устремлялись любопытные. Еще бы — Михаил Булгаков и Маяковский! Того гляди, разразится скандал.

Играли сосредоточенно и деловито, каждый старался блеснуть ударом. Маяковский, насколько помню, играл лучше — выхватка была игроцкая.

— От двух бортов в середину, — говорил Булгаков.

Промах.

— Бывает, — сочувствовал Маяковский, похаживая вокруг стола и выбирая удобную позицию. — Турбинчики — это вещь! Разбогатеете окончательно на своих тетях Манях и дядях Ванях, выстроите загородный дом и огромный собственный бильярд. Непременно навещу и потренирую.

— Благодарствую. Какой уж там дом.

— А почему бы?

— О, Владимир Владимирович, и вам клопомор не поможет, смею уверить. Загородный дом с собственным бильярдом выстроит на наших с вами костях ваш Присыпкин.

Маяковский выкатил лошадиный глаз и, зажав папиросу в углу рта, мотнул головой:

— Абсолютно согласен.

Независимо от результата игры прощались дружески. И все расходились разочарованные.

Для многих, даже близких людей особенно для приятелей, охотно прилеплявшихся к нему, его жизнь в те годы представлялась на зависть яркой, необычной, в непрерывном ожидании новых взрывов и ошеломлений. С внешней стороны вроде бы так и было. Казалось, он достиг прочного положения; как ни старалась критика, которая стала похожа уже на травлю, но она только подогревала его успех! И он, встречаемый поклонниками, путешествовал по Крыму, в Ялту, в волошинский Коктебель, оттуда в Батум, в Тифлис и, наконец, в тот самый Владикавказ, где еще совсем недавно бедствовал… А дома его ждала полная чаша! Он уже переехал на Большую Пироговскую, его окружали друзья. Среди них — первые признавшие его

интеллектуалы Пречистенки, о которых мне еще предстоит рассказать. Чуть не каждый день прибегали «турбинцы», влюбленные в него молодые мхатовцы, готовые, казалось, разделить с ним все возможные превратности его писательской судьбы… Словом, жилось на широкую ногу, весело, может быть, чуть бестолково. Любовь Евгеньевна увлекалась верховой ездой, ходила в манеж, и в шутку даже снялась, одетая в бриджи, в легоньких сапожках, в приплюснутой жокейской кепке…

Впрочем, ее увлечение конным спортом может создать превратное представление о ней у читателя. Она отнюдь не выглядела экстравагантно. Напротив, в ней не было ничего вычурного. Все «нэповское», модное, избави бог, отсутствовало в ней. Она одевалась строго и скромно. Была приветлива, улыбчива, весела. В ней было много душевной теплоты. Любила давать причудливые клички знакомым — Петю-Петянь, Петры-Тытери и т. п. Собаку назвала Бутоном, по имени слуги Мольера. А Михаила Афанасьевича называла Макой и ласково: Мася-Колбася. В кругу ее друзей он на всю жизнь так и остался Макой, а для иных — Масей-Колбасей.

У нее было множество друзей, приятелей и приятельниц. Больше, чем хотелось бы, стало появляться в доме крепышей конников, пахнущих кожей, и чуть больше, чем надобно, лошадиных разговоров. Я пишу об этом не для того, чтобы очернить неразборчивое приятельство, заполнившее булгаковский дом, но мне кажется, что непонимание Булгакова в его тогдашней жизни началось значительно раньше, чем стало очевидным и привело к разрыву.

Любовь Евгеньевна одаривала щедрой чуткостью каждого человека, появившегося в ее окружении. Может быть, чересчур?.. С полной отдачей сил, суетясь, озабоченная, она спешила на помощь, если к ней обращались — и по серьезным поводам и по пустякам (в равной мере). Со всем бескорыстием она делала это, и посему телефон действовал с полной нагрузкой. Недаром ее называли «Люба — золотое сердце». Лишь Булгаков все чаще морщился: «О да, она — Люба-золотое сердце», произнося это уже не только насмешливо, но и раздраженно.

Он был общителен, но скрытен.

Он был гораздо более скрытен, чем это могло показаться при повседневном и, казалось бы, самом дружеском общении.

В столовой, как всегда, веселились, шумели, гремели посудой, спорили.

А он все чаще незаметно уходил или замыкался в кабинете (три ступеньки вниз). Сидел за письменным столом, заваленным

бумагами и книгами, работал. Начал писать о Мольере — пьесу и повесть. И где-то в глубине, неведомо как и почему, постепенно вырастал замысел загадочного романа «Консультант с копытом», превратившегося впоследствии в «Мастера и Маргариту». Появились первые черновики, написаны были первые страницы…

Рождался новый Булгаков. Он многое предвидел и предчувствовал. Это было незримо для постороннего глаза, это происходило внутри. В своих взглядах он становился все тверже — и на то, что происходило вокруг, и на свое писательское дело.

Это был не тот Булгаков, которому, по его словам, требовалось не более двадцати минут, чтобы написать фельетон или продиктовать машинистке небольшой рассказ. Чем дальше, тем писал он труднее и напряженнее…

Но все же еще все было по-прежнему, продолжались «счастливые времена».

«Дни Турбиных» шли с возрастающим успехом, волновали зрителей искренностью, человечностью образов, глубиной чувства. В этом отношении пьеса резко отличалась от множества ходульных произведений того времени. Спектакль тревожил, бередил сердца, в том числе и недоброжелателей, о спектакле говорили, стремились посмотреть его и смотрели по нескольку раз.

Все взлеты Художественного театра неразрывно связаны с тем, в какой мере спектакль был современен. Школа МХАТа всегда была школой остро чувствующего современность актера. Не спекулятивной злободневностью, а глубоким откликом на дух и чаяния времени покорял театр. Угодливое подхватывание сиюминутной темы отвращало его. Чехов и Горький определили начало его пути. Это был театр, кровно близкий московской интеллигенции. Он отражал ее идеи, ее метания и смуты и ее надежды.

Не случайно поэтому, что именно в спектакле «Дни Турбиных» органически родилось новое, так называемое «среднее» поколение театра, для которого тема «Турбиных» (интеллигенция и революция) была животрепещущей. Вторично осуществить такой совершенный спектакль нельзя: он жил нервом своего времени. И имена Хмелева, Добронравова, Соколовой, Тарасовой, Яншина, Прудкина, Кудрявцева, Станицына засверкали, сразу завоевав зрителей. Роли, исполняемые ими (Алексей Турбин, Елена, Николка, Шервинский, Лариосик, Мышлаевский и другие), остались неразрывно связанными с их актерской славой, как будто они родились вместе, неразлучно. «Дни Турбиных» были для них тем, чем была когда-то «Чайка» для зачинателей Художественного театра. Сообщение о

намерении МХАТа поставить вслед за «Днями Турбиных» «Бег» сразу вызвало грозные нападки в печати.

«В одном из очередных номеров журнала будет напечатана статья, вскрывающая реакционный путь такого типично мелкобуржуазного писателя, как Булгаков. Увы, приходится вновь обращаться к пресловутому автору „Дней Турбиных“. <…> После „Бронепоезда“ мы били в набат по поводу победы над прошлым МХАТа — и опять Булгаков. „Бег“? Не будет этого!» Такого рода высказывания то и дело встречались в газетах и журналах того времени.

Превеликий шум этот происходил вопреки заявлениям Горького, который предсказывал пьесе «анафемский успех». Он говорил на обсуждении «Бега» в МХАТе, что не видит «никакого раскрашивания белых генералов». «Это превосходнейшая комедия, — говорил он, — я ее читал три раза». Первоначально работу над пьесой разрешили МХАТу (только МХАТу, как и постановку «Дней Турбиных»). Роль Хлудова была поручена Н. П. Хмелеву, поразительно его сыгравшему, да и весь черновой прогон в репетиционном зале прошел с трепетным волнением, но премьера, намеченная в октябре 1928 года, не состоялась. Пьесу запретили. Впервые она была осуществлена на сцене лишь через 17 лет после смерти автора (в 1957 году) в Волгоградском драматическом театре, а затем ее стали играть в Ленинграде, Москве и других городах.

В конце октября 1926 года вахтанговцы показали «Зойкину квартиру». В ту пору появился ряд пьес, изобличающих гримасы нэпа и нарождавшегося мещанства («Мандат» Н. Эрдмана[57], «Воздушный пирог» Б. Ромашова, «Растратчики» В. Катаева и др.). Но если некоторые из этих пьес покритиковали, то, в общем, снисходительно. Главный удар — и, думаю, преднамеренно — был нанесен по «Зойкиной квартире». В ней увидели не только смешную сатиру на жуликов и приспособленцев, но и обвиняли автора в намеках на «тайное» разложение нравов. Ого! Тайное разложение! В подпольных квартирах! И ведь до сих пор почему-то нигде не играют эту комедию, даже в сборник его пьес, вышедший в шестидесятые годы, не разрешили ее включить. Впрочем, вахтанговцев и тогда нельзя было заподозрить в легкомыслии. Еще в апреле 1927 года они предусмотрительно обратились не к Булгакову, а к Б. А. Лавреневу с предложением написать пьесу к 10-летию Октября. Сообщая план пьесы, Лавренев заверял театр, что «все подводные камни политсовета мною будут обойдены». Он писал: «„Дней Турбиных“ я все равно не сделаю — будьте покойнички, такта у меня пока что хватает». Театр мог быть спокоен. «Дней Турбиных» он действительно не

написал, а «сделал», по его выражению, «Разлом».

Вслед за «Зойкиной» (в 1928 году) Камерный театр поставил памфлет-пародию Булгакова «Багровый остров». Этот спектакль вызвал уже целую бурю негодования. В нем были зло высмеяны реперткомовцы и рецензенты. Автор издевался над цензурой и, как бы в предвидении грядущих бед, разбалаганил своих вечных недругов критиков, не опасаясь и портретного сходства. Но тем не менее задача его была намного шире, чем сведение личных счетов.

Необходимость беспощадного сатирического изображения жизни была не только игрой насмешливого ума, но и гражданской позицией Булгакова. Он отнюдь не уподоблялся тем лесковским писателям-натуралистам западной школы, которые, нанимая квартиру, даже не заглядывают в комнаты, а сразу бегут к дворнику с вопросом: где у вас тут помойная яма? В разговорах на эту тему Булгаков вспоминал высказывания Лескова о скептицизме, который если он не разъедает кислотой своих безотрадных взглядов, то делает доброе дело, разрушая то, что должно быть разрушено… «И пусть каждый писатель высмеивает, вышучивает, бичует наш быт, условия нашей жизни и ее опекунов — это не даст фальшивому самодовольству забрать в свои руки наши души».

Он не был фрондером! Положение автора, который хлопочет о популярности, снабжая свои произведения якобы смелыми, злободневными намеками, было ему несносно. Он называл это «подкусыванием Советской власти под одеялом». Такому фрондерству он был до брезгливости чужд, но писать торжественные оды или умилительные идиллии категорически отказывался.

А ведь в это время развернулась деятельность РАПП. Не ожидая своего близкого конца, рапповцы безнаказанно расправлялись с недостаточно перестроившимися «интеллигентами-попутчиками», среди которых были едва ли не самые яркие представители нашей молодой и еще дерзкой литературы. Ярлыки наклеивались хлестко, наотмашь. Константин Федин с его рассказом «Трансвааль» — кулацкий писатель. Леонид Леонов — «достоевщина из Зарядья», новобуржуазный писатель, пытающийся сделать вид, что переползает на сторону революции. Всеволод Иванов в своих партизанских повестях показывает историю стихийного, асоциального человека, «управляемого лишь биологическими импульсами», а в «Тайном тайных» откровенно скатывается в сексуальность и мистику. Алексей Толстой и Илья Эренбург — буржуазные писатели. Анна Ахматова — труп, и т. д. Примеры

можно было бы продолжить. Замахивались и на Горького (потом пали ниц). Булгаков же был сразу отнесен к самому крайнему флангу, обзывался «внутренним эмигрантом», пособником вражеской идеологии. Это уже прозвучало прямым политическим обвинением, и при единодушном напоре разгневанной критики все его пьесы, одна за другой, были сняты с репертуара. Напрямик вставал вопрос — как и на что жить дальше?

Во времена нэпа у нас существовала безработица, действовала биржа труда, возле которой хвостилась очередь.

В обстоятельствах, вдруг сложившихся вокруг Булгакова, он не только не мог рассчитывать на договор с театром или с каким-либо издательством, но и просто на получение работы. Катастрофическое положение усложнялось тем, что по существовавшим тогда законам писатель облагался налогом как частник. В конце года фининспекция изучала «декларацию» автора, подсчитывала его доходы и на основании этого предъявляла соответствующую сумму для уплаты налога. Эти налоговые обязательства, в которых был учтен гонорар за прошлые спектакли, а их уже не было в репертуаре, пришли к Булгакову тогда, когда ничего не поступало на его авторский счет, заработанное прожито, а он уже легкомысленно привык к своей материальной обеспеченности. Началась продажа вещей, появились долги.

Еще не осознав того, что произошло, Булгаков оказался в опасной немилости. И вдруг дом его опустел. Словно все притихло, вымерло вокруг. Очень многие из тех, кого можно было считать приятелем и кто считал себя восторженным почитателем его таланта, перестали бывать в доме. Почти совсем замолк телефон…

Крах литературный совпал с кризисом его семейной жизни.

Он приходил ко мне растерянный. Порозовев от волнения, начинал разговор, но тут же обрывал его, и мы говорили о каких-то посторонних вещах… Беседы не получалось. Ничего толком он еще сказать не решался, но я догадывался, что происходит с ним, по отдельным его фразам, которые он словно бы пробрасывал, поглядывая на меня при этом испытующе…

В его жизнь, неприметно для окружающих, уже вошел новый человек. Он, этот человек, стал самым дорогим и близким, но его еще не было, не могло быть рядом. Слишком много человеческих судеб переплеталось здесь. Невозможными становились даже мимолетные встречи. И тогда все оборвалось — и, казалось, навсегда. И мир, казалось, померк. И надо было молчать. Нельзя было даже перед другом выговориться до конца.

Я и сейчас не считаю себя вправе рассказывать об этом. Все это слишком личное, чтобы говорить подробнее.

Но именно тогда он, полный неясности, душевной смуты, безнадежности и тоски, проявил всю цельность своего характера, не терпящего никаких компромиссов.

Он доказал это не только как писатель, но и как человек. Я согласен с М. Пришвиным, который писал: «Может быть, и правда, секрет творческого таланта — в личном поведении автора? Об этом стоит написать книгу».

Это было трудное для Булгакова время. Он горько иронизировал в письме к П. С. Попову:

«Итак, дорогой друг, чем закусывать, спрашиваете вы? Ветчиной. Но этого мало. Закусывать надо в сумерки на старом потертом диване среди старых и верных вещей. Собака должна сидеть на полу у стула, а трамваи слышаться не должны. Сейчас шестой час утра, и вот они уже воют, из парка расходятся. Содрогается мое проклятое жилье».

…Самое трудное — одиночество.

Все, что напоминало театр, воспринималось болезненно, и он стал избегать театральных знакомых, даже тех, в искренности которых мог не сомневаться. Единственной средой оставались «пречистенские друзья».

Поясню: на бывшей Пречистенке (уже давно переименованной в улицу Кропоткина), в ее кривых и тесных переулках, застроенных уютными особнячками, жила особая прослойка тогдашней московской интеллигенции. Территориальный признак здесь случаен (необязательно «пречистенцу» жить на Пречистенке), но наименование это не случайно. Именно здесь исстари селилась московская профессура, имена ее до сих пор составляют гордость русской общественной мысли. Здесь находились и наиболее передовые гимназии — Поливанова, Арсеньевой, Медведевское реальное, 1-я московская гимназия. В двадцатые годы эти традиции как бы сохранялись, но они теряли живые корни, продолжая существовать искусственно. Об этом сатирически повествует неоконченный роман общего нашего с Булгаковым друга Наталии Алексеевны Венкстерн[58] «Гибель Пречистенки» (рукопись еще при жизни покойной писательницы передана в ЦГАЛИ). Частично на эту тему написана повесть С. С. Заяицкого[59], талантливого и язвительного писателя и драматурга, «Жизнеописание Лососинова» (повесть была издана в середине 20-х годов).

Советские «пречистенцы» жили келейной жизнью.

Их выход на более открытую общественную арену коротко

прозвучал в период существования ГАХН (Гос. Академии художественных наук, кстати, помещавшейся тоже на Пречистенке).

Они писали литературоведческие комментарии, выступали с небольшими, сугубо академическими статьями и публикациями в журналах и бюллетенях. Жили они в тесном кругу, общаясь друг с другом. Квартиры их, уплотненные в одну, реже в две комнаты, превратившись и коммунальные — самый распространенный вид жилища тогдашнего москвича, — напоминали застывшие музеи предреволюционной поры. В их комнатах громоздились красное дерево, старые книги, бронза, картины. Они были островитянами в мутном потоке нэпа, среди народившихся короткометражных капиталистов и возрождающегося мещанства, но в равной степени отделены от веяний новой, зарождающейся культуры, еще очень противоречивой, зачастую прямолинейно-примитивной в своих первых проявлениях.

У «пречистенцев» чтились филологи и философы.

Они забавлялись беседами о Риккерте и Когене. В моду входили Фрейд и Шпенглер с его пресловутым «Закатом Европы», в котором их особенно привлекала мысль, что главенство политики является типичнейшим признаком вырождения культуры. А посему они толковали об образе, взятом из природы и преображенном творчеством, о музыкальных корнях искусства, о мелодии, связанной с ритмом… В них все еще сохранялась рафинированность декадентщины предреволюционной поры, но они считали себя продолжателями самых высоких традиций московской интеллигенции.

В этом кругу к Булгакову относились с повышенной заинтересованностью. В нем хотели видеть своего представителя. Хотели видеть его на Голгофе, падающего под ударами, чуть ли не мучеником. Преуспевающий Булгаков возмущал их. В каждом проявлении его признания они видели почти измену своего «избранника». Булгаков служил как бы оправданием их общественного небытия, их исторической обреченности. Но его живое творчество опровергало эту обреченность. Он очень скоро почувствовал, что эта среда отягчает его, как гири.

Мыслитель, говорил Лев Толстой, — это растение, дающее побеги на диких скалах. Он питается собственными соками. Но если Спиноза жил в своей дыре, Декарт — у своей печки, а Кант был отшельником, то для искусства это смерть. На дикой скале искусство не живет, оно нуждается в непрерывно поступающем к нему потоке жизни. Никакими силами Булгаков не мог быть брошен на эту дикую скалу. Напрасно навязывали ему «пречистенские друзья» «трагическую отрешенность». Все, что он

написал, начиная с «Записок врача» и «Белой гвардии» (и пьес о Мольере и Пушкине!) и кончая романом «Мастер и Маргарита», свидетельствует, что все его замыслы рождены кипучим вмешательством в жизненные процессы, а не насмешливым созерцанием со стороны. Его сердце было открыто мучительным и противоречивым ветрам времени, его хлестало и било, он не сдавался и не прятался в затишок, потому что не хотел и не мог этого делать.

Тем драматичнее было, что в период наибольшего душевного смятения именно «Пречистенка» оказывалась его единственным прибежищем. Но он жил не прошлым, он был «горение, а не гниение».

И он высвобождался из этой среды, как ни трудно было, особенно теперь, когда положение литературного страдальца так им импонировало. Он порывал с ней, сохранив добрые отношения с некоторыми из «пречистенских друзей», но, по сути, это уже было ни к чему не обязывающее знакомство. В дальнейшем ему не раз приходилось раздражаться на них. Вокруг каждого своего нового произведения он слышал одобрительные шепотки, что вот-де какой тайный смысл вложил сюда Булгаков. Шепотки эти подхватывались, распространялись и в конце концов наносили ему вред.

Но в 1930 году, после запрещения всех его пьес, дело шло не о его литературной репутации, а о его писательской судьбе. Он решал ее сам, не озираясь на суетившихся вокруг «доброжелателей». Отверг унизительные хождения с жалобами, объяснениями, просьбами, заявлениями. И, видя безвыходность своего положения, обратился с письмом в правительство СССР. Не кривя душой и негодуя, он писал, что ему со всех сторон подают «дружеские» советы сочинить коммунистическую пьесу, написать покаянное письмо и объявить во всеуслышание, что отныне он будет работать как преданный идее коммунизма писатель-попутчик. «Навряд ли, — писал он, — мне удалось бы предстать перед Правительством СССР в выгодном свете, написав лживое письмо, представляющее собой неопрятный и к тому же наивный политический курбет». Он говорил далее о праве своем как писателя думать и писать по-своему.

Впоследствии немало ходило по рукам фальсифицированных «копий» этого письма. В искаженном виде не раз попадало оно и ко мне, проникло, должно быть, и в зарубежную печать, не знаю, в каких извлечениях и в какой редакции. Подлинник его хранится в булгаковском архиве в Ленинской библиотеке, но у нас была опубликована лишь в выдержках («Вопросы литературы», № 9 за 1966 год) заметка С. Ляндреса, весьма смягчающая, если не

сказать резче, содержание и тон письма Булгакова. Поэтому я обязан привести здесь хотя бы важнейшие отрывки из этого документа, поражающие своей прямотой и смелостью. Вот эти отрывки:

> «Произведя анализ моих альбомных вырезок, я обнаружил в прессе СССР за десять лет моей литературной работы 301 отзыв обо мне. Из них: похвальных было 3, враждебно-ругательных — 298. Последние 298 представляют собой зеркальное отражение моей писательской жизни…»
>
> «Я доказываю с документами в руках, что вся пресса СССР, а с нею вместе и все учреждения, которым поручен контроль репертуара, в течение всех лет моей литературной работы единодушно и с необыкновенной яростью доказывали, что произведения М. Булгакова в СССР не могут существовать…»
>
> «…Германская печать пишет, что „Багровый остров“ — это „первый в СССР призыв к свободе печати“ („Молодая гвардия“, 1929, № 1), — она пишет правду. Я в этом сознаюсь. Борьба с цензурой, какая бы она ни была и при какой бы власти она ни существовала, мой писательский долг, так же как и призывы к свободе печати. Я горячий поклонник этой свободы и полагаю, что если бы кто-нибудь из писателей задумывал бы доказать, что она ему не нужна, он уподобился бы рыбе, публично уверяющей, что ей не нужна вода…»
>
> «Вот одна из черт моего творчества, и ее одной совершенно достаточно, чтобы мои произведения не существовали в СССР. Но с первой чертой в связи все остальные, выступающие в моих сатирических повестях: черные и мистические краски (я — мистический писатель), в которых изображены бесчисленные уродства нашего быта, яд, которым пропитан мой язык, глубокий скептицизм в отношении революционного процесса, происходящего в моей отсталой стране, и противопоставление ему излюбленной Великой Эволюции, а самое главное — изображение страшных черт моего народа, тех черт, которые задолго до революции вызывали глубочайшие страдания моего учителя Салтыкова-Щедрина». (Именно так писал Булгаков, ибо с такой же нещадящей силой писали современники, его «учителя», и имели на это право, потому что действительно страдали за свой народ,

знали, но любили его не вслепую.)

М. Булгаков стал сатириком, и как раз в то время, когда никакая настоящая (проникающая в запретные зоны) сатира в СССР абсолютно немыслима. Не мне выпала честь выразить эту криминальную мысль в печати. Она выражена с совершеннейшей ясностью в статье В. Блюма («Литературная газета», № 6), и смысл этой статьи блестяще и точно укладывается в одну формулу: всякий сатирик в СССР посягает на советский строй.

«Мыслим ли я в СССР?..»

«Нынче я уничтожен… Погибли не только мои прошлые произведения, но и настоящие и все будущие. И лично я, своими руками, бросил в печку черновик романа о Дьяволе, черновик комедии и начало второго романа „Театр“.

Все мои вещи безнадежны…»

И в заключение, обращаясь к гуманности Советской власти, Булгаков недвусмысленно выражал мысль, не должен ли писатель, который не может быть полезен у себя в отечестве, в срочном порядке покинуть пределы СССР. Он писал: «Если же и то, что я написал, неубедительно и меня обрекут на пожизненное молчание в СССР, я прошу Советское правительство дать мне работу».

Он просил назначить его лаборантом-режиссером в МХАТ, а если это невозможно, то на штатную должность статиста. Если и статистом нельзя, то на должность рабочего сцены.

Письмо датировано 28 марта 1930 года, а 18 апреля ему вдруг позвонил Сталин.

Запись их разговора сделана со слов Михаила Афанасьевича Е. С. Булгаковой и впервые опубликована в журнале «Вопросы литературы» (№ 9 за 1966 год).

Сталин. Мы ваше письмо получили. Читали с товарищами. Вы будете по нему благоприятный ответ иметь. А может быть, правда, пустить вас за границу? Что, мы вам очень надоели?

Булгаков. Я очень много думал в последнее время, может ли русский писатель жить вне Родины, и мне кажется, что не может.

Сталин. Вы правы. Я тоже так думаю. Вы где хотите работать? В Художественном театре?

Булгаков. Да, я хотел бы. Но я говорил об этом — мне отказали.

Сталин. А вы подайте заявление туда. Мне кажется, что они

согласятся.

Почему последовал этот звонок? Может быть, ошеломила неподкупная прямота, с которой писатель писал о своем положении и вообще о положении литературы, стиснутой цензурой? Подкупило отсутствие всякого лицемерия и угодничества? Поразила неслыханная дерзость в высказывании своих взглядов? Автор был бесстрашно искренен. Такие люди не предают. Может быть, как раз это вызвало доверие?.. Спектакль «Дни Турбиных», безусловно, понравился. Сталин смотрел его 15 раз (это зарегистрировано в журнальных записях театра). Почему — смотрел? Нравился уют турбинского дома? Вряд ли. Благородство героев? Возможно. Сталин прислушивался к тому, что говорилось на сцене, и, наверно, к тому, как реагировал зрительный зал. На сцене говорили о родине, об отечестве. Говорили о чести и долге офицера, принявшего воинскую присягу. Зритель не оставался равнодушным, хотя в ту пору эти понятия — «родина», «отечество», равно как и «офицер», «золотопогонник» — воспринимались враждебно, потому что были неотрывно связаны с именами Деникина, Колчака, Врангеля. Ну, конечно же, беспардонный автор заговорил об этом преждевременно. Он был бестактен, однако же… предвосхищал! Создавалась новая Россия, возникала держава, которую надо было сплотить единым чувством патриотизма. Вот и получилось, что к концу тридцатых годов слова «родина» и «отечество», а в войну не только «офицер», но и «генерал с лампасами» прочно вошли в нашу жизнь. Как знать, может быть, мелькнули у Сталина и эти мысли, когда он смотрел «Дни Турбиных»? Разумеется, это только мои домыслы. Кроме того, кажется мне, не примешались ли тут некоторые совпавшие побочные мотивы? Ведь знаменитый звонок прозвучал 18 апреля, то есть через четыре дня после выстрела Маяковского. Случайна ли такая поспешность? Каков по натуре Булгаков? Не способен ли он «удружить» еще одной литературной сенсацией — еще одним выстрелом?.. И это, разумеется, домыслы. Ничего из сказанного утверждать не могу. Но так или иначе Сталин, играя с Булгаковым, как кошка с мышкой, вернул его к жизни.

И померещилось писателю Булгакову, что он, писатель Булгаков, нужен и находится под особой защитой. Его поняли! Не отсюда ли возникла пресловутая легенда о Сталине — тайном покровителе Булгакова? Кое-кого она до сих пор устраивает, хотя уже всем известно, что каждую новую пьесу Булгакова ожидали — катастрофы, одна коварнее другой, и его по-прежнему не печатали. Но — померещилось, померещилось! Булгаков поверил! Оправдалось ли это?

Через несколько лет, весной 1934 года, он обратился с официальной просьбой о разрешении выехать за границу на два месяца.

Была задумана новая книга путевых очерков. Хотелось побывать в Англии и Франции — его давнишняя мечта. В письме Горькому, помеченном 1 мая, он просил поддержать его ходатайство, он писал: «Для моей поездки нужен был бы больший срок, но я не прошу о нем, так как мне необходимо быть осенью в МХАТе, чтобы не сорвать моей режиссерской работы в тех пьесах, где я занят». Он был увлечен работой, озабочен судьбой своей пьесы «Мольер», все главное было в Москве! Но Горький уже «примолк». Нет, это был не прежний Горький, ибо сам попал в ловушку и поэтому предпочел на письмо не ответить, а затем Булгаков получил официальный отказ.

Это было для него ударом не потому, что сорвалась увлекательная поездка, а потому, что, оказывается, на него опять смотрят с подозрением. Но ведь он дал слово! А слово — это честь. Данное слово равносильно понятию чести, он так воспитан с детства. Он дал слово, а в нем усомнились? Вот что его обожгло!.. Но, пожалуй, только он один отнесся столь болезненно к случившемуся. На сей раз никто не усмотрел даже малейшего знака недоверия к нему. Булгакова? За границу? Можно было только посмеяться над его наивностью. К тому же, поговаривали, у него еще и братья где-то в Париже! Господи, да кого в те годы запросто посылали в заграничную поездку? Отказали? Вполне нормально по тем временам. И по сему поводу никто не поглядывал на него косо. Напротив, напротив, было бы подозрительно, если бы его вдруг пустили… И невольно то, что происходило с ним, напоминало неоконченный роман Н. С. Лескова «Чертовы куклы», в котором рассказывается о талантливом художнике Фебуфисе, попавшем под покровительство венценосного герцога. Герцог сделал из Фебуфиса «шнель-клёбс». Покровительство Сталина становилось сомнительным — лишь на миг померещилось! Не делают ли из него «шнель-клёбс»?

Булгаков не все еще до конца понимал, но тягостно было вспоминать совсем недавние времена, когда на него обрушились несчастья, он стал выглядеть вроде бы «лишенцем», чуть ли не классовым врагом, и его пугливо сторонились. Тогда, в тридцатом, лишь после сталинского звонка мгновенно затрещал замерший его телефон. Восторженно поздравляли притаившиеся мхатовцы своего любимого драматурга, впавшего в скандальную немилость. Эх, эх, какое было время! Тотчас из дирекции театра звонили по делу. Стоял прямо-таки праздничный звон-перезвон…

Если не ошибаюсь, сперва он был определен на службу в ТРАМ (Театр рабочей молодежи), где, несмотря на различие своих творческих устремлений, находил все же общий язык с молодыми актерами синеблузного толка, а затем его пригласили и в МХАТ в качестве режиссера-ассистента и литературного консультанта. Он возвращался в ту художественную среду, которая была единственно дорога ему и близка. И радужные надежды вновь поманили его… Да, в то сказочное время разрешились и его личные дела. Но об этих «внутренних происшествиях» я могу рассказать только его словами, лишь намеком…

> «…Любовь выскочила перед нами, как из-под земли выскакивает убийца в переулке, и поразила нас сразу обоих. Так поражает молния, так поражает финский нож! Она-то, впрочем, утверждала впоследствии, что это не так, что любили мы друг друга давным-давно, не зная друг друга, никогда не видя. <…>
>
> …Да, любовь поразила нас мгновенно. Я это знал в тот же день, уже через час, когда мы оказались, не замечая города, у Кремлевской стены на набережной.
>
> Мы разговаривали так, как будто расстались вчера, как будто знали друг друга много лет. <…> Майское солнце светило нам. И скоро, скоро эта женщина стала моею тайною женой. <…>
>
> Никто не знал о нашей связи, за это я вам ручаюсь, хотя так никогда и не бывает. Не знал ее муж, не знали знакомые. <…>
>
> — А кто она такая? — спросил Иван, в высшей степени заинтересованный. <…>
>
> Гость сделал жест, означавший, что он никогда и никому этого не скажет».

Так было написано в романе «Мастер и Маргарита», но в жизни случилось иначе: он назвал ее имя. Он сделал это, ничего не скрывая, потому что скрывать дальше было бы оскорбительно для его чувства и для людей, причастных к его судьбе и к судьбе его уже «не тайного друга». Он уважал гордость и благородство этих людей и не мог допустить пошлости двойной игры. Он написал ее мужу[60]: «Дорогой Евгений Александрович, я виделся с Еленой Сергеевной, по ее вызову, и мы объяснились с нею. Мы любим друг друга так же, как любили раньше».

Ему исполнилось тогда сорок три, в такие годы не так просто начинать жизнь заново. И ведь у него было по-прежнему шаткое литературное положение, а у нее благоустроенная семья и двое

детей. Тем не менее они оба были тверды в своем решении быть вместе.

Нетрудно установить официальную дату регистрации нового брака М. А. Булгакова, но это, как и многие «даты», само по себе ничего не обозначает. Все произошло гораздо раньше, а вот жить вместе им было негде. Елене Сергеевне пришлось перебраться на Большую Пироговскую, но там жила Любовь Евгеньевна; легко представить себе, в какой неестественной обстановке все трое очутились. Пожалуй, только ему могло показаться, что теперь, когда все наконец разъяснилось и очистилось, они, добрые и великодушные, не фальшивя, поймут друг друга. Мужчины в таких случаях или, как Подколесины, выпрыгивают в окошко, или, чаще всего, стараются найти примирительные формы и верят, что можно сделать так, что всем будет хорошо. Но этого никогда не случается. И, конечно, чем дальше, тем становилось невыносимее.

Так продолжалось до тех пор, пока не удалось вымолить небольшую квартиру в писательской надстройке в Нащокинском переулке (ныне улица Фурманова), и Лена с Михаилом Афанасьевичем переехали туда. С ними — ее младший сын Сережа, а старший, Женя, остался у отца, но часто приходил к ним и очень привязался к Булгакову. У Жени была даже какая-то влюбленность в него.

Я знал, что внешний и внутренний облик его жизни не мог не перемениться. Все стало по-другому. И в первый раз шел в новый булгаковский дом настороженный. Лена (тогда еще для меня Елена Сергеевна) встретила меня с приветливостью, словно хорошо знакомого, а не просто гостя, и провела в столовую. Там было чинно и красиво, даже чересчур чинно и чересчур прибрано. От этого веяло холодком. Направо приотворена дверь, и был виден синий кабинет, а налево — комната маленького Сережи. Книги были выселены в коридор (это мне не понравилось). Из коридора высунулась домработница, но, получив деловитое и беспрекословное распоряжение, тотчас исчезла. Повернувшись ко мне — лицо хозяйки из озабоченного снова превратилось в приветливое, — она сказала:

— Сейчас будем ужинать, Миша в ванной. Лена держалась непринужденно, но я видел, что она напряжена не меньше, чем я. Со всей искренностью она хотела расположить к себе тех из немногих его друзей, которые сохранились от его «прежней жизни». Большинство «пречистенцев» не признавали ее или принимали со сдержанностью нескрываемой. Одета она была с милой и продуманной простотой. И, легко двигаясь, стала хозяйничать. На столе появились голубые тарелки с золотыми

рыбами, такие же голубые стопочки и бокалы для вина. Узкое блюдо с закусками, поджаренный хлеб дополняли картину. «Пропал мой неуемный и дерзкий Булгаков, обуржуазился», — подумал я сумрачно.

Но вот появился и он. На голову был натянут старый, хорошо мне знакомый вязаный колпак. Он был в своем выцветшем лиловом купальном халате, из-под которого торчали голые ноги. Направляясь в спальню, он приветственно помахал рукой и скрылся за дверью, но через секунду высунулся и, победоносно прищурившись, осведомился:

— Ну, как, обживаешься? Люся, я сейчас.

А потом, уже за столом, говорил:

— Ты заметил, что меня никто не перебивает, а напротив, с интересом слушают? — Посмотрел на Лену и засмеялся. — Это она еще не догадалась, что я эгоист. Черствый человек. — Э, нет, знает, давно догадалась, ну и что? Ой… — Он сморщил нос. — Не дай бог, чтобы рядом с тобой появилось золотое сердце, от расторопной любви которого ко всем приятелям, кошкам, собакам и лошадям становится так тошно и одиноко, что хоть в петлю лезь.

Он говорил это шутливо, беззлобно, и я увидел, что он такой же, как был, но вместе с тем и другой. Нервная возбужденность, а иногда и желчь исчезли. Можно было подумать, что дела его круто и сразу повернулись в лучшую сторону, исчезли опасности и угрозы и жизнь вошла наконец в спокойное русло.

Ничего этого не было на самом деле и в помине, но появился дом, и дом этот дышал и жил его тревогами и его надеждами. Появился дом, где он ежедневно, ежечасно чувствовал, что он не неудачник, а писатель, делающий важное дело, талантливый писатель, не имеющий права сомневаться в своем назначении и в своем прочном, не зависящем ни от кого, ни от одного власть имущего человека месте на земле — в своей стране, в своей литературе. Я задумывался не раз, как это получилось? Не только силой любви, но и силой жизни, жаждой радости, жаждой честолюбивого и прекрасного самоутверждения возникает эта удивительная способность к созиданию счастья. Даже вопреки самым тяжелым, трудным обстоятельствам.

В дни кризиса и преодолений его, когда легко потерять веру в себя и покатиться вниз, в такие дни Нет ничего хуже уныния, скорбной жертвенности, жалостных слов.

Дом их, словно назло всем враждебным стихиям, сиял счастьем и довольством! А были, пожалуй, одни лишь долги при самом туманном будущем. Хозяйка была энергична и безудержно легкомысленна. И жизнь перестала быть страшной.

Счастье начинается с повседневности. «Славьте очаг», — повторялось у него во многих письмах, и не только в то время.

Он жил, он работал, несмотря ни на что. Творческая энергия не покидала его.

«В половине января 1932 года, в силу причин, которые мне неизвестны и в рассмотрение коих я входить не могу, Правительство СССР отдало по МХАТу замечательное распоряжение: пьесу „Дни Турбиных“ возобновить. Для автора этой пьесы это значит, что ему, автору, возвращена часть его жизни. Вот и все».

Так он писал литературоведу П. С. Попову[61], а в другом письме по тому же поводу сделал приписку:

«Мне неприятно признаться, сообщение меня раздавило. Мне стало физически нехорошо. Хлынула радость, но сейчас же и моя тоска».

Почему — тоска? Возобновлены «Турбины»! Как-никак немалая поддержка на черный день. Евгений Васильевич Калужский (зав. труппой МХАТа) говорил, что Сталин то и дело появлялся на спектакле. Значит, пока что прочная поддержка? «Дни Турбиных»? Бог мой! Но ведь все это уже прошлое, далекое прошлое для Булгакова. Его мысли уже давно переполнены другим замыслом.

Еще в 1929 году он начал работать над пьесой «Кабала святош» («Мольер»), в 1932-м передал ее в МХАТ. В течение двух лет она лежала там без движения, хотя автору бесконечно высказывали различные соображения по ее доработке. В 1934 году начались наконец репетиции.

Н. М. Горчаков[62], которому была поручена постановка, в своей книге «Режиссерские уроки К. С. Станиславского» меньше всего склонен компрометировать работу театра с автором, напротив, он показывает максимальную требовательность театра и, в частности, Станиславского к режиссуре и к актерам в раскрытии авторского замысла. Но, наверное, вопреки намерению Горчакова в записях его возникает трагически зависимая роль Булгакова, не принимающего навязываемой ему трактовки пьесы.

С ним говорят осторожно, мягко, вкрадчиво, он и сам старается не обострять отношений, но все равно общности языка не получается.

Театр хотел воздвигнуть памятник-монумент великому комедиографу, а Булгаков, не веря в такого рода памятники на сцене, выстраивал взаимоотношения Мольера с «королем-солнцем» Людовиком и показывал интриги инквизиции — «Кабалы святош», — приведшие к гибели гения.

— У Мольера должны быть сцены, в которых блеснул бы его талант, — говорил Станиславский. — Он у вас много физически действует, простите за грубое выражение, даже много дерется. Но рядом с этими сценами надо дать и сцены, где он творит. Что хотите — пьесу, роль, памфлет…

— Он, кажется, памфлетов не писал, — пробовал робко возразить Булгаков. — Мне кажется, гениальность вообще сыграть нельзя. Так что Мольера должны сыграть актеры, связанные с ним действием и сюжетом пьесы.

В итоге этих споров, где каждый высказывался, думая о разных пьесах, Булгаков в изнеможении признавался: «Поправки тянутся пять лет, сил больше нет».

Это привело его наконец к письму, в котором он писал Горчакову: «…ввиду полного разрушения моего художественного замысла и попыток вместо принятой театром моей пьесы сочинить другую, я категорически отказываюсь от переделки пьесы „Мольер“».

В том положении, в котором он тогда находился, надо было иметь мужество, чтобы решиться на такое категорическое заявление. Даже Елена Сергеевна (тогда уже его жена, он чаще всего называл ее Люсей, а я — Леной, так и буду называть ее в этих записках), даже она была в отчаянии от его письма и отговаривала посылать, понимая, что он прикован к Художественному театру, подобно своему герою Максудову из «Театрального романа», «как жук к пробке». Столь решительная его позиция, скорее всего, могла кончиться полной катастрофой.

Но он победил. Станиславский, разволновавшись, распорядился, чтобы Горчаков не докучал автору бесконечными переделками, и высказал, отнюдь не шутя, опасение, как бы Булгакова не переманили в другой театр (вот уж никак не угрожало!).

Пьеса «Мольер» была разрешена Главреперткомом еще до начала репетиций, и кроме МХАТа договор на ее постановку заключил с Булгаковым также и Ленинградский Большой драматический театр. Там уже начали работу, как вдруг театр сообщил автору, что пьесу отклонил Худполитсовет.

Это был первый предупреждающий удар по «Мольеру». Формально никаких поводов для запрещения постановки не было, напротив, виза Реперткома свидетельствовала о разрешении пьесы к исполнению повсеместно, театр заключил с автором договор и выплатил аванс. Никаких давлений «сверху», и никаких неблагоприятных отголосков в печати пока тоже не появлялось. Все было тихо. Но в судьбе пьесы в Ленинграде, как рассказывал Булгаков в письме к П. С. Попову (февраль 1932 года), почему-то

приняло участие «некое, отнюдь не должностное лицо — драматург». Булгаков его описал так: «Лицо округлое, повадки „братишки“, ныне крейсирует в Москве. Во время своего визита в Ленинград он так напугал театр, что он (театр) выронил пьесу из рук».

Трудно сказать, в какой мере именно это «частное лицо» сыграло решающую роль в судьбе ленинградской постановки, но бесспорно то, что вокруг пьесы, еще до ее появления на сцене, стала исподволь нагнетаться атмосфера подозрительности и недоброжелательства. Длительная работа в МХАТе над пьесой порождала разноречивые слухи. В этой атмосфере и шли репетиции, споры с Горчаковым, о которых я уже говорил. Станиславский принимал участие в постановке лишь эпизодически (как пишет об этом Горчаков). Высказывая свою точку зрения на идейные задачи постановки, Станиславский не торопился с выпуском спектакля, потому что, думаю, не понимал той угрожающей обстановки, которая постепенно вырастала вокруг пьесы. Отсюда возникла у Булгакова обида на Станиславского, досада, горечь. Горчаков не случайно, восстанавливая споры с Булгаковым, на первый план выдвигает Станиславского (но он лишь «эпизодически» вмешивался?), а себя как бы прячет за его спину. Основная ежедневная, трудная борьба Булгакова шла с Горчаковым, который время от времени направлял против него такую тяжелую артиллерию, как Станиславский. Наконец 15 февраля 1936 года спектакль был выпущен. Он был сыгран всего семь раз. 9 марта 1936 года появилась статья «Внешний блеск и фальшивое содержание», и спектакль был снят. Сохранились рецензии в разных газетах, уничтожающие пьесу, но сохранился и отзыв Горького, в котором он, отмечая талантливость драматурга, подчеркивал: «Он [Булгаков] отлично написал портрет Мольера на склоне его дней. Мольера, уставшего от неурядиц его личной жизни и от тяжести славы».

Читатель познакомился с этой пьесой более чем через двадцать пять лет после смерти автора, когда вышли сборники драматических сочинений Булгакова[63].

9 марта был траурный для него день. Он пришел ко мне днем, был спокоен и советовался о делах денежных. Были долги, а на «Мольера» можно было рассчитывать. Спектакля «Мольер» не стало.

В годы долгой борьбы за сохранение своего замысла (а затем столь короткой жизни пьесы на сцене) Булгаков закончил еще и повесть о Мольере. Он писал ее для журнально-газетного объединения «Жургаз». В этом издательстве и началась тогда

серия «Жизнь замечательных людей». Повесть была отвергнута, как не отвечавшая «профилю» серии.

Рецензент издательства (А. Н. Тихонов[64]), испугавшись возможных намеков, советует автору избавиться от подозрительного рассказчика, который ведет биографию, ибо это негодный молодой человек, склонный к роялизму, любящий альковные истории и сомнительные источники. Вместо него, по мнению рецензента, надо было поставить «серьезного советского историка». Булгаков сообщил, что он не историк и книгу переделывать не намерен.

Взамен его повести, названной «Жизнь господина де Мольера», была напечатана биография Мольера, написанная театроведом С. Мокульским. Как бы в довершение удара она появилась на прилавках книжных магазинов одновременно с запрещением спектакля «Мольер».

Повесть Булгакова наш читатель получил, как и пьесу, лишь в 1962 году. Она вышла в той же серии «Жизнь замечательных людей», издание которой перешло теперь в «Молодую гвардию». Книга Булгакова оказалась «в профиле», никого не испугав манерой и «легкомыслием» рассказчика. Напротив, она получила самый широкий и благоприятный отклик. Но автор не увидел ее напечатанной.

Постепенно все затихло вокруг Булгакова. Лишь в театральных программах к спектаклю «Дни Турбиных» упоминалось его имя.

В течение всей нашей десятилетней дружбы он работал над романом «Мастер и Маргарита», считая его своей главной книгой — своим «Фаустом» (или «Антифаустом»). Работал с вдохновением, хотя и с вынужденными перерывами.

Первые главы я слушал, когда он жил еще на Большой Пироговской. Чтение состоялось на квартире Павла Сергеевича Попова и обставлено было с сугубой таинственностью (Булгаков любил таинственность). Кроме меня, Павла Сергеевича и его жены, Анны Ильиничны (внучки Л. Н. Толстого), никого не было. Мы были строго-настрого предупреждены, что о чтении этом должны навеки умолчать: «величайший секрет»! Услышанное буквально потрясло меня. Неожиданно Булгаков, доселе неведомый, открылся передо мной. Глава, в которой впервые появляется Понтий Пилат, а затем Иешуа, даже в самой ранней редакции поражала точностью и строгой выразительностью каждого слова. И ведь слушал я эту главу в начале 1930 года, когда литература наша была полностью погружена в современность. Мерещился поистине таинственный, загадочный

роман!.. Мы возвращались вдвоем по пустынным арбатским переулкам. Искоса глянув на меня, он спросил:

— Ну?

— Гениально! — выпалил я со всей непосредственностью.

— Ну, брат, ты решительный критик! — захохотал Булгаков.

Его лицо порозовело, раскраснелось, то ли от мороза, то ли от возбуждения, и он, схватив меня за руку, стал выплясывать. Так, приплясывая, мы и вышли к Зубовской площади.

С некоторой неловкостью записал я эту сцену. Хотел ее вычеркнуть. Противно хоть чуть показаться хвастуном — эдаким тонким и прозорливым ценителем, по первым черновым страницам предугадавшим будущий роман. Не в этом тут дело. Просто Булгакову нужен был тогда не рассудительный критик, а человек, с пылкой искренностью подхвативший его странный замысел. И я сохраняю эту запись лишь потому, что в этот вечер, как думаю сейчас, у него появилось ко мне то особое внутреннее доверие, которое окончательно перешло в дружбу.

Не помню числа, не помню месяца, помню легкий морозец и то, что Поповы жили тогда на Собачьей площадке (ныне не существующей), и кажется мне, что так и начинался роман, как осталось впоследствии: «В час жаркого весеннего заката на Патриарших прудах появились двое граждан». И во второй главе словно бы ничего не изменилось: «В белом плаще с кровавым подбоем, шаркающей кавалерийской походкой, ранним утром четырнадцатого числа весеннего месяца нисана в крытую колоннаду между двумя крыльями дворца Ирода Великого вышел прокуратор Иудеи Понтий Пилат…» Наверно, ошибаюсь. Ведь знаю же, что роман много раз переписывался, менялся. Не имею возможности сравнивать первые (уничтоженные) черновики с окончательной редакцией, но почему-то уверен, что строки эти я услышал тогда в их теперешнем виде. Конечно, это не так. Я говорю лишь об общем впечатлении, поразившем меня, и вечер этот помню, как будто был он вчера!..

Но тем не менее, восстанавливая в памяти те впервые услышанные главы, я вдруг вспомнил одну небезынтересную деталь. Описывая Воланда, Булгаков — не вскользь, а подчеркнуто — сообщал, что на ноге его необыкновенного иностранца были сросшиеся пальцы. В народе эту аномалию называют «копытом дьявола». Отсюда и первое название романа («Консультант с копытом»). Во всех последующих редакциях я этой детали уже не встречал. Однако разговор по поводу нее у меня с Булгаковым произошел (через несколько лет после первого чтения):

— А помнишь, раньше у тебя было… — начинал я.

— Ни к чему деталь, — сердито перебил он.

— Не хочу давать повода любителям разыскивать прототипы. Думаешь, не найдется человека «с копытом»? Обязательно найдется. А у Воланда никаких прототипов нет. Очень прошу тебя, имей это в виду.

Название «Консультант с копытом» исчезло, а страницы, где упоминались сращенные пальцы, были тщательнейше выдраны даже из тетрадей, сохранивших обрывки первых вариантов будущего «Мастера».

Сейчас вряд ли помнят, что в середине двадцатых годов зашелестели по Москве шепотки, что у Сталина «копыто дьявола». Это случайное совпадение ошеломило Булгакова не потому, что он опасался, что рукопись раньше срока попадет куда не надо и ее перетолкуют как злободневный намек. Такое толкование исказило бы замысел романа и образ Воланда. Кстати, вот и у Гете в «Фаусте» брюнетка в испуге отталкивает Мефистофеля, восклицая: «Ах, у вас нога грузней копыта!» Еще один «прототип»? И, кажется, совсем-совсем близок? Однако насколько более привлекателен и великолепен Воланд в сравнении с гетевским Мефистофелем… Булгаков на свой лад перетолковывает и реплику (хотя и ставит ее эпиграфом к своему роману): «Я — часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо». У Гете Мефистофель говорит это с иронией, в своей обычной манере шутовского сарказма, а у Булгакова — всерьез, и не однозначно, а в раздумье. Нет, он категорически отмахивался от всех возможных «прототипов».

Не берусь сказать, когда возник замысел его романа, но, по-видимому, не позднее 1928 года. Тут многое поражает.

Лишь недавно написана «Белая гвардия». Вышел сборник его повестей и рассказов. В литературу врывался живой материал сегодняшнего дня, происходили острые схватки различных групп и группочек, и он был отнюдь не чужд общему потоку тогдашней литературной жизни, участвовал в ней. Но, оказывается, именно в ту пору, именно тогда начал изучать… четырехкнижие «благовестителей» (апостолов), четыре Евангелия — от Марка, Матфея, Луки и Иоанна, вникая в их противоречия, пробиваясь к исторической их достоверности.

Почему это было ему важно? Что его увлекало? Немного позже я понял, какими неожиданными и глубокими путями он шел к пониманию нравственных норм современного мира. И все строже и строже относился к тому, что писал. Росли тетради и черновики. А над рукописью одной из глав сделал наверху пометку: «Не умереть, пока не закончу». Если не совсем буквально

передаю эту запись, то за смысл ее ручаюсь. Его тревожило, что он не успеет!

Достоверность — одна из характерных черт Булгакова как писателя. Так, например, уже после его смерти посещавшие Киев находили «дом Турбиных» на Андреевском спуске. Это был дом, в котором жила раньше семья Булгаковых, и он описан в «Белой гвардии» с педантичной точностью. В романе, получившем окончательное название «Мастер и Маргарита», жанровые и бытовые подробности московской жизни воспроизведены с абсолютной достоверностью, именно на ее почве разрастались фантастические происшествия, порожденные Воландом и его эксцентрической свитой. Достоверен Моссолит (псевдоним одной из писательских организаций), достоверны ресторан «Грибоедов» и его мудрый управитель Арчибальд Арчибальдович, украшенный ассирийской бородой, почти фотографический портрет знаменитого Якова Даниловича, которого, может быть, помнят старые москвичи по Дому актера.

Но как быть с исторической достоверностью, избрав для повествования евангельский сюжет?

Знания художника загадочны, как неопознанные летающие объекты. В самом деле, где кончаются знания и начинаются догадки, интуиция?

Легко представляю удивленные лица исследователей, погрузившихся в «древние» главы романа. Какая поразительная точность в деталях, психологическая достоверность характеристик, тонкое понимание обстановки в тогдашней Иудее и в положении римского прокуратора (в греческом прочтении — игемона).

Когда автор успел обо всем этом узнать, вникнуть, понять?

Память? Да, конечно, феноменальная, цепкая память. Но для того, чтобы выплеснуть из нее что-либо, надо было об этом «что-либо» когда-то прочесть. Но когда?

Позади — медицинский факультет, сумасшедший Киев лихих годин гражданской войны, блуждания по Кавказу, потом суетные будни в Москве… фельетоны в газетах, рассказы, роман «Белая гвардия»… А ведь успел ухватить! И не поверху! Словно бы дразня своего будущего исследователя, он сам называет некоторые из источников. В первой главе Берлиоз, критикуя антирелигиозную поэму Ивана Бездомного, требует, чтобы он яснее показал, что Иисуса как исторической личности не существовало. Почтенный председатель Моссолита упоминает Флавия, Тацита, Филона Александрийского, которые ни словом не обмолвились об Иисусе. Берлиоз не лжет, не передергивает, когда говорит, что вставки об Иисусе у этих древних авторов

более позднего происхождения. Он, безусловно, читал Ренана, отметившего, что эти позднейшие вставки в древние тексты сделаны епископом Агапием.

Ну, «Жизнь Иисуса Христа» Ренана — книга широко известная, мимо нее Булгаков пройти не мог. Но как докопаться до первоисточников — до того же Флавия, Тацита, Филона? А ведь докопался. Именно оттуда, как мне кажется, начались его домыслы о Понтии Пилате и возник этот образ, крайне важный для понимания романа в целом.

Бывший храбрый военачальник, не боявшийся смерти в битвах с варварами, жестокий и самоуверенный, очутившись в чиновничьем кресле, стал все более и более испытывать страх перед всесильным кесарем. Гневная булгаковская тема! Быть храбрым на войне, оказывается, гораздо легче, чем сохранить хотя бы видимость независимости, вкусив сладость власти и цепляясь за свое положение. И когда перед ним появился Иешуа, осужденный первосвященниками иерусалимского храма как лжепророк, возбуждавший народ, он мог, казалось бы, без особых колебаний утвердить смертный приговор. Но перед ним вместо опасного смутьяна стоял тихий и молчаливый бродяжка в разодранном голубом хитоне, с синяками на лице, и странные, противоречивые чувства вдруг овладели Понтием Пилатом…

Это одна из центральных сцен в «древних» главах. Трактовку ее Булгаков, мне кажется, заимствовал из книги Фарара «Жизнь Иисуса».

Прокуратор понимал, что кроткий бродяжка-философ ничем не угрожает Риму. Он кажется опасным лишь первосвященникам, убоявшимся его соблазнительной ереси, хотя учение его миролюбиво и немногословно: «Все люди добрые, только не все знают это». Необъяснимо, почему Понтия Пилата гипнотически влечет к этому человеку? Истерзавшая прокуратора мигрень вдруг исчезает. Что-то шевельнулось в душе бывшего всадника. А Иешуа с таким же наивным простодушием говорит, что не признает никакой земной власти… Никакой власти?

И тут, как пишет Фарар, Понтий Пилат вспомнил, что нет страшнее обвинения, чем обвинение в оскорблении величества. Все другие преступления бледнеют перед этим. И ему представился кесарь Тиверий, который жил на Капрее (остров Капри), скрывая свое прокаженное лицо. Он далеко, но тысячи невидимых доносчиков, как по воздуху, донесут ему о милосердии прокуратора, коли он проявит его к не признающему власти кесаря…

«Так, — пишет Булгаков, — померещилось ему (Понтию Пилату), что голова арестанта (Иешуа) уплыла куда-то, вместо

нее появилась другая. На этой плешивой голове сидел редкозубый золотой венец. На лбу была круглая язва… запавший беззубый рот… все утонуло вокруг в густейшей зелени капрейских садов… голос, надменно тянувший слова: „Закон об оскорблении величества…“ И Понтий Пилат, по слову из Евангелия от Иоанна, „убоялся“».

Впервые я читал Фарара по булгаковскому экземпляру и помню, многие места в нем были подчеркнуты. Этот экземпляр, к сожалению, не сохранился, но я, перечитывая недавно Фарара, убедился, сколь умело использовал его в своей работе Булгаков, вплоть до живописных подробностей (например, описание Иродова дворца, в котором с отвращением проживал Понтий Пилат).

Иногда художнику нужны, как толчки, отдельные детали или короткие упоминания имен, чтобы заработала фантазия и углубились поиски. Даже самая сухая справка в «Брокгаузе и Эфроне» может подействовать на воображение, становясь важной для достоверности вымысла. Она необязательна читателю, но автору необходима. Случайными и неожиданными путями отыскивается материал. Будущий исследователь непременно попадет под обаяние эффектных исторических знаний Булгакова. В самом деле, почти каждая подробность в его повествовании вдруг находит подтверждение в том или другом источнике. Когда успел? В этом есть что-то поистине магическое! Он скупал старые комплекты «Вестника Киевской духовной академии», в них попадались иногда и статьи его отца. Эти комплекты тоже не сохранились, а там, наверное, было многое отчеркнуто из того, что привлекло его внимание. Возможно, он хотел восстановить, представить себе круг тех вопросов, о которых могли толковать в доме, когда еще был жив отец. Он, мальчишка, тогда, разумеется, не понимал их, а теперь, наверное, они стали ему необходимы. Он вспоминал, искал.

Как возник образ Иешуа, кроткий и бесстрашный, верящий, что добро победит, чутко угадывающий беду, нависшую над другими, и не замечающий беды, нависшей над ним?

В чем-то, думаю, он навеян нашими юродивенькими и блаженными, которых исстари почитали на Руси за святых. Тут присутствуют и лесковские странники и проглядывает, может быть, Мышкин Достоевского. Но это не более чем «толчки», приблизительное влияние. Иешуа прежде всего создан независимым и поэтическим воображением Булгакова. Только ли воображением?

Его привлекает Иисус, скорее всего, из Евангелия от Иоанна. Это самое художественное, самое возвышенное произведение из

четырехкнижия. Но у Булгакова Иешуа подчеркнуто одинок. В романе ни слова не говорится о его последователях. Лишь Левий Матвей, бывший мытарь (сборщик податей), следует за ним по пятам и записывает. Заглянув в его козлиный пергамент, Иешуа в ужасе восклицает, что из его записей произойдет великая перепутаница, потому что все там переврано. Отношение Иисуса (Иешуа) к Левию Матвею было почерпнуто Булгаковым, видимо, из книги Э. Ренана «Святой Павел», в которой говорится, что ближайшие ученики Иисуса были ограниченными фанатиками. И ведь один он, Левий Матвей, наблюдает издали за его позорной и мучительной казнью. Никого из учеников. И не было торжественного въезда «на осляти» в Иерусалим. «Осла не было!» Не могло быть толпы; по Булгакову, это неправдоподобно, потому что, не разбираясь, что за толпа, римские легионеры разогнали бы ее.

Булгакову все это нужно, чтобы показать одиночество Иешуа.

И он находит подтверждение этой своей мысли, скорее всего, в Талмуде, где говорится об Иисусе с презрением. Он самого низкого происхождения: сын блудницы и сирийца. Это используется Булгаковым. На вопрос Понтия Пилата «Кто твои родители?» он отвечает: «Мой отец был сириец». И вот — главное: в Талмуде подчеркнуто, что этот «пророк» из глухой провинции осмеян и не признан своим народом, в своей стране. «Распни, распни его!» Этот клич черни, подстрекаемой испугавшимися догматиками, во все века распинавшей своих пророков, Булгаков с пристрастием вычитывает из самых разных источников.

По тем временам он не располагал всей нужной литературой, как ни рылся у букинистов и ни домогался в библиотеках. Но тогда выходило несметное количество антирелигиозных брошюр, и в издательстве «Безбожник» выходили не только брошюрки, но и серьезные атеистические труды по истории религий. В них обычно приводились пространные цитаты из церковных писателей и древних историков, и Булгаков умело ими пользовался. Вряд ли ему удалось познакомиться с двенадцатитомным изданием Сойкина, но именно из Талмуда могло возникнуть имя Иешуа Га-Ноцри (изгой из Назареи, кажется, так).

Если Иешуа — булгаковский Иисус Христос, то что стало с ним после его страшной смерти? Непризнанная и сокрушенная современниками, его проповедь добра начинает завоевывать сердца людей. Полмира следует за ним. Вера в него утверждается не только красотой легенды и пышным церковным многословием, но и кровавым мечом — крестовыми походами и кострами инквизиций. Прошли века. Что же стало с его проповедью? Что

стало с человечеством?

Неужели прав князь тьмы Воланд и его глумливая свита, что победил мещанин?..

Меньше всего мне хотелось бы оказаться в роли истолкователя булгаковского романа. Я рассказываю о нем подробнее лишь для того, чтобы показать, сколь сложна и необычна была работа писателя над этой, принципиальной для него, вещью. Легкость и озорство, то и дело проявляющиеся в книге, явились результатом полного овладения материалом. Вымысел и достоверность слились.

Но работа постоянно прерывалась. Над Булгаковым тяготела литературная поденщина. Кроме того, он оставался профессиональным драматургом, писал пьесы не только для заработка, ему хотелось писать их.

И вдруг посреди папок с очередными работами, с рукописями заветного романа на стол, как с неба, упала тетрадь с надписью «Записки покойника».

Я не видел ни одного черновика этой удивительной рукописи. Скорее всего, их и не было. В письме правительству Булгаков упоминал, что им был начат роман «Театр». Думаю, если он имеет отношение к «Запискам покойника», то самое отдаленное (лишь в зародыше). Не удивляйтесь, но похоже на то, что повесть писалась не для печати, а для себя! Именно так: для себя и для узкого круга людей. Не потому ли читал он ее, пригласив мхатовских «китов» — В. И. Качалова с Н. Н. Литовцевой, В. Г. Сахновского[65] и кое-кого из более молодого поколения, в том числе П. А. Маркова[66].

В этой компании чтение приобретало как раз нужную ему остроту.

Он огласил предисловие, в котором сообщал, что никакого авторского отношения к этому сочинению не имеет. Рукопись якобы передана ему ныне покойным человеком, не имевшим никакого отношения к театру и написавшим эту неправдоподобную театральную историю.

Слушатели хмыкнули, весело насторожились и потом дружно смеялись, угадывая прототипы, сразу узнав в Агапенове писателя Бориса Пильняка, а в Мише Панине — своего завлитчастью Павла Александровича, а сам Марков без тени обиды слушал про себя и от души хохотал своим немного деревянным хохотком. Однако же по мере чтения настроение менялось. Слушатели становились все более сдержанны. Описание репетиции, которую проводил Иван Васильевич, руководитель некоего Независимого театра, носило характер уже рискованной насмешки.

«— Эй, бутафоры! Велосипед!

Бутафор выкатил на сцену старенький велосипед с облупленной рамой. Патрикеев посмотрел на него плаксиво.

— Влюбленный все делает для своей любимой, — звучно говорил Иван Васильевич, — ест, пьет, ходит и ездит…

Замирая от любопытства и интереса, я заглянул в клеенчатую тетрадь Людмилы Сильверстовны и увидел, что она пишет детским почерком: „Влюбленный все делает для своей любимой…“

— …так вот, будьте любезны съездить на велосипеде для своей любимой девушки, — распорядился Иван Васильевич и съел мятную лепешечку. <…>

Патрикеев взгромоздился на машину, актриса, исполняющая роль возлюбленной, села в кресло, прижимая к животу огромный лакированный ридикюль. Патрикеев тронул педали и нетвердо поехал вокруг кресла, одним глазом косясь на суфлерскую будку, в которую боялся свалиться, а другим на актрису. В зале заулыбались.

— Совсем не то, — заметил Иван Васильевич, когда Патрикеев остановился, — зачем вы выпучили глаза на бутафора? Вы ездите для него?

Патрикеев поехал снова, на этот раз оба глаза скосив на актрису, повернуть не сумел и уехал за кулисы. Когда его вернули, <…> Патрикеев поехал в третий раз, повернув голову к актрисе.

— Ужасно! — сказал с горечью Иван Васильевич. — Мышцы напряжены, вы себе не верите. Распустите мышцы, ослабьте их… Пустой проезд, вы едете пустой, не наполненный вашей возлюбленной».

Булгаков, меткий пересмешник, уловил характерные словечки Ивана Васильевича и импровизацию его репетиционного «тренажа». Велосипед, ни с того ни с сего вдруг пришедший в голову постановщика, был абсолютно не нужен спектаклю, и о нем на следующий день забыли. Но ведь здесь, как и в ряде других эпизодов, казалось, высмеивались великие создатели прославленного театра! Тогда это была неслыханная дерзость. (А нынче, пожалуй, просто богохульство!) Автор, смеясь над тем, что являлось священными основами «системы», словно бы предвидел, что в окаменевших формах капризы мастера могут превратиться в смехотворную догму. К этому нельзя не добавить, что история

писателя Максудова и происшествия с его пьесой «Черный снег» весьма прозрачно напоминали многострадальную историю «Белой гвардии» («Дней Турбиных»).

Безукоризненно воспитанные слушатели, к тому же искренне расположенные к автору (особенно Качалов, человек деликатнейший, удивительный), не выказали обиды, вовремя смеялись и вовремя примолкали. Но ужин обещал пройти суховато, и Лена предусмотрела это. Василию Ивановичу Качалову и Василию Григорьевичу Сахновскому врачи запретили пить вино, и жены их строго за этим следили. Тогда Лена перед приходом гостей сказала мне, что в передней на книжных стеллажах поставлен графинчик, рюмки и немного закуски. Я должен был время от времени, находя предлог, зазывать в переднюю то Василия Ивановича, то Василия Григорьевича. Я начал с Качалова, сказав, что у меня к нему имеются вопросы, которые хотелось бы задать наедине. Дело было за ужином, и Качалов, в недоумении посмотрев на меня как на дурно воспитанного молодого человека, помявшись и извинившись перед сидевшими за столом, отправился за мной. Рюмочку он «принял» с удовольствием, хмыкнул, и мы вернулись в столовую. Через короткое время я обратился к Василию Григорьевичу. Качалов незаметно подмигнул ему, и тот тоже оказался в передней и быстро понял, в чем дело. Прошло еще немного времени, и я повторил свое приглашение, а потом Василий Иванович сам сказал мне, что мы еще не договорили, и отправился за мной к чудодейственным стеллажам. Влаги в графинчике поубавилось, но зато прибавилось — и заметно! — оживления за столом. Нина Николаевна Литовцева, жена Качалова, даже воскликнула: «Смотри, Вася, ты всегда говоришь, что вино за столом необходимо, а вот сегодня не выпил ни капли, а как оживлен, даже начал читать стихи». Он ответил ей что-то вроде: «Но роман-то был какой!..» — и прочитал что-то из Пушкина, из Блока, а потом Есенина про собаку, у которой хмурый хозяин отобрал и утопил в проруби семерых щенят. Он читал и читал, наслаждаясь своим голосом, а Булгаков старался слушать, силясь выказать внимание. Тучки рассеялись, и вечер закончился при всеобщем благорасположении.

Повесть о театре осталась неоконченной, была оборвана на полуслове. И произошло это совсем не потому, что другие театральные и литературные дела отвлекли автора. Первая часть была написана легко, это не случайно. Ей в течение нескольких лет предшествовали устные рассказы, полные сарказма, — из будней МХАТа. Они накапливались, и вдруг он сел и с маху написал! Этой работой как бы придумал лекарство самому себе,

освобождаясь от тех травм, которые причинил ему театр, и не просто театр — любимый. В одном из писем (3 октября 1936 года) он написал: «Сегодня у меня праздник. Ровно десять лет тому назад совершалась премьера „Турбиных“. Сижу у чернильницы и жду, что откроется дверь и появятся Станиславский и Немирович с адресом и подношением… Ценное же подношение будет выражено в большой кастрюле какого-либо благородного металла (например, меди), наполненной тою самой кровью, которую они выпили из меня за десять лет».

Горький юмор этих строк лучше всего выражает причину написания «Театрального романа». В веселой повести с похоронным названием «Записки покойника» он выплеснул все свои обиды — и за примолкший телефон в год беды, и за муки с «Мольером», и за многое другое. Выплеснул — и теперь мог прийти в театр без подспудных червоточин в сердце, как прежде — искренний. Только к немногим актерам оставался у него холодок. М. М. Яншин в период, когда он ставил мою пьесу «Грибоедов» (а это было в 1950 году), признавался мне со слезами, что для него неизлечима боль разрыва с Булгаковым. Я объяснял ему, что его, Яншина — Лариосика, Булгаков любил больше всех турбинцев и поэтому никому другому, как именно ему, не мог простить «измены».

«Театральный роман» впервые был опубликован в «Новом мире» (в 1965 году, кн. 8). Многие старые мхатовцы яростно возражали против его публикации (даже мне звонили, чтобы я уговорил Елену Сергеевну не печатать эту дискредитирующую МХАТ вещь). А. Т. Твардовский придумал хитрый ход и снабдил роман теплым послесловием одного из старейшин театра — В. О. Топоркова, чем окончательно раздробил «оппозицию». Впрочем, я понимаю патриотов МХАТа, которые в своих выступлениях, касаясь «Театрального романа», всегда сглаживают его опасную портретность и говорят о нем как о талантливой шутке обожаемого драматурга, не более того…

Итак, он продолжал писать пьесы, не теряя надежды увидеть их на сцене.

Еще в годы работы над «Мольером» и уже упомянутой биографией великого комедиографа им была написана вольная композиция на темы мольеровских комедий и закончена фантастическая пьеса «Адам и Ева». Переговоры о ее постановке начались сразу после написания. Режиссеры (московские и ленинградские) восхищались, звонили, приходили, приезжали, а потом вдруг исчезали, как будто их не было. Сперва Булгаков недоумевал, но в дальнейшем такое поведение театров приучило

его не доверять никаким восторгам и никаким обещаниям.

По предложению Художественного театра он начал работу над инсценировкой «Мертвых душ». Недавно принятый на «службу» в МХАТ, он не мог отказаться от этого предложения, хотя считал, что его «назначили в несуществующую пьесу». Он приступил к инсценировке, не веря в ее успех, и писал П. С. Попову: «Инсценировать „Мертвые души“ нельзя. Примите это за аксиому от человека, который хорошо знает это произведение». И восклицал: «Мертвые души!.. Через десять дней мне исполнится сорок один год. Это чудовищно! К концу моей писательской работы я вынужден сочинять инсценировки. Смотрю на полки и ужасаюсь: кого, кого еще мне придется инсценировать завтра? Тургенева, Лескова, Брокгауза-Эфрона?..»

В насмешливой форме он выражал самые мрачные прогнозы относительно себя, и совершенно напрасно. Он был еще полон сил, впереди его ожидала большая литературная работа, и он это знал! Поэтому и «заказную» инсценировку начал легко — фантазировал, выдумывал. Действие должно было начинаться в Риме (ведь Гоголь-то видел Россию из «прекрасного далека»). Именно оттуда, как из дымки, возникал трактир, в котором секретарь опекунского совета, эдаким Мефистофелем подсказывает Чичикову мысль скупать крепостных покойников. Мираж мнимого богатства маниакально владеет героем! Чичиков объезжает помещиков, но не в том порядке сцен, как у Гоголя. Он трясется в коляске, ездит, и неведомо куда привезет его кривое колесо Селифана — в яму, в бездну? В одной из последних картин, где происходит допрос Селифана, Петрушки, Коробочки и Ноздрева, рассказывают про капитана Копейкина. И вдруг появляется живой капитан Копейкин. Все это еще вчерне, но, право же, тут затевалась какая-то занятная чертовщина. То, что удалось записать, лишь наметка будущей пьесы. И по мысли Булгакова, спектакль должен был сопровождать Великий чтец и его Поклонник.

План этот не пришелся по вкусу театру. Театр был настроен академически. Он не мог ставить «Мертвые души» по Булгакову. И, наверно, был прав. В сотрудничестве с театром Булгаков сделал инсценировку, точно приближенную к Г оголю, — картины-иллюстрации к его поэме. На этой основе получился крепкий спектакль, сыгранный такими актерами, как И. М. Москвин, Л. М. Леонидов, М. М. Кедров, А. И. Зуева, В. О. Топорков, В. Я. Станицын. Спектакль жив до сих пор, хотя играют в нем актеры уже совсем другого поколения.

Преодолев пристрастие к первоначальному замыслу, Булгаков работал с режиссером В. Г. Сахновским. Обиды не было,

хотя жаль было расставаться с мыслью о Риме — о том, чтобы вести рассказ из «прекрасного далека». Тем не менее он с увлечением изучал гоголевский текст, пробуя его, что называется, «на зубок». Как работает настоящий краснодеревщик, коль скоро ему предложили реставрировать подлинную вещь. А вещь была подлинная — Гоголь.

И все же в нетерпеливом стремлении заниматься своей — личной, авторской — темой даже общепризнанный успех инсценировки (пусть любимого Гоголя) не мог его удовлетворить. Но говорил он все же не без гордости:

— Мастером быть трудно, но им надо быть обязательно, если ты мнишь себя профессиональным литератором. Нужно все уметь! И любить материал. И отказаться в иных случаях от субъективного к нему отношения, чтобы постигнуть и передать зрителю совершенные образы произведения, которое по праву называется классикой. Молодец, если сумел.

Почему он покинул МХАТ и принял предложение Большого театра, перейдя туда в литчасть? Он отнюдь не порывал с МХАТом, но считал, что там — он прежде всего автор, а служащий автор, по его мнению, всегда хоть немного на веревочке.

В Большом театре он — «служил», то есть редактировал старые и новые либретто для пьес. Так, например, при возобновлении «Ивана Сусанина» новый текст, написанный С. Городецким[67], потребовал внимательной правки. Это и делал Булгаков. Время от времени он принимался за работу над либретто для новой оперы, чаще всего по предложению композиторов (так было написано неосуществленное либретто «Минин и Пожарский» для Б. Асафьева). Заказы этого рода делались по дополнительным договорам, что вполне его устраивало, он нуждался в приработке.

Булгаков любил оперу, поэтому пребывание в Большом театре не было ему в тягость. Напротив, ему нравилось, что он стал причастен к этому академическому колоссу, в золотых ярусах которого отсвечивается, как нигде, и наше, и былое искусство театра.

«…Глубокими морщинами волнуя,
Меж ним и нами занавес лежит…»

Облачившись в черный костюм и прицепив бантик, на правах «своего» человека он с удовольствием отправлялся послушать, например, «Аиду» в давней, чуть ли не дореволюционной

постановке. Сидел один в директорской ложе. Ему нравился этот уже древний спектакль, с уже скучающими оркестрантами и уже давно не волнующимся третьестепенным составом актеров. Он находил своеобразную поэзию именно в этой застывшей обветшалости…

Не раз разыгрывал он собеседников своим пристрастием к консерватизму в искусстве. «На мой взгляд, куда как лучше было, когда занавес не раздвигался, а поднимался неторопливыми волнами, и на нем порхали розово-голубые купидоны, — говорил он. — А нынче и вовсе без занавеса норовят играть. Ах боже мой, все настежь! Никаких тайн! Нет, уверяю вас, я предпочел бы вновь увидеть духовой оркестр, играющий в антракте вальдтейфелевский вальс, как это было в старой провинции, и усатого капельмейстера, который, помахивая палочкой, то и дело оглядывается в сторону партера и раскланивается со знакомыми».

После бурного театрального новаторства двадцатых годов почти все зрители уже отвыкли от бытового «павильонного» оформления спектакля, а Булгаков настаивал на своем и нападал на Мейерхольда под стать самому закоренелому обывателю: «Пусть он трижды гений, у меня от него голова болит. Допускаю, что для всевозможных мудрствований и подражаний он, как никто, пригодится потомкам, но у нас и без него нервы расстроены».

Возмущался ли он всерьез или шутил? Ведь говорил-то это человек, который уже в «Беге» предсказывал ломку привычной сценической коробки, мечтал, чтобы возникло скользящее движение картин — в полусне, в полубреду, в полукошмаре… И, наконец, этот роман!

О, этот роман, словно от всех его остальных работ оторвавшийся и стоивший ему стольких дум и душевного восторга! Он полон парадоксальных неожиданностей, резко сталкивая два стиля — строгой прозы и фантастической эксцентрики. Далекое, возникшее в воображении (Ершалаим, Понтий Пилат, Иешуа), становится ощутимо реальным, без тени преувеличений, отточено выписанным в каждой подробности, а близкое, легко узнаваемое, существующее рядом (Москва, ее быт) превращается в неправдоподобный сатирический балаган!.. Уж то-то спустя двадцать лет после смерти автора ультралевые кинорежиссеры ахнули при чтении этого романа. Нет, капельмейстеру с усами, выражающему спокойное болото провинциального дореволюционного театра, тут решительно делать нечего…

Когда я вспоминаю тридцатые годы, последнее десятилетие жизни Булгакова, я не перестаю изумляться энергии его

творчества, мужественности и стойкости его поведения. Он не поддавался никакой мелкой тщеславной суете, а в своем творчестве никакой «моде». Он широко и раскованно работал над романом «Мастер и Маргарита». Писал его с увлечением. В этом романе мудрая зрелость мысли сочеталась с озорством подлинного вдохновения.

Все новые главы диктовал он Лене. В ее дневнике (16 января 1938 года) я прочитал, что он «просидел у Ермолинского до 5 часов утра. Разговаривали о романе».

Работа явно приближалась к концу, но с какими вынужденными перерывами!

В театре его преследовали неудачи.

После «Мольера» отменили премьеру пьесы «Иван Васильевич», подготовленную в Театре сатиры. Постановка осуществлялась быстро, без каких-либо существенных помех. В спектакле были заняты талантливые актеры, популярные в то время, веселые, — Ф. Курихин, Б. Малютина, П. Поль; Ивана Грозного играл Д. Кара-Дмитриев. Премьера предполагалась в марте 1936 года. Булгакову постановка не понравилась, но невыход спектакля все равно был ударом.

Пришлось целиком погрузиться в «заказные» работы. Среди них были экранизации «Ревизора» и «Мертвых душ». Работа с кинорежиссерами ошеломила его. Они так шумели, кричали в его квартире, вмешивались в написанные им сцены, то и дело подкидывая ему необыкновенные выдумки, что только его юмор утихомиривал их буйный темперамент. После этих встреч у него болела голова. Он не привык к такой работе. Он привык работать в тишине, сосредоточенно. Иногда днем закрывал шторы, зажигал свечи. А тут… Он только разводил руками. «Ну, Сергей, не завидую тебе. Как это ты с ними управляешься?»

Я успокаивал его, говоря, что все, что происходит с его сценариями, нормально, так всегда бывает в кино. Он пишет варианты, их рассматривают, присылают стереотипные замечания и пожелания («Усилить моменты, характеризующие социальный фон…», «Включить кадры, рисующие крепостную деревню…», «Не создавая новой сюжетной линии, не навязывая голо-агитационных выводов, дать живое ощущение ужасов николаевской России…» и т. п.). Кроме того, режиссеры постепенно становились соавторами сценария, и я объяснял ему, что это хотя слегка и бьет по карману, — но зато вселяет надежду, что фильмы будут осуществлены.

«Мертвые души» должен был ставить в Москве И. А. Пырьев[68], «Ревизора» — М. С. Каростин в Киеве, и казалось,

оба сценария после всех мытарств появятся на экране. Каростин[69] даже снял несколько сцен, но просмотренный дирекцией материал вызвал резко отрицательную оценку («формализм»), и работа над фильмом была приостановлена. (Впоследствии Каростин талантливо работал в научно-популярном кино.) А Пырьеву вместо «Мертвых душ» было предложено ставить фильм на современную тему («Партийный билет»).

На этом кинематографические дела Булгакова кончились. Пришлось заняться другим.

Не так давно Мариэтта Чудакова, пытливый литературовед и архивист, опубликовала описание булгаковского архива (в «Записках отдела рукописей Библиотеки им. Ленина», выпуск 37). Она сообщила мне в изумлении:

— Боже мой, — говорила она, — сколько договоров обнаружила я, страшно подумать!

Я знал, что много. Но обо всех, оказывается, не знал. Сочиняя либретто оперы «Минин и Пожарский», он усаживался за рояль и пел арии на какой-то невообразимый собственный мотив. «Луна, луна, за что меня сгубила? — пел он речитатив сына посадского Ильи Пахомова. — Уж я достиг стены, но выдал лунный свет, меня заметили, схватили… Ах, неудачник я!..» Он подгонял текст под ритмическую прозу и сам с собой играл в оперного певца, композитора, изображал оркестр и дирижера. А однажды днем я застал его в халате танцующим посреди комнаты. В доме никого не было, семья была на даче в Загорянке. Он сам открыл дверь и продолжал выделывать па, вскидывая босые ноги и теряя шлепанцы.

— Миша, что с тобой? — остолбенел я.

— Творю либретто для балета. Что-то андерсеновское — «Калоши счастья». Вдохновляюсь. Ничего, брат, не попишешь. Надо — буду балериной. Но… не более.

Ему шел пятый десяток, а писательский труд его все так же не находил твердой почвы. Все было зыбко. Каждая новая работа требовала почти начального преодоления — препятствий к обнародованию становилось не меньше, а больше. Если бы он решился пойти в редакцию какого-нибудь журнала, он вошел бы туда робко, как начинающий автор. А его сверстники, даже те, кто был моложе его, давно заняли в литературе прочное место, у них выходили книги, они печатались в журналах, а у некоторых начали выходить собрания сочинений…

В Союзе писателей он чувствовал себя неуютно, как чужой. На собраниях появлялся редко, хотя иногда получал

официальные приглашения (те, которые автоматически рассылались всем членам Союза). И войдя в вестибюль, опасливо оглядывался, как будто ожидая, что вот-вот к нему подойдут и спросят: «А вы на каком основании тут? Кто вы такой?» Деловито пробегали люди или, собравшись в кучку, оживленно обсуждали какие-то важные внутрисоюзные интриги, а некоторые, сидя или стоя, перелистывали страницы новых журналов и газет, в которых были напечатаны их статьи друг про друга. Он проходил странной птицей среди этого непрерывного коловращения писательских масс, не встречая ни одного знакомого лица, хотя многие на него оглядывались. Впрочем, иногда на него надвигалась барственная фигура, и он узнавал в ней некоего собрата по перу, и тот здоровался с ним, выражая на лице сочувствие и сокрушение. Здесь все плыло к невидимой лестнице признания, ценились умельцы восхождения на ее зигзагообразные ступени, а те, кто достиг, уже обозначились отчетливо. Вокруг них суетились. А он узнавал в них бывших горлопанов, репортеришек, фельетонистиков, и они улыбались ему издали, близоруко щурясь и чуть приподнявши кругло-сытые лица, однако же не слишком демонстрируя когдатошнее с ним приятельство…

Не знаю, все ли они при своем благополучии обрели душевный покой? Но он давно уже научился с наружным спокойствием переносить неудачи, и сдвинуть его с позиций, им занятых, никому не было дано.

«Художник не должен иметь иного честолюбия, кроме творческого», — говорил Э. Хемингуэй. О, этого честолюбия у Булгакова хватало!

Он был воспитан в понятиях чести, преподанных лучшими представителями русской литературы. Он глубоко уважал писательский труд, который всем ходом общественной жизни России принес писателю высочайшее звание — властителя дум. Но во всех своих литературных суждениях Булгаков был независим. Тут у него не было ни авторитетов, ни предвзятых мнений.

На полках его библиотеки стояли собрания сочинений русских авторов. Иностранных — мало. Но зато из отечественных — во множестве второстепенные, забытые писатели, отражавшие, как правило, уровень и литературный вкус своего времени и сообщавшие бездну мелких бытовых подробностей.

Жаль, что не сохранилась его библиотека. Она очень поучительна — рассказала бы не только о его вкусах, но и о его рабочей лаборатории.

Особой любовью любил Гоголя, хорошо знал Салтыкова-Щедрина, Сухово-Кобылина. К Чехову-драматургу был равнодушен. Попытки находить истоки его драматургии в Чехове ошибочны. Это происходило по инерции — как же не от Чехова, если Художественный театр, «атмосфера» в «Днях Турбиных» и т. п.

Он не вел дневников. В начальные, двадцатые годы дневники были, но он их сжег и суеверно не возвращался к ним. В сохранившихся записных книжках можно найти главным образом записи адресов и телефонов.

Глаз у него был острый, позволяющий почувствовать не только вкус прошлого, но и остроту настоящего, разглядеть черты будущего. Он и на себя поглядывал как бы со стороны, из дня завтрашнего. Это составляло его силу, сохраняло стойкость и развивалось с годами.

Он очень ревниво относился к своему литературному имени. Поэтому педантично вырезал (а позже — заставлял Лену) и наклеивал в альбом все отзывы и заметки о себе. Составился целый том (он сохранился) — почти ни одного доброго слова, сплошь нападки, а то и клевета, похожая на донос. Имена своих «критиков» он запоминал и запомнил на всю жизнь. Передал Лене как эстафету весь черный список этих имен[70]. Она наизусть их знала. Назовешь, бывало, имя вроде бы доброжелательное, а она тут же — «ах, ну да, помню, это тот самый…» Как бы тот ни распинался в своей давней преданности «незабвенному нашему писателю», не было ему прощения. Не для этого ли Булгаков приучил Лену записывать каждый день деловито и сухо — кто был, кто звонил, что сказал? А сам время от времени писал письма Павлу Сергеевичу Попову, живущему по соседству, в тех же арбатских переулках. Казалось бы, зачем писать, ведь можно было встретиться в любой день. Но он писал, потому что это были не письма, а преднамеренные записи о своих литературных делах, настроении, житейских обстоятельствах. Он писал не Пате Попову, а педантичному литературоведу — Павлу Сергеевичу — в будущее…

Статьи и книги, толкующие ученым языком о литературных приемах, жанрах, влияниях, анализирующие эти приемы и жанры, вызывали у него удивление и скуку.

— Ничего не скажешь, сюда вложены пуды пота, — говорил он, перелистывая этакий многоученый труд. — Скорее всего, писалось для получения какой-нибудь очередной степени. Уверяю тебя, ни читателю, ни писателю это абсолютно неинтересно. Они пишут друг для друга.

Зато материал биографический привлекал его всегда. До

страсти любил рыться в старых журналах, особенно исторических, архивных. Собирал словари, лексиконы, справочники. Считал, что их должно быть как можно больше, по всем вопросам, всегда под рукой, без них литератору нельзя. Он и меня снабжал ими. Из множества утерянных мною за годы войны книг сохранились две, подаренные им: *М. И. Михельсон.* Ходячие и меткие слова (Санкт-Петербург, 1896) и *Масперо.* Древняя история народов востока (Москва, 1911). Вот как пример юмористическая надпись на книге Масперо: «Дорогой Сережа! К вопросу о книжных долгах. Посылаю тебе первую из серии (одна книга — это не звучит!). Вторую уже подготавливаю для тебя. Обрати внимание на переплет. Этой материей была обита мебель в имении предков (во флигеле) в 30-х годах прошлого века. Он стоит 75 рублей. Твой М. Б. Москва, 2 января 1938 г.».

Ему претили словесные штампы, ужасала казенная узость обобщений. Не менее этого его раздражало «новаторство» — намеренная невнятица, гримасы уродливого языка или нарочито грубый натурализм. Игра жаргонными словечками, якобы фиксирующими современный язык, а в особенности откровенная непристойность и словесный цинизм вызывали у него брезгливость. Мода? Ах да, мода! Но все это унижает литературу и коверкает вкус читателя!..

Однажды я застал его нахмуренно уткнувшимся в какую-то книгу. Я было взглянул, что он читает, но он прикрыл переплет.

— Обойдемся без имен. Неважно, о ком речь. — И повернулся ко мне. — Послушай, а литература-то ужасная вещь! Ну, разумеется, то, что она может стать блистательной лестницей, по которой человек, надевши лакейскую ливрею, при умении и удаче возносится чуть ли не на самый верх, это не мы выдумали, это всегда было. Но хорошо бы — без членовредительства. Погоди, не перебивай. — Он таинственно поманил меня пальцем. — Вот что я тебе скажу, но это величайший секрет: нам уже грозит многописательство, то есть массовое нашествие литературных гномов, а это, брат, опаснейшая для литературы штука!..

Невозможно воспроизвести интонацию, с какой он говорил это, и в его насмешливом, даже чуть высокомерном тоне вдруг прорывалась печаль.

— Эх, сам видишь, куда бы дело ни поворачивало, литература остается частным сектором индивидуального хозяйства. Но погляди, деньги и почести у нас сплелись воедино как нигде, вот и бегут наперегонки, словно на ринге, чтобы первыми схватить удачу. Тут, знаешь ли, надо не столько уметь писать, сколь умело поворачиваться. Под эгидой всепоглощающего чиновничества постепенно сколачивается, так

сказать, золотая обойма. А то еще есть и такие, кто подбавляет в свое обескровленное творчество полунамеки собственных тайных помыслов. Сообразили, что это тоже может стать выигрышной картишкой. Фрондер, фрондер — шум возникает! — то есть как раз то, что нужно, но держись в рамках, дорогой мой, в рамочках!.. Бог мой, но ведь они пишут и о личной боли! Поверить трудно, ведь об этом надо иметь право писать! Надо выстрадать это право! Может быть, очень много (и в тиши) выстрадать. И писание будет медленное, невыгодное, не напоказ. О, литература! Цена слов! Цена каждого слова!

Он не только говорил так, но и жил, не суетясь, возле «блистательной лестницы, возносящей чуть ли не на самый верх». Не только так жил, но и, «освободясь от заказной работы» (впрочем, всегда честной и добросовестной), писал лишь о том, что считал для себя самым важным и что подступало к горлу, неостановимо, по выражению Толстого, как кашель. И чем дальше, тем сосредоточеннее писал — точнее, ярче: в описаниях, в диалоге, в пейзаже.

Казалось, ничем не вызывая на себя огонь, он продолжал лучшие традиции русской прозы, ясность ее языка, отсутствие какой-либо вычурности, тем не менее своеобразие его как художника непрерывно давало пищу для кривотолков. Его поразительная наблюдательность слишком часто переступала спокойные реалистические грани. Вокруг живой натуры, в основе своей (еще раз подчеркиваю) всегда достовернейшей, бесом вертелась его фантазия, и мысль обретала самые неожиданные повороты. Недаром он любил Гоголя. Схватившись за голову, как бы повторял вслед за ним: «Чепуха совершенная делается на свете. <…> И, однако же, при всем том, хотя, конечно, можно допустить и то, и другое, и третье, может даже… ну да, где не бывает несообразностей? <…>

…Кто что ни говори, а подобные происшествия бывают на свете, редко, но бывают».

Эти гоголевские слова так и просятся на страницы «Мастера и Маргариты».

Но он отнюдь не был фантастом. Он взрывал быт, докапывался до корней добра и зла, виртуозно владел контрастами и делал это разными способами.

Мне кажется, у него даже в самых серьезных вещах то и дело выглядывает озорник — нет-нет и состроит гримасу. Даже в самых трагических местах мелькнет печальная усмешка. Вот-де какой ужасный балаган жизни и человеческой судьбы мне, веселому человеку, приходится показывать. Он знал, что патетическое обычно ветшает скорее, чем юмор. «Только гений

может спасти патетику, и то не всегда», — говорил Булгаков. «А что может быть несноснее заезженной патетики? Затыкаешь уши от стыда!..» И еще он был лирик.

Это существовало в нем в гораздо большей степени, чем можно представить по его произведениям, по сатирическому складу его творчества, а если угодно, и по личному общению.

Лирические отступления то и дело встречаются в самых разных его сочинениях — не только в «Белой гвардии», но и в «Мастере и Маргарите», и в «Театральном романе», и в «Жизни господина де Мольера», и в небольших вещах (вспомним нежный рассказ «Псалом»), в ранних фельетонах (в «Записках на манжетах», в лирических репортажах о Киеве, о Москве). Эти отступления проникают в сердце читателя, вызывают в нем щемящее сочувствие к автору, к его боли. Но автор тут же меняет интонацию — обрывает лирику смешком, так же как пафос и патетику — иронией…

Но он был лирик, и не понять это — значит не вполне понять Булгакова-писателя.

Он был лирик хотя бы потому, что всю жизнь хранил воспоминания детства. Не воспоминания даже, а ощущения — и как утрами топили печи и шаркал валенками истопник, и как в гостиной сидели папины и мамины гости, белый свет парадных спиртовых ламп проникал в детскую, и как мама собиралась в театр… И многое другое, оставившее чувство особенного, томительного уюта. В квартире его отца, киевского профессора, все было строго и скромно, избави бог, без намека на буржуйскую роскошь, и с тем умеренным профессорским свободомыслием, бестревожность которого покоилась на уверенности, что иначе и быть не может… Прочный мир детства. Так казалось. Может быть, поэтому он и ходил на допотопную «Аиду», нацепив бантик, или иногда играл в винт (как папа).

Помните его ироническую фразу: «Хотелось быть примерным мальчиком»?

Нет, у него этого не получалось. Напротив, все шло наперекосяк.

Связи с литературной жизнью, литераторами почти совсем прервались. Он перестал встречаться даже с приятелями по «Гудку». А ведь в той беспорядочной, полуголодной жизни было приятельство, и очень сердечное. Теперь заходили лишь Ильф и Петров. Может быть, забегал и еще кто-нибудь, но это мимоходом, случайно, он об этом никогда не упоминал. А Ильфа и Петрова любил. Особенно Ильфа.

Я встречал его у Булгакова несколько раз. Он приходил в

суконной курточке вместо пальто, в кепи, сдвинутом набок. Смотрел на Булгакова с нескрываемым интересом, с любопытством женщины, словно примеривался к нему, старался уловить, понять самое главное в поведении этого человека, избравшего столь нелегкий и, как казалось тогда, безнадежный литературный путь. Булгаков оживлялся в его присутствии, с головой окунаясь в разговор.

В шутках их, подчас беспощадных, когда говорили они о писателях-делягах, способных на подлость, было полнейшее единодушие. И, странно сказать, Булгаков выглядел немного мягче и снисходительнее, чем Ильф, порядком издерганный литературной маетой.

Именно таким я видел его вскоре после возвращения из Америки, которую он изъездил вместе с Петровым вдоль и поперек на автомобиле. Это было уже незадолго до его смерти. Он вернулся угрюмым, больным, рассказывал отдельные главы «Одноэтажной Америки», и то, что я слышал в устном рассказе, было гораздо более зло, чем потом написано, — не так смешно, а, скорее, желчно. По ходу рассказа то и дело возникали у него сравнения с нашей жизнью. И, мрачнея, он говорил, что нельзя было не думать об этом во время путешествия, душу выкручивало от досады, от обиды, черт знает от чего, но хитроумный Евгений Петров вовремя исправлял его черновые записи, а то и книги бы никакой не получилось…

Рассказывая, он оживлялся, но затем им опять овладевала какая-то полусонная вялость. Он нетерпеливо пригубливал некрепкую нежинскую рябиновку и к концу вечера совсем помрачнел. Булгаков развлекал его как мог.

— Вы не думайте, мне тоже удалось показать себя на международной арене, — говорил он, подзадоривая гостя. — Я был недавно в числе приглашенных на прием в американское посольство. Должен сказать, что сначала поежился — стоит ли пускаться в столь опасное путешествие? Вообще я иностранцев побаиваюсь. Они могут окончательно испортить мне жизнь. Послушайте, ну что они там про меня пишут? Будто я арестован, замучен в чека, помер… Голубчик мой, хоть вы объяснили бы, что так нельзя! А вы заметили, что они приходят в возбуждение не от литературы нашей, а лишь от тех писателей, которые у нас хоть чуточку проштрафились. Эх, эх. Вот и за меня схватились. Не нравится мне это, Илья Арнольдович. Но, знаете ли, в американское посольство я пошел. Я нарочно пошел! Мне хотелось доказать, что я жив и что я необыкновенно хорошо воспитан — готов к светской беседе и не растеряюсь перед любым набором ножичков и вилочек — знаю, за какую взяться. Словом, я

был во всеоружии (это был как бы мой ответ вашим заграницам), но светская беседа меня все-таки подвела. Любезный советник Наркоминдела представил меня некоему полноватому, краснощекому немцу и исчез. Немец, приятнейше улыбаясь, сказал:

— Здравствуйте… Откуда приехали?

Вопрос был, как говорится, ни к селу ни к городу, но немец говорил по-русски, и это упрощало дело.

— Недавно я был в Сухуми, в доме отдыха.

— А потом? — спросил немец, совсем уже очаровательно улыбаясь.

— Потом я поехал на пароходе в Батум. Мне хотелось показать жене те места, в которых я бывал в молодости.

— А потом?

— Потом мы поехали в Тбилиси.

— А потом?

Я с некоторой тревогой взглянул на немца.

— Потом по Военно-Грузинской дороге мы приехали в Орджоникидзе, раньше он назывался Владикавказ…

— А потом?

— Потом в Москву.

— А потом?

Въедливая назойливость немца решительно мне не нравилась, я оглядывался с беспокойством.

— А потом? — с той же интонацией повторил немец.

— Потом… вот… я в Москве и никуда не собираюсь.

— А потом? — продолжал немец.

Но тут, к счастью, промелькнул советник из Наркоминдела, я не дал ему улизнуть и схватил его под локоть.

— Послушайте! — начал я возмущенно.

— А! — вскричал наркоминделец. — Я совсем забыл! Он ни черта не знает по-русски, кроме двух-трех слов. Плюньте на него! — И потащил меня от немца, который стоял, по-прежнему нежнейше улыбаясь, с застывшим вопросом на губах: — А потом?

Ильф слушал с коротким смешком, неотрывно следя за рассказчиком, а затем перестал смеяться, опустил голову и произнес хмуро, повторяя интонацию немца, как только что делал это Булгаков:

— А потом? — И, посмотрев на него, добавил другим тоном. — Что все-таки потом, Михаил Афанасьевич?

Булгаков комически развел руками.

— О чем вы говорите, Ильф? Вы же умный человек и понимаете, что рано или поздно все станет на свои места.

— Да, конечно, — сказал Ильф, — вы счастливый человек. Без смуты внутри себя. Главное — здоровье, дай бог, чтобы оно у вас было.

— Верно, верно, — говорил Булгаков и сокрушался, — думаете, не вижу, что поездка по Америке далась вам нелегко. Бросало из жары в холод, такие контрасты. Так что теперь извольте заняться собой, милостивый государь!.. Но я-то хорош! Доктор называется! Подсунул рябиновку вместо водки, решил — все же полегче, в ней градусов тридцать, а вы выхлестали чуть не всю бутылку. Я-то пил водку. Эх, эх! Меня ничто не берет. И вы правы, я здоров, совершеннейше здоров!

Он разговаривал с Ильфом, как с ребенком, беспокоился о нем. Но ведь он был врач и знал о себе поболе, чем о здоровье Ильфа. Он знал о себе все — задолго до появления очевидных симптомов болезни. Но она уже подавала ему тайные знаки. Он-то знал, но мы не знали.

«Мама, я буду примерным мальчиком, спаси меня, я опасно болен, у меня под мышкой градусник!»

Вокруг его дома штормило. Но все равно, уверяю вас, это был жизнерадостный, веселый дом!

Да, это было так. У некоторых «мемуаристов» — а их появляется нынче все больше — я то и дело сталкиваюсь с описанием скудости его быта. Недавно прочитал, как один автор якобы побывал у него, когда он был уже болен. Хозяин встретил его, разведя руками: «„Я ничего не могу вам предложить, кроме этого“, — сказал он и достал из-за окна бутылку холодной воды. Мы чокнулись и отпили по глотку. Он с достоинством нес свою бедность!» — так завершил автор свое кладбищенское повествование.

Я решительно не могу представить себе, чтобы в доме Булгакова потчевали гостя холодной водой. Разве что это могло произойти лишь по отношению к редкостно неприятному господину, но и в это я не верю. Когда он жил на улице Фурманова, ничего похожего на бедность у него в доме не было. Я заходил к нему почти каждый день. Видел, как и в хорошие периоды (в материальном отношении), и в плохие (а такие, разумеется, бывали, и нередко) гостя встречали с одинаковым радушием — в квартире безукоризненный порядок, хозяйка мила, нарядна, — и застолье протекало так, что никто не мог бы и намеком ощутить, в каком положении дела писателя Булгакова. Все было как всегда. Как этого достигала Лена, я не знаю, но делалось это легко и незаметно, даже для самого Миши.

Правда, в последние годы круг гостей заметно сузился, но только потому, что гости стали его утомлять. Он предпочитал, чтобы приходили «свои». Из этих «своих» нужно прежде всего назвать Владимира Владимировича Дмитриева[71], Петра Владимировича Вильямса[72] и Александра Шамильевича Мелик-Пашаева[73].

Я вспоминаю булгаковский дом (его и Лены!) с тем душевным волнением, какое трудно передать.

Да-да, это был веселый, жизнерадостный дом! Говорили, это оттого, что у Булгакова было повышенное «чувство театра». Нет, никакого «театра» в его поведении не было. Это был его характер. Если угодно — и ее.

В передней над дверью в столовую висел печатный плакатик с перечеркнутой бутылкой: «Водка яд, сберкасса друг». А на столе уже все было приготовлено — чтобы и выпить, и закусить, и обменяться сюжетами на острые злободневные темы. Слетала всякая шелуха, душевная накипь, суетные заботы, накопившиеся за день, и всегда получалось весело.

Я уже говорил, как из смешных рассказов из жизни МХАТа вырос «Театральный роман». Таких устных рассказов у него было множество и по другим поводам. Они редко повторялись, не становились, как бывает у многих, застольным «репертуаром». Они рождались в ходе беседы, превращались в театральную импровизацию.

Помню, поводом для одной из таких импровизаций был спектакль Камерного театра «Богатыри» по пьесе Демьяна Бедного. В качестве оформителей пригласили художников из Палеха. Они должны были придать «истинно русский», былинный характер постановке, столь неожиданной для такого изысканного, рафинированного театра, как Камерный. Из этой затеи ничего путного не вышло, спектакль подвергли резкой критике.

— Думаю, — говорил Булгаков, — произошла противоестественная смесь из Демьяна Бедного, Таирова и палешан. От души сочувствую ни в чем не повинным мужичкам.

И уж тут невозможно было не переворотить все это в веселую буффонаду, и он стал изображать насмерть перепуганных творцов современного фольклора, как они возвращаются домой, лежа на жестких вагонных полках и подняв к небу свои древние бороды. Его рассказ тут же подхватывали все те же постоянные участники булгаковского застолья — Мелик-Пашаев, главный дирижер Большого театра, и театральные художники Дмитриев и Вильяме. Мелик, изображая сокрушенного палешанина, еще хорохорился: мы-де еще покажем, ни хрена они в Москве не понимают о нашем истинно русском. А Дмитриев совсем поник. У обоих кошки

скребут на сердце, слышится грозный голос жены — жену изображает Булгаков: «Не быть добру, коли не сидится в своей лакированной коробочке! Плохо в ней вам было, так, что ли? Высунулись! Добро бы мальчишки, а то ведь за сорок уже! Срам на всю округу, и денег ни шиша!»

Охваченный тоской и страхом перед грядущим возмездием, Мелик-Пашаев подползает к дверям (кабинета) и робко стучит. «Это я, я, — тоненько, шепотом произносит он, — потерял копеечку», — поет он, как юродивый в «Борисе Годунове». Дверь распахивается — в дверях Булгаков-жена. Хохолок спереди взвит кверху, на голове повязан платок. Взор его столь гневен, что Мелик немеет окончательно.

— Искусству захотел! Я у тебя эту дурь выбью! — замахивается «жена». Мелик, покорно повернувшись, пригибается и получает хорошую затрещину пониже спины. Тихо стонет. У Дмитриева отвисла губа, он уже хватил с горя не один шкалик и валяется в канаве (под столом). Приложив к глазу горлышко пустого графина и разглядывая ночные светила (люстру), он вдруг рявкнул непристойную песню: «Э-эх, семь бед — один ответ, пропади пропадом коробочка лакированная», — и трахнул крепким русским словцом! Вильяме возмущенно поджал губы: «Не выражайся, тут дамы». У Вильямса свой образ — он пытается сохранить надменное достоинство. А Лена время от времени вскрикивает: «Перестаньте! Я умру от смеха!»

Подумать только, в течение целого вечера мы, как мальчишки, отдурачивали целый спектакль, вплетая в него и шутки о том, что произошло в Большом театре, в МХАТе, у художников. И в этом развеселом балагурстве то и дело проглядывала внутренняя серьезность — мысли о том, что происходило тогда в нашем многострадальном искусстве. Мелик-Пашаев вдруг срывался, подбегал к роялю и, при сразу возникшей тишине, проигрывал куски из «Катерины Измайловой», только что скандально запрещенной оперы Шостаковича. Не обладая голосом, но очень выразительно Александр Шамильевич напевал нам отрывки из арий и речитативы, бурно воспроизводил отдельные оркестровые вариации, а иногда, вскочивши, пел, изображая скрипки, трубы, литавры, и темпераментно дирижировал… Как мало людей бывало у Булгакова и видело его в таком дружеском окружении, таким неподдельно веселым, естественным, позабывшим на миг будничные заботы, вечное ожидание неприятностей, вечной чиновной власти над собой.

Возвращались мы в приподнятом настроении. Обычно, прежде чем разойтись, провожали меня до Мансуровского. Еще продолжали смеяться, но и что-то тревожное возникало.

— Удивительный дом, — говорил Мелик-Пашаев, остановившись на углу моего переулка, где был гастроном.

— Человек удивительный! — подхватывал Дмитриев. — Да… Вот так…

Все стояли кружком, примолкнув.

— Дай бог, чтобы его никогда не покинуло озорство, — произнес Дмитриев без тени шутки и повернулся к Вильямсу. — А помнишь, Петя, когда я выдумал водконапорную башню от этого гастронома прямо к дому Сергея…

— Это, Володя, я выдумал, — ревниво уточнил Вильямс.

— Возможно, возможно. Но я нашел систему труб и установку счетчика, отмечающего литры, как киловатт-часы. Помнишь, с каким увлечением Михаил Афанасьевич принялся помогать мне, едва я начал чертеж? Казалось, ничего важнее не было. А через несколько дней он читал нам главу, в которой Иешуа ведут на Голгофу. Сердце сжималось. Как будто он про себя читал. Вот то-то. И знаешь, мне иногда кажется, что его писательство вырастает из озорства, он, как гимнаст, проверяет на нем свои силы… А силы были нужны — чем дальше, тем больше.

Кто из писателей не нуждается в читателе? Кому из писателей не нужен отклик на то, что он пишет? Безмолвие ужасно. Теперь легко об этом говорить, когда его издают, читают, переводят, пишут о нем. А тогда?

Однажды он пришел ко мне и торжественно объявил:

— Написали! Понимаешь, написали!

И издалека показал мне номер журнала, одна из статей которого в ряде мест была им густо подчеркнута красным и синим карандашом.

> «Широкая публика его охотно читала, но высшие критики относительно него хранили надменное молчание…» — цитировал Булгаков и, перебрасываясь от одной выдержки к другой, продолжал: — «К его имени прикрепляются и получают хождение прозвания, вроде спирит, визионер и, наконец, просто сумасшедший… Но он обладал необыкновенно трезвым и практическим умом, предвидел кривотолки своих будущих критиков. На первый взгляд его творческая система кажется необычайно противоречивой, характер образов колеблется от чудовищного гротеска до нормы реалистического обобщения. У него черт разгуливает по улицам города…» — Тут Булгаков даже руки простер от восторга: — Вот это критик! Словно он читал мой роман! Ты не находишь? — И продолжал: «Он превращает

искусство в боевую вышку, с которой, как художник, творит сатирическую расправу над всем уродливым в действительности…»

Булгаков читал, незначительно изменяя текст (я цитирую по подчеркнутым им самим страницам журнала «Литературная учеба»).

Это была статья С. Миримского, но не о нем, а о Гофмане. В ней содержались замечания, пронзительно задевшие Булгакова. Насладившись эффектом, он признался, что статья эта никакого отношения к нему не имеет. Увы, это был совсем невеселый розыгрыш.

К. М. Симонов прав, говоря, что «нельзя по своей прихоти улучшать или ухудшать историю, не пристало и задним числом, даже в самых благих целях, выпрямлять мировоззрение сложного и противоречивого писателя».

У меня нет оснований упрекнуть большинство наших серьезных булгаковедов в том, что они упрощают, «округляют» (в благих целях) его биографию, но все же некоторые страницы его жизни и творчества упомянуты лишь мельком. А между тем вокруг пьесы «Батум» до сих пор расползаются слухи и не умолкают разные голоса: так называемые дружественные (довели-таки…) и откровенно злорадные (сломали-таки!..). Я обязан ответить сплетникам, нашим и зарубежным, и рассказать то, что мне известно и чему я был свидетелем.

Не будем притворяться людьми, потерявшими память. Если это пристало, то в равной мере закоренелым политиканам, как и перепуганным редакторам. В тридцатые годы уже никто из нас не мог не чувствовать, что все ближайшее будущее нашей страны — ее жизнь и жизнь каждого из нас — зависела, и с каждым днем все ощутимее, от воли одного человека. Все, что происходило, было неотрывно связано с его именем. Он был почти обожествлен, и страшно было его обаяние. Это не могло не отразиться в литературе и в искусстве — в журнальной прозе, в новых книгах, в живописи, в кино, на подмостках сцены. В репертуарных планах почти всех театров стали появляться патетические пьесы о событиях, касающихся исторической роли Сталина, или о нем самом. Обойти эту тему было уже нельзя. Тем более Художественному театру, который почитался эталоном для всей нашей театральной жизни. Дело, таким образом, неотвратимо приобретало острый политический характер. МХАТ в те годы не хватал любую пьесу, лишь бы угодить, но к требованиям прессы не мог не прислушиваться. Пресса выражала

волю начальства. Руководителям театра было нелегко. Грубая агитка их не устраивала, как-никак на занавесе по-прежнему простирала свои условные крылья вольная чайка. Да и сам «хозяин» заглядывал в этот театр чаще, чем в какой-либо другой. Сталин терпеть не мог «выкрутасов» Мейерхольда или «буржуазной изысканности» Таирова, как и вообще всяческого «футуризма», но пока, до поры до времени, терпел. А вот заходя в МХАТ, ждал «художественного». Что делать? Как быть? И тут сообразили, что именно он, Булгаков, никто другой, может выручить, потому что не сделает казенной и фальшивой пьесы.

Втайне он уже давно думал о человеке, определявшем ход истории, судьбу нашей страны, о феномене этого человека, демонической силе его власти. У Булгакова была даже заведена тетрадь с надписью «Заметки к биографии Сталина». Мысль эту он отбросил, понимая, что стиснут рамками официального гром-победы триумфального портрета и сможет располагать лишь теми трижды отобранными материалами, от которых за версту тянет фальсификацией и фальшью. Возможно, он обмолвился с кем-то в театре о волновавшей его теме, это и подтолкнуло обратиться к нему. Но все равно — предложение МХАТа застало его врасплох.

Сидели у него дома и разговаривали до рассвета. Говорили о том, что постановка такой пьесы (а он ее сделает изящно, без тени угодничества!) будет означать полный переворот в его делах. И тут, как бы само собой разумеющееся, мхатовцы затронули самые чувствительные струны: разве он не должен позаботиться о воскрешении своих погубленных произведений?

На следующее утро Булгаков пришел ко мне усталый и разбитый. Он был растревожен до крайности, не знал, что делать.

Уговоры продолжались. С ним разговаривали люди, которым не безразлична была его судьба, милые люди. Ах, милые, милые! Без сомнения, они самоотверженно бились за процветание своего театра, мучительно выстраивая его репертуар, а это — тоже вне всякого сомнения — означало и его успех! Их общий успех! Даже больше — их жизнь! И он наконец решился.

До сих пор некоторые участники этих уговоров продолжают утверждать, что Булгаков никогда и никому из них не заявлял, что принял предложение театра, чтобы, по их выражению, «наладить мосты», то есть из конъюнктурных соображений. Разумеется, такого рода доводов никакой автор не мог бы высказать официальным лицам, какими бы доверительными друзьями они ни были. Но ссылаются при этом на свидетельства Елены Сергеевны, которая записала в дневнике, что Булгаков работал над пьесой с увлечением. Конечно, Лена хотела, чтобы эта пьеса получилась, потому что она хотела, чтобы литературная

судьба Булгакова изменилась к лучшему. Она была союзником уговаривавших его, и это можно понять. Кроме того, она старалась высветить события с наиболее благоприятной стороны, и это тоже можно понять. Она писала искренне и даже себя убеждала в своей правоте. А то, что было не так, стало очевидным с самого начала.

Началось с явного компромисса. Неизбежно все жгучие, тревожные мысли о Сталине были отброшены. Раз уж взялся, надо находить простейшие решения. И он избрал примитивный романтический рассказ о дерзком юноше, который изгоняется из тифлисской семинарии, становится революционером, возглавляет знаменитую стачку в Батуме (в 1902 году). Стачка разгромлена, и его ссылают в Туруханский край.

Мне трудно подробнее говорить об этой пьесе. Я не люблю ее, хотя бы потому, что она слишком тяжело отозвалась на всей его дальнейшей жизни. Пьеса получила название «Батум» (первоначально — «Пастырь»). Он написал ее быстро. Только так он мог ее написать, иначе бы не смог. Только быстро. Весной состоялась официальная договоренность с театром, а уже в начале июня у него были готовы первые сцены! В конце июня пьеса была закончена.

Без обычных проволочек с ней познакомились в дирекции МХАТа, а затем (вовсе с невероятной быстротой) в Комитете по делам искусств. Пьесу приняли, одобрили. Но рассказывал мне об этом Михаил Афанасьевич мало, кратко и неохотно.

МХАТ сразу приступил к работе. Немирович-Данченко телеграфировал из-за границы, чтобы ему немедленно выслали пьесу и что он вернется в Москву с готовым планом постановки. В начале августа была снаряжена экспедиция постановочного штаба на Кавказ — в Кутаиси, в Батум. Этаких темпов с пьесами Булгакова никогда не видывали. Лена писала матери в Ригу: «У меня чудесное состояние, и душевное и физическое… Жизнь у нас заполненная, интересная, чудесная… Дрожь нетерпения, ехать хочу безумно, все готово к отъезду». Но незадолго до отъезда у нее в дневнике появляется неожиданная запись: «Утром, проснувшись, Миша сказал, что, пораздумав во время бессонной ночи, пришел к выводу — ехать сейчас в Батум не надо». Это были его последние мучительные сомнения.

Отъезд состоялся, и они уезжали триумфально. Вокруг автора, возглавлявшего экспедицию, весело суетились. Хлопнула пробка шампанского. Поезд тронулся. Кричали «ура», махали руками провожающим. Все были празднично возбуждены… Увы, этого на миг нахлынувшего радостного чувства, что он вновь включен в общее дело, хватило ровно до первой остановки после

Москвы. Об этом неоднократно рассказывали разные авторы, и мне остается лишь повторить, как в Серпухове в вагон доставили телеграмму с кратким извещением, что пьеса… запрещена. Потрясенные мхатовцы, доехав до Тулы, вернулись в Москву.

В Москве они не получили никакого официального разъяснения. Шептались, недоумевали, но ясно было одно, что дело решилось «на самом верху», стало быть, ни о каких запросах не могло быть и речи.

Его первое появление у меня после случившегося трудно забыть. Он лег на диван, некоторое время лежал, глядя в потолок, потом сказал:

— Ты помнишь, как запрещали «Дни Турбиных», как сняли «Кабалу святош», отклонили рукопись о Мольере? И ты помнишь, как ни тяжело было все это, у меня не опускались руки. Я продолжал работать, Сергей! А вот теперь смотри — я лежу перед тобой продырявленный…

Я хорошо запомнил это странноватое слово — продырявленный. Но я понял, о чем он говорит.

Он осуждал писательское малодушие, в чем бы оно ни проявлялось, особенно же если было связано с расчетом — корыстным или мелкочестолюбивым, не говоря уже о трусости.

— Мало меня проучили, — бормотал он сквозь зубы. — Казнить, казнить меня надо!

Он был к себе беспощаден.

Между тем окружавшие его люди, даже самые близкие, рассматривали его поступок как единственный и неизбежный шаг, чтобы существовать дальше. Да, в те годы его поведение никем не осуждалось, оно выглядело вполне нормально и естественно. А теперь, когда я рассказываю, как все было, мне говорят: не надо об этом. Защитники Булгакова (нынче их множество) защищают его… от меня. Не бросаю ли я тень на его безукоризненный писательский образ? «Боги мои! — воскликнул бы Булгаков. — Да не убоялись ли они правды?..»

До чего же нам нужны «праведники»! До чего же мы сами грешны! Поройтесь хоть чуточку в биографиях наших литераторов, вы найдете удивительные вещи, это вам не «Батум»! Мы просто забыли, какие были времена. Даже Ахматова опубликовала в «Огоньке» (в № 36 за 1950 год) цикл стихов «Слава миру» (то есть слава Сталину). Этот вымученный цикл был как бы прошением «на высочайшее имя», чтобы спасти сына, арестованного в 1949 году. Что же говорить о тех писателях, флюгерство которых феноменально. Они по сей день, не стесняясь, гордятся значками государственных премий, которые раньше назывались сталинскими: за что получили — никто не

вспоминает. Все это было для них «нормально и естественно», а для Булгакова обернулось болью. Но он не нуждается в умолчании своего «падения». То, что он пережил, не только не снижает его образ, а, напротив, трагически укрупняет.

Кажется, именно с этого времени он стал носить темные очки, надевая их, когда выходил на улицу. Ему казалось, что все показывают на него пальцем. Старался как можно больше сидеть дома. В театр или ко мне его сопровождала Лена. Иногда я заменял ее. И теперь все дела были возложены на Лену — денежные, театральные. Кроме того, она стучала на машинке, перепечатывая очередную правку его романа («Мои секретные мифы», — невесело пошучивал он).

Тогда ли или немного раньше был объявлен конкурс на составление учебника по русской истории. Он решил принять в нем участие (очевидно, это было в одну из «пауз» после очередной катастрофы). Письменный стол и стулья в его кабинете были завалены книгами. Он погрузился в изучение их и начал писать. Черновики этой неоконченной работы сохранились. Он задумал написать картины из русской истории, художественно выразительные, живые. И был увлечен этим.

Придя ко мне вечером, одетый по-домашнему, в затрапезном лыжном костюме, столь мне памятном, мой Миша Булгаков, прикрыв дверь, спрашивал о новостях, поминутно осведомляясь: «А рядом никого нет?» В период увлечения историей, оживляясь, он рассказывал мне о том, что надумано, и говорил, что у него получится учебник, какого не было, в школе он займет место необходимейшего пособия, и о нем как о писателе станут думать наконец совсем иначе — и все тучи рассеются.

Если случалось, что вдруг появлялся у меня неожиданный гость, он замолкал, односложно участвуя в разговоре и вывешивая из любезности к моему гостю «улыбку номер девять», как я называл его проявление светской учтивости. Прощаясь, он говорил мне обидчиво:

— Благодарю, вот уж не ожидал, что это за тип у тебя сидел?

Как и прежде, когда я заболевал, он спешил ко мне: любил лечить. Болезни у меня по тем молодым годам были несложные — простуда, бронхит. Тем не менее у него был вид строгий, озабоченный, в руках чемоданчик, из которого он извлекал спиртовку, градусник, банки. Затем усаживал меня, поворачивал спиной, выстукивал согнутым пальцем, заставляя раскрыть рот и сказать «а», затем ставил градусник, аккуратно протерев его спиртом, и говорил:

— Имей в виду, самая подлая болезнь — почки. Она подкрадывается как вор. Исподтишка, не подавая никаких болевых сигналов. Именно так чаще всего. Поэтому, если бы я был начальником всех милиций, я бы заменил паспорта предъявлением анализа мочи, лишь на основании коего и ставил бы штамп о прописке.

Градусник показывал 37, встряхивался, и мой лекарь приступал к банкам. Он подсовывал под банку вспыхнувшую наспиртованную вату, накрученную на палочку, часто обжигал меня и тут же назидательно утешал:

— Но зато посмотри, какие банки! Чувствуешь? Завтра будешь здоров!

Я считал его очень мнительным. Он любил аптеки. До сих пор на Кропоткинской стоит аптека, в которую он часто хаживал. Поднявшись на второй этаж, отворив провинциально звякающую дверь, он входил туда, и его встречали как хорошо знакомого посетителя. Он закупал лекарства обстоятельно, вдумчиво. Любил это занятие.

У меня был песик — такса. Звали его Таки-Тяпа, а если перечислить его имя по родословной, то получалось: Таки-Тяпа-Тайту-Тимбукту-Ассурабанипал 2-й Джерри-Чаплин 1-й. К этой родословной Булгаков относился с превеликим уважением. «Хорошая родословная и собаке нужна. Порода — это серьезная штука». И он трепал пса за уши, приговаривая: «Да, брат, вот и наследственные признаки литературной неврастении намечаются». Любовно гладил и тут же бежал мыть руки. А Тяпа опять преданно вертелся возле него — и повторялось: гладил и бежал мыть руки.

Я посмеивался над ним, а он смотрел на меня снисходительно.

— Каждый человек, — говорил он, — должен быть врачом в том смысле, чтобы настороженно относиться ко всем незримым врагам. Их миллионы. Ты невежественный и легкомысленный человек, целуешь собаку в нос.

Когда при встречах он поглядывал на меня таинственно и говорил при этом что-то самое незначительное, я знал, что задумана и начата новая работа. Об этом сообщалось не сразу и спрашивать раньше срока не полагалось. Он сам признавался.

Так, помню, в 1934 году, придя ко мне и понизив голос до шепота, он сообщил:

— Пишу пьесу о Пушкине. Об этому никому. Пьесу о Пушкине, но в ней не будет Пушкина. Понимаешь? Величайшая тайна!

Замысел этой пьесы, видимо, относится к тому времени, когда Булгаков был занят в Художественном театре, помогая Виктору Яковлевичу Станицыну ставить инсценировку Н. А. Венкстерн «Пиквикский клуб». Помню, летом П. В. Вильямс привозил эскизы к этому спектаклю в Свистуху, где я жил, снимая дачу вместе с Виктором Яковлевичем. Это была его первая самостоятельная постановка и первая театральная работа Вильямса. Булгаков — режиссер-консультант — редактировал пьесу и потом сам читал ее труппе, потому что Наташа Венкстерн очень волновалась, а он делал это хорошо.

На прогоне, когда спектакль сдавали Станиславскому, Булгаков выступил и как актер — играл роль президента суда (в 5-й картине 3-го акта). Мольеровский парик украшал его голову. Он сидел на возвышенности и с некоторым раздражением говорил, перебивая свидетеля Сэма Уэллера: «Я попрошу вас не рассказывать мне ни о каком генерале!»

— Это что за актер? — спросил Станиславский, с начала картины приглядывавшийся к неизвестному исполнителю.

— Да это наш Булгаков, — шепотом ответил Станицын и зажег лампочку на режиссерском столике, приготовившись записать замечания.

— Михаил Афанасьевич? — изумился Станиславский. — Ужасно! А у меня и не мелькнуло раньше, что рядом такой актер! Тушите свет, тушите свет, как бы не помешать ему! — И, вытянув голову, радостный, смотрел на сцену.

Я сидел поблизости, через проход, в том же ряду, и все это видел и слышал.

В дальнейшем Булгаков сыграл спектаклей десять. Гримировался он сложно, утолщая нос и губы гуммозом, и перед каждым спектаклем был сосредоточен, относясь к делу со всей серьезностью. Но вскоре ему надоело повторять одно и то же, и он попросил ввести на эту роль другого актера. Мысли его уже были заняты другим.

Именно к этому времени я отношу замысел пьесы о Пушкине. Он начал встречаться с В. В. Вересаевым и договорился с ним о совместной работе. Вересаев, выпустивший очень читаемую тогда книгу «Пушкин в жизни», должен был подготовить материал к пьесе. Вряд ли Булгаков нуждался в соавторстве, но он посчитал себя душевно обязанным пойти на это. В начале 1931 года, когда он оказался в положении «безработного литератора», к нему приехал В. В. Вересаев. Они были знакомы, переписывались, но встречались редко, поэтому визит его был неожидан. В очень вежливой форме Викентий Викентьевич предложил Булгакову взаймы пять тысяч, тут же попросив его не отказываться и не

говорить ненужных благодарностей. «Не сомневаюсь, Михаил Афанасьевич, — сказал он, — что дела ваши вскоре поправятся. А сейчас долгом своим считаю помочь, ибо писатель обязан помогать писателю в беде». Отнюдь не склонный к расточительству и более чем аккуратный в делах денежных, Вересаев высказался в такой безукоризненной, даже несколько старомодной форме, что Булгаков принял у него деньги.

Вскоре долг был возвращен, но поступок Вересаева навсегда остался в памяти. Так возникло это «соавторство», на которое Вересаев согласился с заметным удовольствием. Договор на написание пьесы о Пушкине они совместно подписали с Театром Вахтангова.

Всю работу в дальнейшем Булгаков вел один, Вересаев ограничивался советами. И чем дальше писалась пьеса, тем больше становилась она для Булгакова кровно своей.

В «Пушкине» его интересовало не исследование пред-дуэльной истории. Повторялась, в общем-то, несложная вересаевская версия, но в пьесе возникал тревожный булгаковский мотив, тот же, что и в «Мольере», и в «Мастере и Маргарите». Недомолвки, шепоты, ловушки — вот атмосфера. Бенкендорф едва уловимым намеком говорит Дубельту, что-де дуэль надобно предотвратить, однако же… место дуэли может быть изменено. «Смотрите, чтобы люди не ошиблись, а то поедут не туда». Они поехали «не туда», и дуэль состоялась. У Понтия Пилата происходит, по сути, такая же сцена с начальником тайной полиции. Прокуратор выражает тревогу, что Иуду могут убить, надобно проследить, чтобы с ним ничего не случилось, а начальник тайной полиции понимает, что это значит, и организовывает убийство. Полицейский мотив то и дело прорывается в произведениях, далеких друг от друга по времени и по жанру. Мольер окружен интригами Кабалы святош и предан своим учеником, которому верил. И вокруг Пушкина вьется паутина из доносчиков. Повыше — Бенкендорф, а далее — богомазовы, долгорукие и, наконец, в квартире на Мойке притворившийся часовщиком свой, домашний шпион — Битков. У него появляется странное душевное влечение к Пушкину. Неловко сравнивать Биткова с римским прокуратором, потянувшимся к Иешуа, но у Биткова тоже помутилось в сердце, заколдовали стихи — «Буря мглою небо кроет…»

Свет и тьма, правда и кривда, одиночество гения… Вот ради чего писалась пьеса «Пушкин», и уже нельзя было мириться ни с какими пушкиноведческими советами Вересаева, ни с чьим вмешательством.

Должно быть, сам Вересаев понимал это. В их отношениях

появились нотки нервности и раздражения. Это нашло отражение в их переписке. Она опубликована в «Вопросах литературы» (1965 год, № 3). Но сразу же нужно подчеркнуть, что они пришли к взаимному соглашению, в результате которого Булгаков стал единоличным автором, и это прошло на уровне, достойном таких писателей, как Вересаев и Булгаков.

Незадолго до смерти Лены (в 1970 году) мы с ней разбирали ее дневники. Она их переписала, к сожалению, утратив в ряде мест непосредственность и отдельные факты. Придирчиво читая вместе с ней новую редакцию, я тут же делал пометки в свою книжицу, но Лены не стало, и я не успел довершить эту работу до конца. Тем не менее получилось нечто вроде сжатой литературной хроники о тех событиях, которые разыгрывались на протяжении нескольких лет вокруг пьес «Пушкин» и «Дон Кихот». Вот эта хроника.

1935 год. В феврале Миша читал пьесу у Вересаевых. Русланов (актер Театра имени Вахтангова) советовал назвать пьесу «Пушкин». Название «Последние дни» утвердилось значительно позже, когда пьеса попала в МХАТ. 20 сентября, по записи Лены, Захава (один из вахтанговских руководителей) сообщил, что пьесу наконец разрешили. Будут ставить. Русланову поручена роль Николая I. Илья Судаков (постановщик «Дней Турбиных») извлек пьесу и принес в МХАТ. Кинулись читать. 8 октября (тоже запись Лены) на генеральной репетиции «Врагов» Немирович-Данченко сказал Маркову: «Кланяйтесь в ножки, пусть отдает нам „Пушкина“. — И, обратясь к Мише, спросил: — А вы как полагаете, Михаил Афанасьевич?» Миша ничего не ответил, вежливо раскланялся и отошел. Что-то странное происходит с «Пушкиным»: два театра готовы к бою. И по Пречистенке поползли слухи:

«Пушкин» — это, знаете ли, не так просто! Молодец Мака! Читали? Слыхали? О!..

1936 год. 17 апреля в газете «Советская культура» (сохранилась вырезка) появляется заметка о «Пушкине» — пьесочка-то скроена «драмоделом»! В это же время бухгалтерия МХАТа требует вернуть давно полученный гонорар за «Бег». Директор МХАТа и завлит Рафалович вновь и вновь настаивают на поправках к «Мольеру». Русланов предлагает внести изменения в пьесу «Пушкин». Опубликована статья в журнале «Театр и драматургия» — «Низкопробная фальшивка» (все еще о «Мольере», но с намеком и на «Пушкина»).

1937 год. 22 марта (по записи Лены) Мишу вызвали в суд по иску Харьковского театра о возвращении аванса за пьесу

«Пушкин», поскольку она не значится в числе разрешенных. Захава подтверждает, что разрешение имеется, но никто не может его найти — бумажка… затерялась. А в Репертkоме товарищ М. не может найти нужный экземпляр пьесы. Где же он? Не утащила же его свинья, как у Гоголя?

Наконец нашли. Дали справку. Но работу над спектаклем Комитет почему-то приостановил. Зато харьковские деньги спасены.

В произведении сугубо личном, «Тайному другу» (еще не опубликованном), Миша пишет: «Трагедия машет мантией мишурной».

Кто-то наверху («величайшая тайна») сказал: «Ему надо найти правильную стезю».

А я, встретив в записях Лены фамилию товарища М., ахнул. Так ведь это же он более чем через тридцать лет, работая в Управлении культуры Моссовета, накинулся на спектакль в Драмтеатре имени Станиславского, поставленный по моей пьесе «Ни на что не похожая юность». Я сказал ему: «Помилуйте, товарищ М., да мы с вами, оказывается, старые знакомые — еще с булгаковских времен!» Он очень рассердился. Спектакль все же выпустили. Правда, в результате бурного обсуждения (из-за моей же несдержанности) меня тут же, на совещании, прихватил острый радикулит, и режиссер Лесь Танюк едва приволок меня домой.

Нынче товарища М. уже нет. Хотя до сих пор полным-полно начальничков, от которых зависит судьба рукописи. Особенно ежели автор не достиг нужного веса в чинах и званиях, или не может спрятаться за спину чинопочитаемого, или, наконец, никак не уловит «правильной стези». Словом, хватает еще должностных людей — по инерции чересчур осторожных. И все они терпеть не могут вспоминать о Булгакове…

Между тем «Пушкин», по мирной договоренности с вахтанговцами, перекочевал в МХАТ. Когда это произошло, точно не помню. Знаю только, что примерно через год, в октябре тридцать девятого, когда Булгаков уже был болен, в МХАТе состоялась читка «Пушкина». Читал Хмелев. Высказывали свое восхищение Москвин, Станицын, Горчаков, Хмелев. Судя по стенограмме, пьеса не произвела впечатления лишь на Леонида Мироновича Леонидова. Он сказал, что считает недопустимым, что Пушкин не появляется на сцене. «Отсутствие Пушкина будет очень вредить. Первый акт я еще могу ждать, второй акт я еще могу ждать, второй акт я потерплю без него, но, наконец, в третьем акте — дайте мне его! Чем больше о нем говорят, тем больше мне хочется на него посмотреть… Я убежден, что этот

номер не пройдет». Как известно, «номер» прошел — образ отсутствующего Пушкина предстал в воображении зрителя необыкновенно драматично и возвышенно. Но так или иначе — оставалась ли пьеса еще у вахтанговцев или уже перешла во МХАТ, — все равно денег не было. Пришлось засесть за либретто оперы «Петр Великий», вахтанговцы предложили написать инсценировку «Нана» или «Евгении Гранде». Затем пришел Куза[74] (он занимался репертуарными делами Театра Вахтангова) и предложил сделать инсценировку «Дон Кихота». Показалось заманчивым. Директор театра Ванеева говорила об этом в Комитете, но там были недовольны. «Ну, знаете, теперь „Дон Кихот“! Зачем? Вот именно — зачем? Написал бы он лучше, что-нибудь современное, героическое». Тем не менее в декабре (по записи Лены, 4-го) согласились подписать договор. Торговались, чтобы взял поменьше (в Комитете-то не одобряли, сплошной риск!). Сошлись на том, что выплачивать будут малыми порциями. Начал работать. В доме появляются странные люди. Вот какой-то Доброницкий. Намекает, что имеет «влияние». Складывает ручки в восхищении: «Такой драматург, как вы… Подумаем, подумаем… И вы увидите, что скоро…» А затем исчез, как будто ветром его сдуло.

1938 год. Мучительное напряжение с Вересаевым, который опять начал предлагать свои варианты переделок «Пушкина». Отдать пьесу на растерзание Булгаков не может, хотя продолжает чувствовать внутренние обязательства к своему «соавтору». Но в МХАТе дело с постановкой не двигается. Он, стараясь не нервничать, ждет. Пишет «Дон Кихота». В перерывах то и дело возвращается к «Мастеру и Маргарите». Но ведь вахтанговцы выплачивают «малыми порциями»?.. И я застаю его танцующим в лиловом халате. Пишется либретто для балета. Приехал из Ленинграда художник Николай Радлов и сказал ему: «А ведь ты конченый писатель, ты бывший писатель».

Летом «Дон Кихот» завершен. В сентябре (по записи Лены, 4-го) слушали у него дома — Горюнов, Куза, Рубен Симонов[75], Ремизова. Очень понравилось. Но как посмотрит начальство? Под каким соусом подать? Труппе читать отказался, не захотел подвергать себя еще одной травме. Отдал несколько экземпляров — читайте и разговаривайте. Через несколько дней (по записи Лены, 14-го) пришли вторично слушать пьесу (кроме прежних — Захава, Глазунов, Орочко, Рапопорт и другие). Очень оживились. Тут же предложили построить дачу. Нужна дача? Пожалуйста дачу, нам уже отпущены участки. Не нужна? А то мы насчет дач дадим сто очков вперед МХАТу.

Началось шевеление вокруг «Дон Кихота». Приехал из

Ленинграда Н. П. Акимов (главный режиссер Театра комедии), разговаривал осторожно: «Надо подумать… гм… Однако же, Михаил Афанасьевич, вы ни с кем в Ленинграде не заключайте договора, только со мной». Горюнов вздыхал в телефон, жалуясь на скудость репертуара, и заверял, что «Дон Кихота» они пробьют, несмотря на то, что Репертком пока что молчит. Звонили из МХАТа — как бы познакомиться с «Дон Кихотом». При встрече Марков пожимал плечами: «Помилуйте, Михаил Афанасьевич, кому отдаете? Дон Кихота-то у них нет!» Куза сообщил, что в театре прочли первый том романа Сервантеса, а руководство уже говорило с начальством. Можно надеяться, что все окончится благополучно. Звонили из ТЮЗа — давайте поскорее детский вариант. Потом на некоторое время телефон замолк. Приезжал И. О. Дунаевский по поводу либретто для оперы «Рашель» (по Мопассану). Приятно улыбался, маленький, вежливый, тогда король всех наших композиторов. Сумбуры в музыке вызывали гнев. А он был автором веселых, бодрящих песенок, в самый раз народу «от Москвы до самых до окраин, где так вольно дышит человек». Писал их легко и талантливо и, несмотря на свою всесоюзную общепризнанность, держался с обвораживающей почтительностью, восхищался либретто («Легко ложится на музыку, ах, Михаил Афанасьевич, это так редко бывает»), но оперу «Рашель» не написал. И больше не появлялся.

Наконец объявился Горюнов и сообщил, что Репертком не против пьесы. «Но мне нужна официальная бумажка!» Решили ехать в Репертком скопом. Но Репертком выехал в Ленинград (тоже скопом). Как раз в эти дни появился страховой агент, пламенно убеждая: «Страхуйте жизнь! Страхуйте, страхуйте!» Миша отказывался, и тогда агент развернул перед ним живую картину, как в один прекрасный день он погибнет, но семья его будет спасена, потому что он был застрахован. Вот оно, бессмертие, если вы на другое не рассчитываете… Куза сообщил в возбуждении, что Дживелегов в восторге от пьесы и вообще все в восторге, но Репертком еще в Ленинграде, нужно терпеть и ждать.

Наконец назначено заседание в Реперткоме (по записи Лены, 4 ноября). Ждали Кузу до трех часов, потом пошли обедать в Союз писателей. Позвонил Чичеров из драмсекции: «Где Михаил Афанасьевич?» Видимо, Куза нарочно не пришел за Булгаковым в назначенное время, и вахтанговцы отправились в Репертком без него, чтобы не раздражать реперткомовцев присутствием строптивого автора. И, видимо, поступили правильно. На следующий день Куза сообщил, что пьеса разрешена. И в Комитете тоже. Была получена бумажка с приложением всех надлежащих подписей и печати, и (по записи Лены, 10-го) он

читал пьесу труппе. Встретили аплодисментами. Кричали: «Обсуждать нечего! Ставить! Ставить!»

Кажется, это происходило в то время, когда разыгрались события с пьесой «Батум». И мало ли что еще могло произойти, а посему у вахтанговцев с «Дон Кихотом» на всякий случай опять все притихло. В «Советском искусстве» появилась статейка о пьесе Э. Миндлина «Сервантес». Пьесу расхваливают и намекают на некоего сочинителя, состряпавшего очередную — сотую — инсценировку «Дон Кихота». Подпись — А. Кут. Кто такой А. Кут? Псевдоним? Наверно. «Заметь, вокруг меня так и кружат псевдонимы, и от них некуда спрятаться», — говорил мне Булгаков, и он не шутил.

Вот и декабрь на исходе. Тяжелый год. В столовой раскачивается люстра. Что происходит наверху? Кто там живет? Болит голова. Приходится принимать тройчатку.

И все же, вопреки всему, в суете нескончаемо тянущейся резины театральных дел, выматывающих душу, он при первой возможности возвращается к работе над «Мастером и Маргаритой». Исправлял, обдумывал, наметил эпилог, и в воображении постоянно возникал Воланд, тот самый «князь тьмы», каравший лжецов, доносчиков и мелких стяжателей. Он появлялся «на каменной террасе одного из самых красивых зданий в Москве», с ним были его развеселые спутники. «Они не были видны снизу, с улицы, так как их закрывала от ненужных взоров балюстрада с гипсовыми цветами. Но им город был виден почти до самых краев». Воланд прощался с Москвой.

Когда Лена уехала с Сережей в Лебедянь, он продолжал диктовать роман Ольге Сергеевне Бокшанской[76], ее сестре, и регулярно писал Лене: «Ольга печатает быстро. Не хочется ни на день бросать роман». В другом письме: «Мы пишем по многу часов, и в голове тихий стон утомления, но это утомление правильное, не мучительное… Остановка переписки — гроб». И еще: «Диктуется 24-я глава. Что будет? — ты спрашиваешь. Не знаю. Вероятно, ты уложишь его в бюро или в шкаф… и иногда будешь вспоминать о нем. Впрочем, мы не знаем нашего будущего».

И хотя все еще было сделано не совсем «набело», но роман приобрел такой вид, что ему захотелось прочитать его своим друзьям. Из мхатовцев он позвал тех, кого считал наиболее близкими.

Чтение продолжалось в течение нескольких вечеров. Слушали его с изумлением. Еще бы! Неожиданность каждой новой главы ослепляла… Но потом некоторые говорили мне шепотком: «Конечно, это необыкновенно талантливо. И, видимо,

колоссальный труд. Но, посудите сами, зачем он это пишет? На что рассчитывает? И ведь это же может… навлечь!.. Как бы поосторожнее ему сказать, чтобы он понял. Не тратил сил и времени так расточительно и заведомо зря…»

Я не передал ему ни одного слова из этих «дружеских» советов. Тогда говорили испуганно, сокрушаясь, что «заведомо зря», а теперь слышу восторженные воспоминания о незабываемом чтении поразительного романа…

1939 год. Оказывается, нужно новое разрешение на сокращенный вариант «Дон Кихота». Товарищ М. обещал, что «виза» будет дана тотчас же, как только пришлют окончательную редакцию пьесы. Хорошо, будет прислана. Рубен Симонов сообщал, что ставить будет он. И сам будет играть Дон Кихота, а Горюнов — Санчо Пансу. «Не беспокойтесь, что я (Симонов) недостаточно высок ростом, будут сделаны огромные каблуки, а Горганов — низенький, толстый». И еще звонок: «Зайдите в Комитет, в кабинет тов. Н., стоит вопрос о постановке „Дней Турбиных“ в Англии. Историю затеял кто-то из ВОКСа. Дело в том, что „Дни Турбиных“ идут там в искаженной редакции. Автора бы послать, чтобы проверил текст…» Миша сказал Лене: «Знаешь что? Напиши, что я очарователен и что ты меня любишь, несмотря на то, что они никогда не увидят меня на родине Шекспира».

Ого! Но дело-то двинулось! Подписан договор с Вильямсом на оформление «Дон Кихота» (по записи Лены, 5 марта). Между тем Вересаев собирает совещание с пушкинистами. Те приходят в ужас, потому что Дантес в преддуэльные дни не мог появиться в доме Пушкина, а в пьесе появляется. Но Вересаев, пользуясь своим авторитетом пушкиниста, отбил атаку, говоря о неизбежности вымысла и условности в драматическом сочинении.

Похоже, что и в МХАТе зашевелилось. Ольга Бокшанская, сестра Лены и секретарь Немировича, перепечатывает в две закладки «Пушкина». Грандиозно! До слез!.. Но из Комитета сухо: «Не торопитесь с „Пушкиным“, не время. Ведь вы же Ху-до-жественный театр! И зачем Булгаков? У нас битком пьес». Перестали торопиться. Тогда он сам отправился в Репертком. Товарищ М. испугался: «Что это вам вздумалось? Видите ли… просто от автора мы пьес не принимаем. Через театр, Михаил Афанасьевич, только через театр…» Вернулся домой нахмуренный и тут же написал письмо Кузе: будут, в конце концов, ставить «Дон Кихота» или нет? На следующий день позвонил И. М. Рапопорт:

«Ставить буду я. Рубен болен, но будет играть Дон Кихота. Начали делать изумительные колодки для каблуков». А еще через

день звонил Куза, ликующе восклицая: «Ставим, ставим! Каблуки получаются фантастические. Дон Кихот будет высок и длинен, как нигде в мире!..» И тут же — грозный звонок из Реперткома: «Надо пересмотреть текст инсценировки „Мертвых душ“, товарищ Булгаков! Прошло семь лет со дня премьеры, а тут как раз изменилось отношение к Гоголю… Что? Не слыхали?.. О, напрасно!.. Что изменилось? По телефону нельзя… В точности неизвестно. Но — улавливаем».

— У меня такое чувство, — говорил Булгаков, — как будто я верчусь на одном месте, а кругом — канцелярии, канцелярии, и мне непрерывно нужны какие-то бумажки с печатями, подписями. На миг появляются люди, вроде бы и симпатичные, но тут же расплываются, исчезают, и не уловить их, не поймать, и ходишь как одураченный…

Вот и зима минула, дело шло к весне, к лету. И уже была написана мучительная пьеса «Батум». К ее истории хотелось бы добавить кое-что из дневника Лены.

Она записала, что при первой читке хлынул дождь и разразилась гроза. Затем начались читки и читки. Калишьян (в ту пору директор МХАТа) в эмоциональном порыве вычеркнул из договора пункт, по которому автор обязан вносить поправки и переделки. Великолепно улавливающий звук времени, Немирович, как я уже упоминал, телеграфировал из-за границы, торопя с присылкой пьесы. Шум разрастался. В театре окружали капельдинера Ситко, и тот нес околесицу, рассказывая о «Батуме». Яков Данилыч, знаменитый метрдотель ресторации Дома актера, потрясая своей ассирийской бородой, шепотом сообщал посетителям, что Михаил Афанасьевич написал… но, тсс… «пьеса особая». Звонили из «Советского искусства»: «Товарищ Булгаков, просим у вас информацию… хотя бы самую, самую краткую…» Однажды в Художественном театре к Лене подошел мужчина и представился, что он муж Дуси Виноградовой и что если ему дадут какую-либо из запрещенных пьес Михаила Афанасьевича, то Дуся в один миг провернет ее в Кремле. Мужчина напрашивался в гости, но Лена, следуя неизменным установлениям Миши, к себе в дом его не пригласила. Мужчина сгинул навечно.

Но вот назначили официальную читку «Батума» в Комитете! Собралось все руководство, очень торжественно, важно. И во время читки опять разразилась гроза. Затем организовали читку на открытом заседании Свердловского райкома (в МХАТе). На воротах театра висела рукописная афиша. Издали громыхнул гром. Миша попросил, чтобы ему дали это объявление на память. «Помилуйте, Михаил Афанасьевич, такие ли афиши будут!» Во

время читки гроза разыгралась, будто ударила над самой крышей театра, и хлынул дождь. Буквы на афише потекли.

Что-что, а о грозе Лена, конечно же, записала в дневник. Михаил Афанасьевич любил говорить, что вокруг него нет-нет, да и завертится какая-нибудь эдакая чертовщина. Впрочем, может быть, он был прав, когда говорил, что мир, лишенный тайн, становится плоским и безнадежным? Он хотел, чтобы была тайна. Чтобы было «чудо».

Увы, «чуда», как известно, не произошло. Телеграмма, полученная в Серпухове, была обыкновенной реальностью.

Однако и в это время он продолжал работать над романом. Возникали новые сцены. Появился Левий Матвей и его разговор с Воландом, где произнесены слова, очень важные для смысла всего произведения: «Он не заслужил света, он заслужил покой». Это было сказано про Мастера, но, может быть, это был суд Булгакова над самим собой?.. Правка касалась главным образом последних глав (30-й, 31-й, 32-й), и написан эпилог. Исследуя черновые тетради Булгакова, Мариэтта Чудакова приходит к выводу — и, ежели «по науке», то есть по датам, то, видимо, права, — что завершение романа произошло в мае-июне 1939 года. Но это был не конец работы, смею уверить, роман продолжал мучить его, особенно последние главы. «Там есть длинноты, что-то лишнее, и что-то важное упущено», — говорил он, то и дело вороша страницы.

Но он устал, он очень устал.

Не просто устал — уже был болен. Прислушивался к внутреннему процессу болезни, хотя не выказывал этого. Иногда жаловался: «Да, пожалуй, чувствую себя неважно». А раньше поболеть любил — и чтобы Лена за ним поухаживала. Вообще они любили неопасно поболеть друг перед другом. Она не меньше его. А теперь он стал сдерживаться. Нехороший признак.

…И хотя он уже давно был отрешен от каких-либо писательских дел, все, что происходило тогда у нас в литературе, продолжало не только интересовать, но и непосредственно задевать его. Помню, в один из жарких летних дней он вдруг позвонил мне и, сказав, что он «в мраке», попросил зайти к нему.

Лена с Сережей находились на даче, в Загорянке, он был один. Квартира действительно погрузилась в полнейший мрак: окна наглухо зашторены, в кабинете горела свеча. Он отворил мне дверь, буркнул «проходи» и вернулся в кабинет. «Садись, вон туда». И сам уселся за стол. В ночной сорочке и пижамных штанах, он склонился над столом, искоса поглядывая на меня.

— Что случилось? — спросил я.

— А ничего. Нахожусь в унынии и в размышлениях.

— По поводу чего?

— Да вот, с классиками не то получается. Не на кого опереться.

— Не понял.

— Сейчас поймешь. Ну-ка, подвинься. Видишь — «Литературное наследство». Старый номер. Тридцать первый год. Первая книжка. Издана, представь себе, РАППом. Во как! Редактор — Леопольд Авербах[77]. Да-да, тот самый. Главный воитель со всяческой крамолой. Ха! А опубликованы там неизданные очерки Салтыкова-Щедрина. Рылся сегодня в старье и вдруг натолкнулся. Изволь послушать. Речь тут идет о некоем Младе-Сморчковском. Он выпрыгнул через стену из тюрьмы и вскоре достиг необычайных начальственных высот. До него был тоже Младо-Сморчковский и почитался первым, но помер, весьма оплаканный своими подчиненными. Но так как он помер, то новый Младо-Сморчковский объявил первым себя.

И никто не возражал. Это оказалось вполне справедливым, ибо его действия поистине поразили современников своей громадностью. Зачитываю некоторые из его предначертаний. Что же он сделал? *Во-первых,* сочинил статистику, причем, оказалось, против прежнего всего вдвое и втрое; *во-вторых,* увеличил доходы, открыв для них новый источник в неистощимой мужицкой спине; *в-третьих,* обеспечил народное продовольствие, наблюдая, дабы обыватели отнюдь не потребляли сверх действительной надобности; *в-четвертых,* улучшил пути сообщений, не довольствуясь дорогами известными и существующими, но бесстрашно пролагая пути даже там, куда до того времени не ступала нога человеческая; *в-пятых,* обуздал газетчиков и писателей; *в-шестых,* обуздал дух своеволия, а поборников устности и гласности разослал по городам; *в-седьмых,* обуздал лжеучения. Узнав, что в одном городе существует вредная секта, собрал последователей оной и предложил им оставить свои заблуждения. Что ими и было в точности выполнено. *В-восьмых,* обуздал невежество, назначив краткие сроки для приобретения полезных знаний; *в-девятых,* обуздал безнравственность; *в-десятых,* вообще обуздал обывателей.

Закончив чтение, Булгаков посмотрел на меня и вздохнул:

— Ну, каков Михаил Евграфыч? И ведь печатают! А как не печатать? Зачислен в святцы борцов за передовые идеи! Лопнуть можно от зависти!.. Эх, классики, классики! И еще жаловались, что пишут в намордниках! А нам, а мне что дозволено? Не писать ли стишки вроде таких:

«Птичка божия не знает
Ни заботы, ни труда,
Все по веточкам порхает —
То туда, а то сюда…»

Тут он взорвался:
— К чертовой бабушке! Не согласен!

Пожалуй, это был один из моих последних разговоров с ним о литературе.

Приближался конец.

Осенью 1939 года он с Леной уехал в Ленинград. Дел у него там не было. Просто хотелось пожить в гостинице бездумным и праздным путешественником. Побродить по городу. Без суеты. Посидеть в ресторане. Спать сколько влезет. Не звонить знакомым. Лишь в крайнем случае. И прожить там как можно дольше. Но это не удалось сделать.

В Ленинграде болезнь его открылась. Резко ослабло зрение. Врачи определили остро развивающуюся высокую гипертонию. Он знал, что это склероз почек, и знал, к чему это должно привести. Ему посоветовали возвращаться в Москву. В Москве его уложили в постель.

Я пришел к нему в первый же день после их приезда. Он был неожиданно спокоен. Последовательно рассказал мне все, что с ним будет происходить в течение полугода — как будет развиваться болезнь. Он называл недели и месяцы и даже числа, определяя все этапы болезни. Я не верил ему, но дальше все шло как по расписанию, им самим начертанному.

Воспользовавшись отсутствием Лены, он, скользнув к письменному столу, стал открывать ящики, говоря:

Смотри, вот папки. Это мои рукописи. Ты должен знать, Сергей, где что лежит. Тебе придется помогать Лене.

Лицо его было строго, и я не посмел ему возражать.

Но имей в виду, Лене о моих медицинских прогнозах — ни слова. Пока что — величайший секрет. — И снова скользнул в постель, накрывшись одеялом до подбородка, и замолк.

В передней послышались голоса. Вернулась Лена и застала нас, разговаривающих о разных разностях, не имеющих отношения к его болезни. На ее вопрос, как он себя чувствует, ответил:

Неважно, но ничего!

Я бывал у него каждый день. Пытаясь восстановить факты его жизни, предложил игру в навязчивого журналиста, приставшего с вопросами к знаменитому писателю.

Ты хитришь, — сказал он, но игру принял.

В дальнейшем она развлекала его, и я записал несколько таких шуточных бесед, состоявших из вопросов и ответов. Несколько листков случайно сохранилось. Вот эта запись:

«**Он.** Мне непонятно все-таки, уважаемый товарищ, зачем вы ко мне пристаете?

Я. Мировому человечеству интересна каждая подробность вашей жизни.

Он. Я согласен, это так. Но я обязан все же по благородству своего характера предупредить вас… (Тут он прищурился и добавил.) — Я, дорогой мой, „не наш“ человек.

Я. Быть может, как раз поэтому вы и представляете особый интерес?

Он. (уже с непритворным негодованием). Это отвратительно, что вы говорите, голубчик! Я наш человек, а „не наш“ — это я сам выдумал, сам подстроил.

Я. Простите, не понял.

Он. Вчера вы допрашивали меня о начале моего литературного пути.

Я. Совершенно верно. Я весь внимание.

Он. Именно тогда я и подложил себе первую свинью.

Я. Каким образом вам удалось это сделать?

Он. Молодость! Молодость! Я заявился со своим первым произведением в одну из весьма почтенных редакций, приодевшись не по моде. Я раздобыл пиджачную пару, что само по себе было тогда дико, завязал бантиком игривый галстук и, усевшись у редакторского стола, подкинул монокль и ловко поймал его глазом. У меня даже где-то валяется карточка — я снят на ней с моноклем в глазу, а волосы блестяще зачесаны назад. Редактор смотрел на меня потрясенно. Но я не остановился на этом. Из жилетного кармана я извлек дедовскую „луковицу“, нажал кнопку, и мой фамильный багет проиграл нечто похожее на „Коль славен наш Господь в Сионе“. „Ну-с?“ — вопросительно сказал я, взглянув на редактора, перед которым внутренне трепетал, почти обожествляя его. „Ну-с, — хмуро ответил мне редактор. — Возьмите вашу рукопись

и займитесь всем чем угодно, только не литературой, молодой человек“. Сказавши это, он встал во весь свой могучий рост, давая понять, что аудиенция окончена. Я вышел и, уходя, услышал явственно, как он сказал своему вертлявому секретарю: „Не наш человек“. Без сомнения, это относилось ко мне.

Я. И вы считаете, что этот случай сыграл роковую роль во всех ваших дальнейших взаимоотношениях с редакциями?

Он. Взгляните, голубчик, на этот случай шире. Дело в моем характере. „Луковица“ и монокль были всего лишь плохо придуманным физическим приспособлением, чтобы побороть застенчивость и найти способ выразить свою независимость.

Я. Последуем дальше. Что привело вас в театр?

Он. Жажда денег и славы. Затаенная мечта выйти на аплодисменты публики владела мною с детства. Я во сне видел свою длинную шатающуюся фигуру с растрепанными волосами, которая стоит на сцене, а благодарный режиссер кидается ко мне на шею и обцеловывает меня буквально под рев восторженного зрительного зала.

Я. Позвольте, но при возобновлении „Турбиных“ занавес раздвигался шестнадцать раз, все время кричали „автора!“, а вы даже носа не высунули.

Он. Французы говорят, что нам дарят штаны, когда у нас уже нет задницы, простите за грубое выражение. (И подозрительно.) А вы не из французской ли газеты?

Я. Нет.

Он (вкрадчиво). А может быть, из какой-нибудь другой иностранной, а?

Я. Нет, нет… Я из русской.

Он. Не из рижской ли, белоэмигрантской? (И он угрожающе поднял кулак.)

Я. Избави бог! (Я отмахнулся в ужасе.) Я из „Вечерки“! Из прекрасной, неповторимой „Вечерки“ нашей!

Он. Ура! Ура! Тюпа! Люся! Скорей! Водку на стол! Пускай этот господин напьется в свое полное удовольствие! Мне отнюдь не грозит опасность, что он напечатает обо мне хоть одну строчку!»

На столике у постели появлялось все больше лекарств. Все чаще ходили врачи. Их было несколько. Мхатовский врач Иверов

совсем примолк в окружении светил. Они выходили от него растерянные. Он сам себе поставил диагноз, и ничего нельзя было от него скрыть. Однако они еще долго шушукались в коридоре, прощались с Леной, ободряя ее, уходили.

Лицо его заострилось. Он помолодел. Глаза стали совсем светло-голубые, чистые. И волосы, чуть встрепанные, делали его похожим на юношу. Он смотрел на мир удивленно и ясно.

Очень часто заходили друзья — Дмитриев, Вильямс, Борис Эрдман (брат Николая Робертовича, художник), забегал Файко, живший по соседству, на той же лестничной площадке. К постели больного приставлялся стол. Мы выпивали и закусывали, а он чокался рюмкой с водой. Он настаивал, чтобы мы выпивали, как раньше бывало. И для нашего удовольствия делал вид, что тоже немного хмелеет.

Но вскоре эти посиделки кончились. Они стали трудны для него.

Когда он меня звал, я заходил к нему. Однажды, подняв на меня глаза, он заговорил, понизив голос и какими-то несвойственными ему словами, стесняясь:

— Что-то я хотел тебе сказать… Понимаешь… Как всякому смертному, мне кажется, что смерти нет. Ее просто невозможно вообразить. А она есть.

Он задумался и потом сказал еще, что духовное общение с близким человеком после его смерти отнюдь не проходит, напротив, оно может обостриться, и это очень важно, чтобы так случилось…

— Фу ты, — перебил он сам себя, — я, кажется, действительно совсем плох, коли заговорил о таких вещах. Ты не находишь?

— Не нахожу, — буркнул я и тревожно подумал: «Какое у него доброе лицо. Как у ребенка».

Без сомнения, он понимал, что с ним происходит, и готовился к последним физическим страданиям. Это подтверждалось и тем, что, когда мозг его был еще светел, он вызвал свою любимую младшую сестру Лелю (Елену Афанасьевну, по мужу Светлаеву) и шепнул ей, чтобы она разыскала и попросила заехать к нему Татьяну Николаевну Лаппа. Это была его первая жена, с которой он разошелся давно, в 1925 году, уйдя к Л. Е. Белозерской.

Через несколько дней Леля сообщила ему, что Татьяны Николаевны в Москве нет, она, по-видимому, давно уехала и где живет — неизвестно. Зрение у него ухудшалось с каждым днем, и слушал он Лелю напряженно. Он знал, что где-то рядом стоит

Лена, и невидящий взгляд его был виноватый, извиняющийся, выражал муку. Лена спросила его с печальной укоризной:

— Миша, почему ты не сказал мне, что хочешь повидать ее?

Он ничего не ответил. Отвернулся к стене. Должен сказать, что я не только никогда не видел Татьяну Николаевну, но и до сих пор очень мало знаю о ней. На мои расспросы Булгаков всегда отвечал коротко, даже как-то сердито, с недовольством, уходил от разговора. Естественно, пришлось молчать. Знаю только, что он женился еще студентом, в 1913 году, а после окончания университета вместе с ней отправился в село Никольское земским врачом, что с нею вернулся в Киев и они, тоже вместе, прошли все годы гражданской войны. Она была рядом и в Киеве, и когда отступали с деникинцами на юг, и когда бежали от них, он лежал в тифу, а потом оба мыкались во Владикавказе…

Это был сложнейший период его жизни, и не только в житейском смысле (голод, нищета, бесприютность, малоудачные и случайные литературные опыты). Сложность заключалась в том, что надо было разобраться в тех событиях, в гуще которых он очутился. Надо было многое понять и прежде всего понять самого себя. От «деникинского балагана» он отвратился, но осознание полнейшего краха интеллигенции, связавшей свою судьбу с белым движением, как впоследствии он показал это в «Днях Турбиных» и в «Беге», пришло не сразу. Должно быть, свой внутренний идейный путь Булгаков прошел не однозначно. Попытка более подробного рассказа была бы с моей стороны по меньшей мере не достоверной. Я могу лишь об этом догадываться. Он не знал, что Анна Андреевна Ахматова уже написала:

Мне голос был. Он звал утешно,
Он говорил: Иди сюда,
Оставь свой край, глухой и грешный,
Оставь Россию навсегда.
<…>
Но равнодушно и спокойно
Руками я замкнула слух,
Чтоб этой речью недостойной
Не осквернился скорбный дух.

Строки эти написаны в 1917 году, в полуголодном, испуганном Петрограде, в перепутанице литературных ссор и разрывов между недавними единомышленниками, а его мотало из стороны в сторону, он находился в самой гуще «грешной России», воочию видел ее, хлебнул досыта. И как знать, может

быть, когда он очнулся в Батуме, где под покровом ночи уходили в море шаланды контрабандистов, не подкрадывались ли к нему разные мысли? Ведь пробраться в Турцию из Батума было тогда, пожалуй, легче, чем в Москву. Были ли колебания? Допускаю и это.

Но он принял твердое решение — в Москву! И коли решил, то, как всегда на крутых поворотах, действовал, отбросив какие бы то ни было размагничивающие сомнения. Только в Москву, хотя все там было для него загадочно и зыбко! В Москву, потому что уже мерцала там молодая русская литература! Ветер доносил ее и сюда… В Москву! Только в Москву! Это решение определило его судьбу, и именно оно сделало его писателем.

Вскоре, вслед за ним, уехала Татьяна Николаевна. Едва уцепившись за московский быт, он тотчас позвал ее, и началась их новая жизнь, неуютная еще, но с ощущением, что кочевье кончилось. Он превратился в репортера, в фельетониста, в газетчика, и дела его постепенно закрутились. А главное, как я уже упоминал, в этот период был начат и закончен роман «Белая гвардия».

Можно проследить по газетам, как постепенно исчезал фельетонист Булгаков. Если в 1923–1924 годах в одном «Гудке» (по приблизительным подсчетам) он опубликовал 57 фельетонов, то далее они попадаются все реже. В издательстве «Недра» вышла книга его рассказов «Дьяволиада», начал печататься роман. И вот уже появился не фельетонист, а писатель Булгаков.

Он сразу оказался не только в центре шумливой толкотни преуспевающих молодых литераторов, но и попал в среду «сменовеховцев», бывших эмигрантов, нахлынувших из Парижа и Берлина. Вернулся на родину А. Н. Толстой с группой профессоров, писателей и журналистов. Нетрудно представить себе, каким контрастом ошеломило его все это общество после полунищего существования (ах, боже мой, и ненавистного «коммунального» быта, связанного с ней, с Т. Н. Лаппа!). Не воспринимайте мой невольный укор другу как свидетельство очевидца, я тогда еще не был знаком с Булгаковым. Тем не менее предположения мои не вызывают у меня сомнений. В повести «Записки покойника» («Театральном романе») он изобразил сатирически (и очень смешно) один из литературных обедов, на котором наши писатели чествовали своих знаменитых коллег, вернувшихся на родину. Среди них могла быть и Любовь Евгеньевна. В повести он не упомянул о ней, но, думаю, он увидел ее впервые именно в этом окружении. Она явилась перед ним поистине как из другого мира!..

Свои черновые записки о Булгакове (в отрывках

опубликованные в журнале «Театр» еще в 1966 году) я прежде всего прочитал Лене и сказал ей, что она для меня решающий цензор и может вычеркивать все, что покажется ей неверным[78], не дай бог, выдуманным или бестактным. Она попросила меня лишь об одном: как можно короче написать о Л. Е. Белозерской. Даже малейшее нелицеприятное суждение о ней с моей стороны непременно будет рассматриваться как подсказанное Леной. «Кроме того, — говорила Лена, — Люба все-таки добрая женщина и никогда не упрекнет тебя в неблагородстве только за то, что ты любил Мишу и стал моим, а не ее другом. И ведь она знает, как много ты пережил за эти годы. Разве этого недостаточно, чтобы понять, что твоя жизнь в Мансуровском кончилась? Все стало у тебя по-другому. Может быть, и ты сам стал немного другим. Нет-нет, я уверена, что она поняла, как, я думаю, поняла Марика, ведь она поняла?»

Лена! Я помню твои слова и вычеркнул все лишнее, написанное в запале, ибо не мог не защищать тебя, когда Миша ушел к тебе, перестал быть Макой и Масей-Колбасей, а про тебя говорили бог знает что. Ты многого не знала, но тебя, конечно, больно укололо, что большинство «пречистенцев» перестало бывать в твоем доме. До войны я продолжал встречаться с Любовью Евгеньевной (она часто заходила к нам, потому что дружила с Марикой, моей прежней женой), но холодок между нами все более чувствовался. Как видишь, я рассказал о ней очень сдержанно, стараясь не произнести ни одного неосторожного слова. И если прорвалась кое-где ирония, то считай, что это от дурной склонности моего ума; за внешним — подсматривать подкладку. Повинен в этом. Но теперь, когда тебя не стало, что-то окончательно надорвалось в моем отношении к ней.

В шестидесятые годы вновь возникло имя Булгакова, и оно прогремело, как внезапно налетевший вихрь. Это была не запоздалая реабилитация автора «Дней Турбиных» и запрещенного «Бега». Это было поразительное явление большого и неповторимого писателя, дотоле совсем неведомого читателю. Через двадцать лет после его смерти! Думаю, Любовь Евгеньевна лишь тогда до конца осознала, с кем ей пришлось прожить несколько лет. Пусть она на меня не обижается, но ведь это, пожалуй, так и было? От нее уходил не автор, сверкнувший лихо «Днями Турбиных», а притихший «неудачник», сочинявший заказные пустяки. Слава его меркла. И, уж во всяком случае, роман «Мастер и Маргарита» в своем завершенном виде должен был ее поразить не меньше, чем любого постороннего читателя. Но пока ты была жива, она ни единым словом не напоминала о себе. Лишь в семидесятые годы, когда тебя не стало, я вдруг

получил из редакции журнала «Театр» два письма, написанные ею. В них она опровергала сообщения Левшина, вспоминавшего о квартире на Большой Садовой, в которой проживал Булгаков в первые годы его московской жизни. Естественно, я не могу подтвердить правдивость фактов, рассказанных Левшиным, но писал он о Булгакове с большой теплотой. А вот письма Любови Евгеньевны меня огорчили: не содержанием, а тоном. Появилась новая «вдова» Булгакова, вдруг засуетившаяся. Она заявляла и о своих правах на безапелляционное суждение. Первое письмо было подписано — Л. Белозерская, второе — Белозерская-Булгакова. Затем стали появляться отдельные ее «публикации» в самых неожиданных местах.

Вряд ли она могла свидетельствовать о жизни Булгакова на Садовой, скорее всего, даже не видела «максудовской» комнаты. До переезда к застройщику на Большую Пироговскую жила с Булгаковым во флигеле в Обуховском переулке. И уж никак не участвовала в его скитаниях в годы гражданской войны, была в эмиграции — в Константинополе, в Париже, в Берлине. Тем не менее в журнальной публикации «Белая гвардия» посвящена ей! И когда этот роман переиздавали в однотомнике избранной прозы («Художественная литература», 1966 г.), Лена не колеблясь сохранила посвящение. «Я оставляю его, потому что оно сделано рукой Миши», — говорила она, хотя прекрасно понимала, что роман написан о том времени, которое неразрывно связано с первой его женой, с Татьяной Николаевной Лаппа. Они разошлись после двенадцатилетней совместной жизни, и самое мучительное было то, что произошло это, когда все самое трудное, казалось, было уже позади, дела его пошли в гору.

Совершался первый волшебный взлет Булгакова! Его имя становилось популярным. И уже возникали шумные «Дни Турбиных». Молодой автор был в легком угаре от успеха. Москва времен нэпа распахнула перед ним все свои мнимые соблазны. Даже рулетку в казино на Триумфальной, где вертелось коварное колесо счастья! И все это доступно — после стольких лет тягостных будней!.. Но не это главное. Другое, гораздо более важное, околдовало его — то, что Герцен назвал «кружением сердца», когда отступает разум, умолкает совесть и не хочется оглядываться назад. В таких случаях не очень я верю в «объяснения», и все-таки можно было найти бережные, прямодушные слова, обращаясь к близкому человеку, с которым было так много пережито. Не можно было — надо было! И еще это «посвящение»! Подведена черта. Конец. На Большой Садовой номер журнала с посвящением выброшен в коридор…

Мой бедный Миша! Он как-то лишь мельком обмолвился об

этом, уклоняясь от дальнейших расспросов о Татьяне Николаевне. Но я убежден, она продолжала жить в нем потаенно — где-то в глубине, на дне его совести — и как ушедшая первая любовь, очищенная в воспоминаниях, и как укор, который в предсмертные дни не мог не обостриться. Поэтому он и попросил Лелю найти ее (Тасю, как назвал он ее, как называл раньше). Он ждал ее, мучаясь и стыдясь, плохо скрывая это от нас.

Не знаю, пришла бы она, если бы была в эти дни в Москве? Она исчезла из его жизни незаметно и никогда, ни единым словом не напоминала о себе. Он так и не узнал, где она и что с ней.

Ее обида была горше обыкновенной женской обиды, а гордость — выше всякого тщеславия. Впоследствии, когда возник шум вокруг его имени, он словно не коснулся ее. И о ней, о Т. Н. Лаппа, ровным счетом ничего не было известно. Лишь в начале 80-х годов я узнал, что она живет в Туапсе, у нее другая фамилия — Киссельгоф, она овдовела, живет одна, получает крохотную пенсию, ей 90 лет. Я написал ей письмо. В этом письме я рассказал о ее совместной жизни с Булгаковым так, как я ее «вычислил» — все двенадцать лет. Упомянул, что Миша мало и неохотно рассказывал о ней. Не забыв и о злосчастном посвящении «Белой гвардии» и, конечно же, написал о Леле, которую умирающий Миша просил во что бы то ни стало найти ее. Словом, я приложил к письму все, что было написано о ней в «Записках о Булгакове», включенных в готовящийся к печати мой однотомник. Я просил Татьяну Николаевну не стесняясь вычеркивать, что ей не нравится или покажется бестактным.

Она тотчас ответила мне. Письмо датировано 25-м июня 1981 года. Оно написано твердым, аккуратным почерком на листке бумаги в школьную клеточку.

> «Уважаемый Сергей Александрович, — писала она, — спасибо за столь теплое письмо. Конечно, факты, изложенные Вами в письме, все верны. О том, что Миша хотел меня видеть, я знаю. Почему он обо мне мало рассказывал? Ясно почему. Вы поразительно и без моих объяснений догадались. Я у него была первая сильная и настоящая любовь (на склоне лет уже можно обо всем сказать). Нас с ним связывала удивительная юность. Но почему Вы столько лет не заинтересовались моей скромной личностью и только сейчас написали мне такое письмо? Может быть, если бы я такое послание получила раньше, я бы могла Вам многое рассказать. Теперь поздно. Посылаю Вам свое фото (такой я была в

первые годы совместной жизни с Мих. Аф.). Еще раз спасибо за письмо.

С уважением — Т. Киссельгоф.

P. S. Ничего бестактного Вы не написали, так что напрасно беспокоитесь».

Затем я получил от нее еще два коротеньких письма. К одному из них была приложена фотография, на которой была изображена не молоденькая провинциальная девушка, а строгая, спокойная, красивая старуха. Повидать мне ее так и не удалось. Она умерла летом 1982 года. Я узнал об этом от ее племянницы, проживающей в Харькове. В бумагах, оставшихся после Татьяны Николаевны, были и мои письма, а в них и мой адрес.

Многие пытливые булгаколюбы (а их с каждым днем становится все больше, и тут уж не отличить искреннего увлечения от погони за сенсацией) оказались гораздо расторопнее меня. Они застали ее в живых, проникли к ней и выуживали у нее рассказы, записывали их в блокноты и даже на магнитофон. С некоторыми из этих записей я знаком. Скажу по совести, они меня мало заинтересовали. А многие противоречивые и болтливые подробности даже раздражали, затемняя суть. Разумеется, будущие исследователи-соковыжималки найдут там «свеженький» материал. Но не права ли Татьяна Николаевна, когда писала мне в одном из писем, что она могла бы немало рассказать, но стоит ли это делать, не поздно ли ворошить прошлое — получится не то.

Для меня, наверно, не то, потому что я думал о ней и возникал образ намного прекраснее существовавшего в жизни. Но разве это важно? Мне другое было нужно! Я подыскал слова, чтобы выразить то, что Булгаков, без сомнения, хотел и должен был сказать ей в свои последние дни…

Оглядишься вокруг — и сразу видишь: нет, она была совсем «не писательская вдова».

Не раз замечал, надо мной посмеивались. Говорили, что и образ Лены я тоже выдумал, как и образ Таси Лаппа, сотворил легенду об Елене Сергеевне Булгаковой, с меня «началось»…

Но тут была уже не легенда, не возвышенная догадка.

И без меня всем стало хорошо известно, что Лена прожила рядом с Булгаковым нелегкие тридцатые годы, самые подвижнические, драматичные и поистине самые вдохновенные годы его писательского труда. Она была рядом с ним — самозабвенно. Поэтому имя ее (и без моих рассказов) окружено таким уважением, всеобщим и общепризнанным. Но я понимаю

боль моего умирающего друга, когда он вспоминал о Тасе Лаппа.

Передо мной его фотография. На ней написано: «Вспоминай, вспоминай меня, дорогой Сережа»[79]. Фотография подарена 29 октября 1935 года. Он был еще здоров, озабочен делами театральными, много работал, и его не покидали мысли о Воланде, Иешуа, о Мастере и Маргарите. Я не обратил тогда внимания на эту, в общем-то, непонятную для того времени надпись, схожую с заклинанием: «Вспоминай, вспоминай». Понял позже — сидя у его постели. И думал: «Непоправимо, что о многом мне так и не пришлось договорить с ним. Может быть, о самом главном! Архивы, письма, дневниковые записи не помогут мне. Все они, как бы красноречивы и вроде бы доказательны ни были, — лишь верхний слой, иногда не только не помогающий, но даже мешающий добраться „до самой сути“»…

— Миша, почему ты не сказал мне, что хочешь повидать ее?..

В феврале я уже не выходил из их дома. Как ни мала была моя помощь, но я нет-нет да и заставлял Лену поспать: вместо нее прислушивался, спит ли он, не зовет ли. Все-таки, мне кажется, я немного помогал ей. Она была такой же, как всегда. Входила к нему улыбаясь. Собранная, причесанная, не раз озабоченно взглянув на себя в зеркало, она бесшумно управляла жизнью в доме. И не было никакой суматохи, паники, отчаяния, ни охов, ни жалоб. Мы пили с ней утренний кофе в кухне, и словно бы я пришел гостем: все было красиво и уютно, ни в чем никакой неряшливости. Лишь последние дни она тихонько плакала, присев к кухонному столу, и я не мешал ей, не заговаривал с ней. Я лежал на диване Сережи (его на все это время отправили к отцу), перелистывая «Исторический вестник», и там, в записках Гусева, выискал подчеркнутую Мишей лесковскую цитату о фальшивом самодовольстве, которое обязан бичевать писатель, чтобы оно не замарало, не опустошило наши души. В доме было тихо.

Семен Ляндрес в заметке «О смерти Булгакова», опубликованной почему-то в Америке («Неизданный Булгаков», изд. «Ардис»), пишет: «До последнего дня Булгакова не покидало мужество. В его квартире всегда было полно народу — писатели, артисты, друзья. Булгаков участвовал в их разговорах, иногда, не желая быть в тягость, рассказывал веселые анекдоты из жизни актеров. Именно так: умирающий Булгаков рассказывал веселые анекдоты». Это неправда, даже как-то неловко читать. Ляндрес, референт Союза писателей, прикомандированный после смерти Булгакова к комиссии по лит. наследству, с полной искренностью

помогал Лене в ее делах и, думаю, из лучших чувств писал о литераторах и артистах, толпившихся в квартире Булгакова. Насчет веселых анекдотов автор воспоминаний, разумеется, переборщил, но ему хотелось показать всеобщее беспокойство артистической и литературной Москвы по поводу болезни писателя Булгакова. Ничего похожего не было, имя его в ту пору отнюдь не гремело. Я не говорю о друзьях из МХАТа, о некоторых друзьях из Большого театра, но и их допускали к больному все реже и реже… Да, в доме стало тихо. Очень тихо. Он один, и мы не мешали ему. Жизнь обтекает его волнами, но уже не касается его. Одна и та же мысль, днем и ночью, сна нет. Слова встают зримо, можно, вскочив, записать их, но встать нельзя, и все, расплывшись, забывается, исчезает. Так пролетают над миром прекрасные ведьмы, как пролетают они в его романе. И реальная жизнь превращается в видение, оторвавшись от повседневности, опровергая ее вымыслом, чтобы сокрушить пошлую суету и зло.

Почти до самого последнего дня он беспокоился о своем романе, требовал, чтобы ему прочли то ту, то другую страницу.

Сидя у машинки, Лена читала негромко: «С ближайшего столба доносилась хриплая бессмысленная песенка. Повешенный на нем Гестас к концу третьего часа казни сошел с ума от мух и солнца и теперь тихо пел что-то про виноград… Дисмас на втором столбе страдал более двух других, потому что его не одолевало забытье, и он качал головой, часто и мерно, то вправо, то влево, чтобы ухом ударять по плечу.

Счастливее двух других был Иешуа. В первый же час его стали поражать обмороки, а затем он впал в забытье, повесив голову в размотавшейся чалме. Мухи и слепни поэтому совершенно облепили его, так что лицо его исчезло под черной шевелящейся массой. В паху и на животе, и под мышками сидели жирные слепни и сосали желтое обнаженное тело».

Оставив чтение, она посмотрела на него. Он лежал неподвижно, думал. Потом, не повернув головы в ее сторону, попросил:

— Переверни четыре-пять страниц назад. Как там? «Солнце склоняется…»

— Я нашла: «Солнце склоняется, а смерти нет».

— А дальше? Через строчку?

— «Бог! За что гневаешься на него? Пошли ему смерть».

— Да, так, — сказал он. — Я посплю, Лена. Который час?

Это были дни молчаливого и ничем не снимаемого страдания. Слова медленно умирали в нем…

Обычные дозы снотворного перестали действовать. И появились длиннющие рецепты, испещренные кабалистическими

латинизмами. По этим рецептам, превосходившим все полагающиеся нормы, перестали отпускать лекарства нашим посланцам: яд. Мне пришлось самому пойти в аптеку, чтобы объяснить, в чем дело.

Я давно не выходил на улицу, и влажный мартовский воздух ударил мне в голову, уже стемнело. Над отгороженным пустырем, где был когда-то храм Христа, горели, сияя, фонари — строили Дворец Советов. (Фундамент не держался, уползал в вязком грунте, и потом, бросив эту затею, сотворили здесь вместо Дворца плавательный бассейн, чтобы залатать дыру, образовавшуюся над рекой, и он дымится в морозные дни банным паром.)

Жизнь иногда причудливо сталкивает факты. В тот вечер я встретил у метро знакомого литератора. Он возвращался домой усталый, измученный. Ему было зябко в мартовской сырости. Он был небрит, землистого цвета, кепочка надвинута на уши, воротник поднят, в руках толстенный портфель.

— Куда вы пропали? Вас нигде не видно! Нельзя же так! — шептал и шептал он. — Завтра прорабатывают товарища Эн! Самого Эн! Явка обязательна!

Он был испуган. И эта его писательская суетня рядом с той трагедией смерти, свидетелем которой я становился, поразила меня своей чудовищной, жизнеубийственной пустотой.

Я поднялся в аптеку, попросил заведующего. Он вспомнил Булгакова, своего обстоятельного клиента, и, подавая мне лекарство, печально покачал головой.

Таяло. Снег был желтый, грязный. Вдоль бульварного кольца еще ходила «Аннушка». Все было совсем другое.

Не помню точно, кажется, в конце февраля пришел Фадеев. Вот тут как раз не обошлось без «веселых анекдотов».

Фадеев никогда раньше у Булгаковых не бывал. Он появился, движимый, быть может, лишь формальным желанием проявить заботу и внимание к заболевшему члену Литфонда и Союза советских писателей, о Булгакове он знал лишь по слухам. Я говорю об этом отнюдь не в осуждение Фадееву, у него было чувство нормального долга — что же другое могло быть у него? Он поступил безукоризненно. Но он просидел почти весь вечер и был потрясен.

Булгаков с необыкновенной живостью слушал Фадеева, рассказывающего о делах в Союзе и об отдельных писателях. Фадеев, говорил доверительно, дружески, вы-де свой в нашей семье. Поймите…

— Послушайте! — прервал его Булгаков, вдруг возмутившись одной из названных фамилий. — Ведь это же негодяй! — И тут же

просительно складывал руки. — Ох, но, может быть, он вам приятель? — И грозил весело: — Тогда тем более должен предупредить! Вы с ним встречаетесь чуть ли не каждый день, а я его в глаза не видел, но знаю его насквозь. А вы не знаете! В том-то и штука, что не знаете. Эх, эх, сидя в кабинете, можно и ослепнуть. Не отличишь, кто друг, а кто только и ждет, чтобы подставить подножку…

— Это правда, что вы говорите, — произнес Фадеев, прервавши смех. — Вы не представляете, как мне бывает трудно. А главное, я все время мешал себе как писателю. Понимаете? Писал урывками, на бегу. Вот и «Удэге» до сих пор лежит неоконченное. А я ведь не ленив. Тогда как же это назвать? Самопредательство? Фу, черт возьми, писателю все можно простить — двоеженство, пьянство, кражу, даже убийство, — только не это, не самопредательство. Вы согласны? — Он смотрел на Булгакова вопрошающе. — Вы понимаете, о чем я говорю?

Булгаков продолжал подшучивать над Фадеевым, над тяжелыми веригами его министерского положения в Союзе писателей. Фадеев смеялся своим тонким хохотком, когда Булгаков изображал, каким должен быть литературный сановник.

— Но все-таки — как же быть, а? — восклицал Фадеев, смеясь.

Ответа не последовало. Последовал рассказ о палешанах, неудачно вылезших из своей лакированной коробочки.

— Все дело в женах, Александр Александрович, — вдруг сурово сказал Булгаков. — Жены — великая вещь, и бояться их надо только при одном условии — если они дуры. А вообще — как по Шекспиру: терзать могут, но играть на вас ни в коем случае!

— Эти басенки стоят черта! Ну-ну, что еще?

Но Булгаков лежал, затихнув, прикрыв глаза. Его утомила беседа, и уже нельзя было скрыть этого. Надо было уходить. В передней Фадеев спросил меня:

— Неужели врачи считают, что положение безнадежно?

— Да, они так считают.

— Невероятно! Он полон жизни!

— Но тем не менее это так. И он сам это знает лучше врачей.

— Не могу поверить. В нем столько силы. — Фадеев задумался на секунду и вдруг сказал: — Чудовищно, что я до сих пор его не знал! Я не имел права его не знать!.. Нет, не верю! Убежден, врачи ошибаются и он тоже. Он выздоровеет! И тогда все будет по-другому.

— Если бы его здоровье зависело от врачей, а его литературная жизнь от того, что вы узнали его чуть ближе…

— Вы думаете? — Он рассеянно попрощался со мной и вышел.

Потом он звонил еще два раза, справлялся встревоженно, не нужна ли еще ссуда от Союза, нужно ли еще что-нибудь?

— Я думаю, уже не нужна.

— Неужели? — шепотом спросил он и, помолчав некоторое время, подышав, положил трубку.

Ссуда была уже не нужна. Ничего уже не могло ему помочь.

Весь организм его был отравлен, каждый мускул при малейшем движении болел нестерпимо. Он кричал, не в силах сдержать крик. Этот крик до сих пор у меня в ушах. Мы осторожно переворачивали его. Как ни было ему больно от наших прикосновений, он крепился и даже тихонько, не застонав, говорил мне одними губами:

— Ты хорошо это делаешь… Хорошо…

В те последние дни подозрительность его развилась до крайности. Он уже не доверял даже таким вернейшим своим друзьям, как Дмитриев и Эрдман. Шептал мне:

— Ты не очень-то болтай обо мне, даже с ними… И уже никого, кроме Лены и меня, к себе не подпускал.

Он ослеп.

Когда я наклонялся к нему, он ощупывал мое лицо руками и узнавал меня.

Лену он узнавал по шагам, едва появлялась она в комнате.

Он лежал голый, лишь с набедренной повязкой. Тело его было сухо. Он очень похудел.

Все последние ночи со мной вместе (в комнате маленького Сережи, на полу) ночевали Дмитриев и Борис Эрдман. С утра приходил Женя, старший сын Лены, Булгаков трогал его лицо и улыбался. Он делал это не только потому, что любил этого темноволосого очень красивого юношу, холодновато-сдержанного, по-взрослому отвечающего за каждое свое душевное движение, он делал это не только для него, но и для Лены. Быть может, это было последним проявлением его любви к ней — и благодарности.

10 марта в 4 часа[80] он умер. Мне почему-то всегда кажется, что это было на рассвете.

На следующее утро — а может быть, в тот же день, время сместилось в моей памяти, но кажется, на следующее утро, — позвонил телефон. Подошел я. Говорили из секретариата Сталина. Голос спросил:

— Правда ли, что умер товарищ Булгаков?

— Да, он умер.

Тот, кто говорил со мной, положил трубку. Поздно вечером

приехал Николай Эрдман, проживавший тогда в ссылке в Вышнем Волочке. Мы провели с ним вдвоем почти всю ночь. И даже разговаривали мало. Лена, не раздеваясь, прикорнула на диване. На рассвете он уехал. Пахло формалином. Меркуров снимал маску. Копию этой маски мне подарила Лена, но в военные годы, когда меня уже не было в Москве, ее бросили в дровяной сарай, а потом она куда-то исчезла. Очень много народу перебывало в квартире. Меньше всего было литераторов. Не пришел и Фадеев. Но написал письмо Лене. Впервые оно напечатано в «Новом мире» в 1966 году. Письмо помечено 15-м марта 1940 года. Он объяснял, что лишь дела неотложные не позволили ему зайти к ней и в Союз. Он писал, что, к сожалению, некоторые люди (думаю, намек на меня) рассматривают это как проявление его осторожности в связи с тенденциозным отношением к Булгакову. И далее, подчеркивая свое уважение к Елене Сергеевне, возвышенно отозвался о Михаиле Афанасьевиче как о человеке поразительного таланта, с которым, даже тяжелобольным, было интересно разговаривать, как редко с кем бывает. Фадеев заверял Лену, что все связанное с памятью Булгакова, его творчеством «мы поднимем и сохраним, и люди будут знать его все лучше по сравнению с тем временем, когда он жил. По этим делам и вопросам я буду связан с Ермолинским и Маршаком и всегда помогу». Он писал: «И люди политики, и люди литературы знают, что он человек, не обременявший себя ни в творчестве, ни в жизни политической ложью, путь его был искренен и органичен, а если в начале своего пути (а иногда и потом) он не все видел так, как оно было на самом деле, то в этом не было ничего удивительного, хуже было бы, если бы он фальшивил».

Это были первые прямодушные строки о Булгакове, но тогда прочитать их могла одна Лена. Время писателя Булгакова еще не пришло.

Да, в те траурные дни заходили попрощаться к нему не только его близкие знакомые, но и неведомо кто, и было тесно в доме. Дверь настежь, на лестнице люди. А когда его гроб перевезли в Союз писателей, то оказалось, народу совсем немного. В большом, полутемном зале стояли группки людей. Многие подолгу. Многие уходили и приходили опять. К вечеру собралось людей побольше. Было тихо. Музыки не было. Он просил, чтобы ее не было.

По дороге в крематорий заехали в Художественный театр. Вся труппа и служащие ждали его у подъезда. Затем проехали к Большому театру — у колонн стояло много людей — тоже ждали его. Я думаю, он не удивился бы. Я думаю, он знал: что бы ни приключалось с ним в этих театрах, его любили там искренне.

21 марта Правление Союза писателей СССР утвердило комиссию по его литературному наследию. По указанию Фадеева в нее ввели: Е. С. Булгакову, Всеволода Иванова[81], Леонида Леонова[82], Я. Л. Леонтьева[83] (зам. директора Большого театра), С. Я. Маршака[84], П. А. Маркова, П. С. Попова, А. М. Файко, Н. П. Хмелева, В. Я. Виленкина[85] и меня. Таков был состав нашей первой булгаковской комиссии. На первом ее заседании (Марков, Маршак, Файко[86] и я) наметили к изданию сборник его пьес. Правление ССП поддержало нас. В «Вечерней Москве» сообщалось, что «Советский писатель» включил в план издание драматических сочинений Булгакова. Докладывал на редсовете Ю. Юзовский. Однако на этом дело застопорилось. Помнится, мы поднимали вопрос о сборнике булгаковских пьес и в «Советском писателе», и в «Искусстве». Но время ли было для «воскрешения» Булгакова? Грозные события неотвратимо надвигались. В июне 41-го разразилась война. И естественно, тема войны, тема воинской доблести и всенародного подвига стала главной, единственной темой в нашей литературе. Враг был на подступах к Москве. Москва эвакуировалась. Членов нашей булгаковской комиссии развеяло по всей стране — у каждого было свое место, своя судьба в общем потоке дел и событий. Единственно, что нам удалось, — сохранить за семьей Михаила Афанасьевича его квартиру.

Лена с младшим сыном Сережей уехали с писательским эшелоном в Ташкент, а старший — Женя — находился в артиллерийском училище в Мары (в Туркмении), окончив которое получил назначение в Действующую армию.

Годы ее жизни в эвакуации прошли вне поля моего зрения. Меня кидало совсем по другим местам, но эта моя личная жизнь вряд ли представляет интерес. Могу только сказать, что я не забывал о своем друге, и пример его писательского мужества, человеческого достоинства и чести немало помог мне и в моих жизненных испытаниях.

Лена вернулась из Ташкента в растерянности. Она очутилась в нужде, с какой раньше не сталкивалась. Ее квартира на улице Фурманова показалась неживой — тень прошлого.

Мне она писала (я был тогда уже в Тбилиси): «Милый Сереженька, прости, что не писала так долго. У меня голова кругом идет от разнообразнейших и бесплодных хлопот. А я тем временем сижу без копейки. Вставая утром, прежде всего смотрю кругом, что еще можно продать. Оля сегодня, по своему несчастному обыкновению, принесла мне на хвосте неприятные новости: „Мертвые души“ не пойдут долгое время, так как

спектакль разболтался, а приводить его в порядок некогда. „Пушкин“ („Последние дни“) идет очень редко, и Оля советует мне скорее искать себе работу по переписке на пишущей машинке, чтобы иметь какой-нибудь верный заработок. Женя принят в Академию Фрунзе, находится сейчас в лагерях Академии. Бывает в Москве каждую субботу вечер и днем в воскресенье. Сережа готовится к экзаменам в Полиграфический институт на редакционно-издательский факультет. Меня очень волнует мысль, что у тебя будут сложности с твоей пьесой (я писал о Грибоедове. — *С.Е.*), потому что сейчас нужны пьесы только на современную тему. Сереженька, милый, ты пишешь о приезде в конце сентября. Ничего не изменилось? Целую тебя крепко».

В 1949 году в связи с приближающимся десятилетием со дня смерти Булгакова она напомнила Союзу писателей, что еще 21 марта 1940 года Правление ССП постановило издать сборник его пьес, а теперь просила также и об издании «Белой гвардии» и биографии Мольера («Жизнь господина де Мольера»). «Если Секретариат, — писала она, — не может самостоятельно разрешить вопрос о литературном наследстве Булгакова, то прошу ходатайствовать об этом перед Правительством».

Выписка из постановления Секретариата ССП от 21 апреля 1950 года гласила: «26, п. 10. Об издании произведений М. А. Булгакова. Постановили: Воздержаться в настоящее время от переизданий избранных произведений М. А. Булгакова». Речь, однако, шла не о переизданиях, а об издании сочинений, не известных советскому читателю.

На заявление Лены откликнулся К. А. Федин. «Дорогая Елена Сергеевна! — писал он. — Получил копию Вашего заявления в ССП. Постараюсь непременно повидать Фадеева и поговорить с ним. Но вы знаете, как это хитро… он очень занят… Без него ничего не выйдет, а встретиться с ним я никак не могу.

Скоро будет пленум Правления, тогда, надеюсь, удастся поговорить. Я лично с большим желанием поддержу вашу просьбу».

Позвонил Маршак: «Говорил с Фединым, говорил с Сурковым, с Тихоновым. Мне очень горько». Маршак всплакнул в телефон, бормоча невнятные утешительные слова.

Судить о поведении Фадеева не берусь. Встречался с ним редко. В течение ряда лет он был всевластным руководителем Союза. Он него, должно быть, зависела и судьба многих репрессированных писателей, он не помог им. И все же я вспоминаю о нем как о запутавшемся и мучающемся человеке: не случайно он, послушный слуга Сталина, в конце концов сам себе

вынес приговор… Но тогда я был раздражен на него, потому что так же, как другие, безуспешно пытался переговорить с ним о Булгакове.

Наступали пятидесятые годы. Недолго уже было и до антисталинской бури, но дела у Лены не шелохнулись: мертвая зыбь.

«Если бы ты знал, — писала она мне, — как трудно добиваться, что Мишу надо печатать».

Ей порекомендовали обратиться в издательство «Искусство», и она отправилась туда с бумажками от Союза писателей и Министерства культуры.

Секретарша не пускала ее к директору, сообщив, что его нет и неизвестно, когда он будет. Лена уселась чуть поодаль и терпеливо ждала, выказав неодолимое упорство во что бы то ни стало добиться встречи с директором. Секретарша попросила ее выйти в коридор, не скрывая раздражения возмутительной настойчивостью «дамочки». И все же директора она дождалась. Насколько помню, директором был тогда Евгений Евгеньевич Северин. Он внимательно ознакомился с бумажками, некоторое время поразмышлял и затем, отобрав две пьесы — «Дни Турбиных» и «Последние дни», — сказал: «Выпустим книжку с этими двумя пьесами и постараемся сделать это поскорее, так сказать, вроде бы к десятилетию со дня…» Вышла тощая книжка его двух пьес, проверенных и перепроверенных, шедших в МХАТе.

Таким образом, когда я уже находился в Москве, в делах Лены ничего не переменилось. Но я сам был не устроен. Жизнь моя разладилась. Все надо было начинать сначала. Довоенной квартиры в Мансуровском переулке я лишился. Там поселились чужие люди. И пока я получил жилище и возник наконец мой новый дом, некоторое время я жил у Лены.

Что касается меня, то я был достаточно натренирован жесткими передрягами тех суровых лет, и близостью смерти, и голодом, и холодом, а Лена испугалась жизни — любую катастрофу перенесла бы, но не нищету. Мне иногда кажется, что есть люди, которым не к лицу бедность. Лена принадлежала к их числу. Ощущение бедности угнетало, давило ее, хотя прожила она в таком положении недолго. Редкие гости, приходившие к ней, наверно, не замечали, что у нее плохо. Только мне, живущему с ней рядом, это было видно. Но в тот год я мало чем мог ей помочь. Кроме того, я был болен, кашлял. Чувствовал, что кашель, ночами душивший меня, раздражал ее. Но утром мы пили жиденький кофе с тоненькими ломтиками пайкового хлеба и старались говорить весело, и подбадривали друг друга. Она, несмотря ни на что, верила в меня и в мои силы. Мог ли я ее

обмануть? А главное, удивительная встреча моя с Татьяной Александровной Луговской, которую Лена близко узнала и подружилась с ней в Ташкенте (раньше меня), удвоила энергию — тоже «несмотря ни на что». Нет, унывать было нельзя! Без нее все в мире стало бы для меня черным! И теперь, за дальностью лет, я особенно остро вижу, что в моей тогдашней жизни, вопреки всему, появилось что-то прекрасное.

Весна в августе! Уже лил безнадежный дождь, а мои прохудившиеся башмаки пропускали сырость… В сорок лет заново начинать жизнь! Эх, эх, Миша бы меня понял…

Как раз в это время возникло его первое «собрание сочинений».

Первоиздательницей была Лена. Но об этом никто не знал. «Величайший секрет!» В ее распоряжении имелась пудовая, бесшумно действующая пишущая машинка американского происхождения, когда-то давно по случаю приобретенная Михаилом Афанасьевичем. Я приволок из Литфонда желтоватую бумагу в рулонах, мы нарезали ее по размеру книги, а не на обычные листы. Лена печатала целый день. Никто не торопил, но не терпелось скорее закончить. Перепечатывались все пьесы и романы, выуживались из газет и профсоюзных журнальчиков двадцатых годов его старые фельетоны и рассказы.

Именно тогда я впервые внимательно вчитывался в них и обнаружил, что в работе Булгакова-фельетониста содержится немало сатирических сюжетов и образов, которые получили впоследствии развитие не только в рассказах из «Дьяволиады», но и в «Белой гвардии» и, несомненно, в «Мастере и Маргарите». Тут неожиданно отыскиваются истоки его творчества, литературоведам небезынтересно обратить на это внимание. Но при чисто формальном анализе этих истоков исследователь, на мой взгляд, неизбежно создает одностороннюю и неверную картину его творческого развития. Если фельетоны писались на основе рабкоровских писем, «сигналов из жизни», если очерки и рассказы возникали в результате столкновений с житейскими, бытовыми обстоятельствами, превращаясь в булгаковские фантасмагории, если, наконец, «Белая гвардия» написана под впечатлением пережитых и непосредственно увиденных картин, то его более позднее творчество, в особенности же «Мастер и Маргарита», создавалось в результате обобщений и размышлений. К тому времени он все более замыкался в стенах своего кабинета. Но это был не отрыв от жизни. Это было ее постижение. Из фантастического реализма, к которому он был всегда склонен, вырастали его трагическая сатира и его раздумья о «вечном». Тема Понтия Пилата с его мертвенным отстранением

от «добра и зла», тема духовной трусости, страстно осужденной, как и тема Мастера, не заслужившего «свет», ибо опустились руки, погасла воля и роман «не окончен», и, наконец, вскрик «свободен! свободен!» — все это, постепенно наслаиваясь, находило свое окончательное выражение…

В первом «собрании сочинений», создаваемом Леной, его фельетоны и очерки составили отдельный томик. Разумеется, мы нашли лишь небольшую, далеко не полную часть из того, что было напечатано в «Гудке», в «Накануне», во множестве других мелких изданий. Вопросами раннего творчества Булгакова стали заниматься, по сути, совсем недавно. Появляются все новые и новые публикации. Тут не все равноценно, но многое оказывается совершенно неожиданным. Уже в ту давнюю пору, когда я перебирал старые газеты, меня почему-то преследовала мысль, что «Записки на манжетах», опубликованные в газете «Накануне», всего лишь отрывки из романа, скорее всего незавершенного. Если допустить, что этот роман существовал, то он явился бы необыкновенно живым документом времени.

Тогда, естественно, мы с Леной были увлечены перепечаткой «Мастера и Маргариты», его окончательной редакцией, то есть с последними поправками уже слепого, умирающего автора. Лена волновалась, перепечатывая внесенные ее рукой под его диктовку изменения… И вот роман лежит стопкой аккуратных листков!

Перелистываю страницы и читаю знакомые строчки, воспринимая их по-новому остро:

«— Зачем же ты, бродяга, на базаре смущал народ, рассказывая про истину, о которой ты не имеешь представления? Что такое истина?

И тут прокуратор подумал: „О, боги мои! Я спрашиваю его о чем-то ненужном… Мой ум не служит мне больше“…

И вновь он услышал голос (тихого, обреченного Иешуа):

— Ты не только не в силах говорить со мной, но тебе трудно даже глядеть на меня. И сейчас я невольно являюсь твоим палачом, что меня огорчает…»

Это один из самых главных томиков, а сколько всего получилось, не помню. Но каждый, как принято во всамделишных изданиях, был помечен: «Михаил Булгаков, т. 1, т. 2, т. 3» и т. д., и каждый переплетен в матерчатый переплет. Указан был год издания, не указана лишь цена, ибо, как вы понимаете, издание было поистине бесценно. Вот какое это было издание — единственное в своем роде! Бесшумный труд Лены был завершен.

Для заработка она перевела книгу Андре Моруа о Жорж Санд по договору с издательством «Молодая гвардия» (для серии «Жизнь замечательных людей»). По иронии судьбы книга вышла,

когда у Лены уже не было нужды в гонораре.

В писательской судьбе Булгакова вдруг круто все перевернулось. Внезапностью своей это напоминало чудо, но не было тут никакого волшебства: в жизни нашего общества произошли стремительные перемены…

Первым громко заговорил о нем с трибуны Второго съезда писателей Вениамин Александрович Каверин. Произошло это в декабре 1954 года, то есть через четырнадцать лет после смерти Булгакова. Романы его, как и все остальные сочинения, продолжали лежать в машинописных копиях. Напечатанное в двадцатых годах забылось. Но Каверин, безусловно, знал — и, видимо, хорошо — его пьесы и то, что с ними происходило при жизни автора.

В конце своей речи, говоря о будущем нашей литературы, он сказал: «Я вижу нашу литературу, в которой приклеивание ярлыков считается позором и преследуется в уголовном порядке, которая помнит и любит свое прошлое. Помнит, например, что сделал Юрий Тынянов для нашего исторического романа и что сделал Михаил Булгаков для нашей драматургии». Каверин не знал Елену Сергеевну, не знал и не видел Михаила Афанасьевича, но на следующий день получил от нее большую корзину цветов, а вместе с ней аккуратно перепечатанные машинописные томики прозы Булгакова. Позже, познакомившись с Еленой Сергеевной, Каверин сказал мне: «Боже мой, какая женщина! И как сохраняет она каждый листок, имеющий к нему отношение! Я увидел, что делается это такой трепетной рукой, что у меня сжалось сердце».

Он был прав. То, что составило архив Булгакова, ныне находящийся в рукописном отделе Ленинской библиотеки, прежде всего дело ее рук.

Конечно, выступление Каверина, встреченное с молчаливым напряжением, еще ничего не решало, но оно подтолкнуло, обнажило тот скрытый интерес к таинственному писателю, который давно назрел.

Буквально на глазах переворотилась картина нашей литературной истории: многое из того, что шумело, искусственно воздвигаясь на вершины, оказалось всего лишь сиюминутным, конъюнктурным и лопнуло как мыльный пузырь. Неправдоподобными кажутся времена, когда уничтожали Шостаковича, Прокофьева, Мясковского, шельмовали Ахматову и Зощенко, изгоняли из Союза писателей Пастернака. Неужели это могло произойти? Никто даже голоса не поднял в защиту. Напротив, тянулись руки, голосуя за клеймящие резолюции. Знаю, многие потом, стыдясь, зарывали головы в подушку.

Неужели было?.. И так же неправдоподобно выглядит судьба Михаила Булгакова, его пьес и прозы. Время это прошло. Общепризнаны стали те, кого отвергали как чужеродную силу. Имена их — каждый их знает! — стали неотъемлемой частью нашей культуры. И не они ли воочию показали, что нас не сокрушили никакие беды и мы не обнищали духом? Вот почему, не страшась правды, нам — и никому другому! — надобно беспощадно рассказать о том, что мы пережили. Нет ничего сильнее правды. Тогда не приоткроется даже щели для клевет и злорадства недругов, да и сами мы хоть немного научимся противостоять злу — лицемерию и чиновничьей трусости.

Вокруг Булгакова до сих пор полно кривотолков и недомолвок: прищурен глаз охранителей нашей идеологической благонамеренности. А он, между прочим, мог бы повторить известные строки Ахматовой, и повторить — как свои:

Не с теми я, кто бросил землю
На растерзание врагам,
Их грубой лести я не внемлю,
Им песен я своих не дам.

На Западе, особенно после появления «Мастера и Маргариты», Булгаков стал не только художественной сенсацией, но и политической, вернее, политиканствующей. Ну, это дело временное. Тут повинна его биография. Вот о ней-то не все у нас любят вспоминать, хотя она неотрывна от его творчества.

У нас любят ясность. Но, как ни старайся, литература не подчиняется правилам ГАИ. В иных случаях надобно идти и на красный свет. Булгаков сам себе расставлял светофоры, ему свистели, поэтому понадобилось время, чтобы распознать, кто он таков и какая ему цена.

Он не дожил до своего полного признания, до своего торжества, а Лена, к счастью, дожила. И не удивилась. Она была уверена, что иначе быть не могло.

Сразу объявилось много «друзей». Среди них были тихие сплетники, которые еще недавно считали его неудачником, случайно прославившимся единственной пьесой «Дни Турбиных». (Завистники: «еще бы — МХАТ!») Были преуспевающие дельцы, считавшие его подозрительным типом, от которого лучше всего держаться подальше. Нынче это почитатели его, восхвалители, и, оказывается, втайне всегда были такими! Знал я одного льстящего и трусливого человека, который, казня себя, публично кается, что, находясь рядом, по соседству, в той же писательской надстройке на улице Фурманова, не распознал, что за стеной у

него жил гений… Все они (и этот человек, преуспевающий сверх меры) без промаху, по «черному списку» мечены Леной. И как бы сладкоголосы они ни были, она держалась с ними с королевской недоступностью.

А вокруг нее хлопотали, старались проникнуть к ней в дом, охаживали ее, почитали за честь быть знакомыми с ней. Был и такой «модный» момент в московской литературной жизни. Ее с поклоном приглашали на родину Шекспира, на родину Мольера, в Италию, в Рим, из прекрасного далека которого Гоголь вглядывался в свою необъятную Русь…

— Я же говорил, — воскликнул бы Булгаков, — мой роман еще сотворит сюрпризы!

Ей было уже больше семидесяти, но она была привлекательна, как всегда, как прежде, и не преувеличив скажу — молода!

Когда ее жизнь сказочно переменилась, она жила уже не на улице Фурманова, а в новой, небольшой, очень уютной квартире на Суворовском бульваре, у Никитских ворот. После войны булгаковских вещей сохранилось немного, почти вся библиотека была распродана, но все равно он царствовал в ее доме. Огромный портрет его в овальной раме, сделанный по фотографии, лишь в общих, внешних чертах напоминал его образ, но он оживал в ее рассказах. Она с живостью передавала его юмор, его интонации. Смысл ее жизни был наполнен им, может быть, глубже и сосредоточеннее, чем при его жизни. Даже почерк ее изменился. Я улавливал в ее письмах знакомые мне строчки, написанные крупно, плотно, чуть наклоненные, без нажима. Она оставалась все той же Леной, но она необыкновенно раскрылась.

Его смерть была для нее неподдельным, охватывающим всю ее горем. Не утратой, не потерей, не вдовьей печалью, а именно горем. И оно было такой силы, что не придавило, а напротив, пробуждало к жизни.

В этом нет ничего странного. Любви без воображения не бывает. Когда растворяется неизбежный житейский сор, возникает возвышенная чистота отношений, и они незаметно вырастают в легенду, которую отнюдь не следует разрушать. Внутренне сильные натуры, как она, подвластны такому самотворящему чувству, когда игру уже нельзя отличить от правды. Тут не было ни лжи, ни фальши. При нем она искренне притушевывала себя, готовая на повседневное подчинение. Отходила на второй план, иногда, быть может, молчаливо бунтуя и опять смиряясь.

Она отнюдь не испытывала женского рабства, ибо он зависел от нее не менее, чем она от него. Это было добровольное и

радостное подчинение. Когда оно вдруг кончилось, она вместе с потрясшим ее горем не могла не почувствовать… какого-то высвобождения! В этом тоже не было ничего странного. Что-то, все время сдерживаемое внутри, прорвалось. Она стала еще более общительной. Произошло что-то похожее на взрыв. Замкнутые в последнее время двери ее дома распахнулись, и сперва она была даже неразборчива в выборе новых друзей, случайных привязанностей, шумно нахлынувших знакомых. Осторожность и отбор их пришли позже, особенно когда поднялась волна интереса к творчеству Булгакова, к его биографии, а вместе с этим и к ней…

Я поражался, с каким умом и тактом она вела булгаковские дела. Он никогда не смог бы вести их так, как она. Множество деловых людей стало появляться в ее доме. Засуетились и представители зарубежных издательств, иностранные корреспонденты, разный пестрый народ. И почти все ожидали встретить чуть ли не старуху, а их встречала женщина изящная, легкая, остроумная. Гостеприимство ее было обворожительно. Если надо было, она могла по-женски обхитрить кого угодно, притворяясь то беззащитной и милой хозяйкой, то лукавой хищницей. «Ты лисичка, — говорил я. — Ты похожа на лисичку». «Вот и Миша говорил, что похожа», — соглашалась она. И верно — похожа. Особенно в меховой шубе, чуть высунувшись из пушистого воротника.

Некоторые жены ее знакомых, скрывая озабоченность, говорили, что она неравнодушна к их мужьям, а мужья эти намекали мне не без самоуслаждения: «Она удивительно ко мне относится. Нет, правда. Я чувствую. Н-да…» И многие, весьма многие наши литераторы, не лишенные прозорливости, легко попадались на ее «булгаковские провокации», принимая их за чистую монету, и полушутя, а то и всерьез рассказывали о ее внезапных появлениях, говоря, что она, ей-богу, «ведьма», способная летать на метле… «Ты думаешь, что ты ведьма?» — дразнил я ее. «Не ведьма, а колдунья и Маргарита», — строго говорила она.

А почему бы, в самом деле, хоть чуточку и не поверить в возможность «сверхъестественного»? Ведь с Булгаковым, как и с сочинениями его, непрерывно происходили чудеса. Их закономерностям мы находили объяснения позже — разве так не случалось?.. Вот и в Лене вдруг что-то появилось от Маргариты или у Маргариты от Лены? Именно так и произошло. В первых редакциях романа не было ни Мастера, ни Маргариты. Они появились в процессе дальнейшей работы, но и в окончательной редакции они возникают лишь в 13-й главе, которая так и

называется: «Явление героя» (ее имя еще только упоминается). Роман развернулся и был завершен, как известно, когда Булгаков уже жил на улице Фурманова с Леной. И характер ее то и дело начинает угадываться в его героине. Не только с Маргаритой, но и с ней, с Леной, на моих глазах происходили удивительные перемены, словно он видел их скрытые черты — предвидел их.

И она не раз спрашивала меня:

— Объясни, почему Миша полюбил меня? В «Записках покойника» («Театральный роман») им написан юмористический портрет хорошенькой дамы с лисой на плечах, которая появляется в конторе проницательного администратора театра — Фили.

«— Филенька, у меня к вам просьба. Одну старушку не можете ли вы устроить куда-нибудь на „Дон Карлоса“? А? Хоть в ярус. А, золотко?

— Портниха? — спрашивал Филя, всепонимающими глазами глядя на даму.

— Какой вы противный! — восклицает дама. — Почему непременно портниха? Она вдова профессора и теперь…

— Шьет белье, — как бы во сне говорил Филя, вписывая в блокнот: „Белошвей. Ми. боков, яр. 13-го“.

— Как вы догадались? — хорошея, восклицала дама».

Это — Лена, еще когда она не была его женой. Благополучная, капризная дамочка!

А вот Маргарита, летящая в бездны над ночной Москвой, врывается через окно в квартиру критика Латунского, оболгавшего роман Мастера, и учиняет там полный разгром. Это тоже Лена. Она и в жизни готова была бы поступить так с каждым, кто наносил удары ее Мастеру. Память ее сохраняла черный список его недругов, как он ей завещал. «Нет, я не добренькая, — говорила она сама про себя. — Я не разменяю рубль на копейки, чтобы раздавать их как можно большему числу людей. Я полностью отдаю свой рубль неразмененным тому, кого люблю».

В своей игре с людьми она была естественна — и в корысти, и в беспечности… В ней была легкость, которая омрачалась лишь настигавшей ее старостью. В минуты откровенности она жаловалась: «Если бы ты знал, как иногда трудно бывает утрами, не хочется вставать, болит поясница… Гадость…»

Но совершенно так же, как раньше, интересовалась нарядами. Это было ее постоянной страстью, не побоюсь сказать — творчеством. А теперь возможностей стало много, как никогда, потому что жизнь ее феерически изменилась. Булгаков, при всем его воображении, не возомнил бы, что может оказаться «золотым»

автором и так одарит ее. Впрочем, по его же словам, «никто не знает своего будущего».

Она приходила к нам и, остановившись в передней, кричала: «Таня, где вы? Посмотрите мое новое пальто! Идите скорее, а то я еле стою на этих проклятых шпильках, кто их только выдумал?! Не могу, упаду!» Ей до крайности важен был суд моей жены. Она вообще любила поговорить с ней — с юморком — о модах и обо всем на свете. Но это обычно было вторым отделением программы ее визита. Повертевшись, как манекенщица, снимала пальто, бросала его роскошным жестом на пол и, сразу преобразившись, строгая и деловитая, появлялась у меня в кабинете. Новостей всегда было много. «Театральный роман» безусловно будет напечатан в «Новом мире». Заходил Александр Трифонович Твардовский и, смеясь, показал послесловие В. О. Топоркова. Звонили из «Прометея» с намерением опубликовать в ближайшем сборнике отрывки из древних глав «Мастера и Маргариты», скоро пришлют гранки. Несколько звонков было из «Москвы», тоже по поводу «Мастера»… Словом, хороших новостей через край, и Лена волновалась, решала, что делать, как поступить.

Нежданно-негаданно именно «Москва» заявила твердо, что будет печатать роман. Удар молнии! К ней пришел представитель редакции с договором!

— Печатаем. Имеем основание думать, что это реально. Здесь указаны условия, 300 рублей за лист — наш обычный гонорар. Прошу подписать.

— «Обычный гонорар»? — высокомерно подняв голову, произнесла она. — Михаилу Афанасьевичу? За «Мастера и Маргариту»? — И вдруг — как в полубреду — 400.

— К сожалению, я не уполномочен сказать, возможно ли это, — ответил представитель редакции. — Для этого понадобится особое разрешение.

Он ушел, и едва затворилась за ним дверь, как она метнулась за ним. Его уже не было. Он исчез. Господи, как же она так? Да ведь она даром, без всякого гонорара отдала бы этот роман, лишь бы напечатали! В любом журнале! Хоть в «Пожарном вестнике». И она примчалась ко мне.

— Бей меня, — говорила она, швырнув сумку и даже не раздевшись. — Дура, дура! Что я наделала! Знаю только одно, что наплевать на самолюбие и бежать, звонить, умолять, завтра же, только бы не раздумали!..

Но звонить не пришлось — позвонили из редакции и сказали, что на ее условия согласны. Роман впервые (с некоторыми купюрами) был напечатан (в «Москве» в № 11 за 1966 год и в № 1

за 1967-й), и успех его был подобен взрыву. Полностью его опубликовали в однотомнике («Художественная литература», 1973 г.), в который вошли «Белая гвардия», «Театральный роман» и «Мастер и Маргарита». Этой прекрасно изданной книги она уже не увидела…

Уже без нее я получил письмо из Киева. Мне написали, что в его родном городе начали реставрацию дома на Андреевском спуске, где жила когда-то семья Булгаковых («Дом Турбиных», куда стихийно тянутся, и не один уже год, толпы экскурсантов). Прошло еще немного времени, и весь Андреевский спуск преобразился. Все дома как будто родились заново, один краше другого. И во всей красе вновь воссияла церковь, построенная Растрелли! Впрочем, не следует преувеличивать. Делалось это в связи с подготовкой к празднованию 1500-летия Киева. Сообразили, что приедет множество зарубежных гостей и немалое количество их хлынет посмотреть на дом Булгакова. На доме была установлена мемориальная доска с барельефным портретом Миши и доска с указанием, что дом охраняется как памятник истории и культуры. Торжества в Киеве позволили вдруг осуществить все эти необыкновенные вещи! Но чудеса продолжались. Недавно я получил квитанцию киевской горсправки, присланную бескорыстными поклонниками Булгакова (а значит, моими друзьями), в которой сообщалось, что в районе Южной Борщаговки существует улица, названная его именем. Это новый жилой массив. Она проложена между улицей Семиренко и улицей Академика Королева, а проехать к ней можно на трамвае № 1 до конца и далее автобусом № 83. Там все еще перекопано, перевыворочено бульдозерами новостроек, но на углу уже имеется табличка: «Ул. Михаила Булгакова».

Я плохо знаю Киев и собрался было поехать, чтобы проверить, так ли это? Но вслед за тем меня уведомили, что эта новая улица названа не воображением поклонников, а постановлением Горисполкома с подписями и приложением печати за № 583 от 3 апреля 1981 года, то есть получилось, что как раз к 90-летию со дня его рождения. (Булгаков родился 14 мая 1891 года.) Фантастика?

Лена, помнишь, я рассказывал тебе сон? Мишу несут на руках как триумфатора, хотя он голый, в одной набедренной повязке, но лица у всех сияют от счастья. Я спросил у санитара: «Куда его несут?» — «Неужели не понимаешь? В Дом скорби». — «Я знаю, что это такое, но ему туда совсем не нужно. Он здоров». — «Он болен». Тут я вскрикиваю и ноги мои становятся каменными и прирастают к полу, как это бывает во сне. «Это ошибка! — вскрикиваю я. — Это опять, опять, опять ошибка!» — «Но-но, не

болтать, — обрывают меня. — Он болен опасной болезнью. Не кипятись. Смотри, уже приближаются генералы, чинопочитаемые звездоносцы и лауреаты, в их руках испытанное лекарство». — «Какое лекарство?» — «Изволь, я не буду забивать тебе голову латинскими названиями и переведу по-русски: закруглять и не думать». — «Что-о? То есть, как это?» — «О боже мой, — раздается голос Главного санитара. — Ты, кажется, остался таким же дурачком, каким был». И все исчезает — я просыпаюсь в поту.

Ты помнишь, я рассказывал тебе об этом сне? Ты всегда серьезно относилась к снам, а тут, сердясь, сказала: «Плохо выдумал, видны белые швы сочинительства». Я никогда и ни на что не обижался на тебя, а теперь и подавно. Сочинительство, конечно, было, как всегда оно бывает, когда мы рассказываем сны. Но все равно, он был вещий, этот сон. Он говорил о том, как засуетятся вокруг Булгакова, как только он войдет в нашу литературу, — и придется выстроить стражу, чтобы не слишком много толковали о нем, начнут умалчивать, замалчивать, как это уже было, или приглаживать, «округлять»… Ах, многого ты не знаешь! А дело-то движется, вопреки всем «санитарам».

Наша комиссия добивается издания Полного собрания сочинений М. А. Булгакова, куда войдут все его сочинения — и те, которые не переиздавались с 1925 года, и те, которые не издавались никогда. Может, и вправду помогут «генералы», потому что предстоят немалые трудности. Планы издательств буквально забиты собраниями сочинений. Ведь нынче платят за них полным рублем, и кто только не лезет, не толкается, не работает локтями, как в метро в часы пик! Кого только не издают!.. И все же я убежден — пробьемся. Не уверен лишь в том, доживу ли сам до выхода первого тома?

«Друг мой милый, слышишь ли меня?..»

Урну ее захоронили на Новодевичьем кладбище, в его могиле. И теперь там выгравирована единая надпись:

писатель
МИХАИЛ АФАНАСЬЕВИЧ БУЛГАКОВ
(1891–1940)
ЕЛЕНА СЕРГЕЕВНА БУЛГАКОВА
(1892–1970)

Я служил ей всем, чем мог.
Мой неотягчающий долг.
1966–1981

ЧАСТЬ ВТОРАЯ
ТЮРЬМА И ССЫЛКА

Когда строку диктует чувство,
Оно на сцену шлет раба,
И тут кончается искусство,
И дышат почва и судьба.

Борис Пастернак

В моих записках о Булгакове упомянуто, что, назначенный после его смерти в булгаковскую комиссию при Союзе писателей, я проявлял «излишнюю активность, пытаясь добиться опубликования его произведений, хотя бы пьес, и что это ни к чему хорошему не привело». Начальники, коим надлежало отвечать за мою рукопись, вычеркнули этот абзац, опасаясь, как бы читатель не догадался, что я был арестован. Что верно, то верно — читатель нынче догадлив. Тем не менее я обязан (и не намеком) рассказать о том, как узнал изнанку нашего существования, а вместе с этим раскрылась передо мной суть так называемого булгаковского дела, которого не было, но которое существовало, как существует до сих пор…

История беспощадна, сколько ее ни фальсифицируй. На глазах летят в бездну страшные кумиры на глиняных ногах, еще вчера обожествляемые. Избави бог, я всегда был далеко от них. Цари того времени еще царствовали, когда меня схватили за шиворот. Не сразу разобравшись, а лишь по ходу следствия, постепенно, я понял, что поступили со мной правильно: преступления не было, ни за какую веревочку не схватишься, но был — дух. Вот именно дух, и от него чадило неотвратимым возмездием…

Дом не может стоять на трех ногах. Не будь слепым! Молись о тайне истолкования. Это, кажется, сказал апостол Павел.

Тяжело писать о себе. Слова, ворочаясь, падают пудовыми гирями.

АРЕСТ

В начале октября 1940 года я стал замечать, что возле моего дома в Мансуровском переулке прохаживается парочка — чаще всего он и она. Иногда они заходили, словно прячась, и в наш дворик. Я решил, что идет слежка за каким-то домом по соседству. Волна арестов тридцать седьмого — тридцать девятого годов чуть схлынула, но в городе было тревожно и нехорошо. Почти совсем исчезли «черные вороны». Днем по городу катили фургоны с надписью «Хлеб», хотя вместо хлеба, рассказывали, под такой вывеской перевозили арестованных. Впрочем, слухов стало чуть поменьше и спать можно было чуть поспокойнее…

Странно, что я забыл точную дату. Кажется, 29 октября мы с женой провели вечер у Шапошниковых[87], то есть по соседству, в Большом Левшинском. Возвращались около двух часов ночи. Парочка прогуливалась по другой стороне переулка, напротив нашего дома. «Гуляют, — сказал я, — и какой-то несчастный не подозревает, что вот уже месяц охотятся за ним». Эта картинка стала для нас привычной, и мы спокойно вошли в калитку. В голову не приходило, что этим несчастным был я.

Лишь только мы легли спать и погасили свет, как раздался резкий звонок и нетерпеливо забарабанили в дверь. И вот в нашу крохотную квартирку вдвинулись люди. У окон и двери тотчас встали конвойные, а человек в штатском пальто протянул мне бумагу: «Вы арестованы».

Позже я узнал, что ордер на мой арест был подписан вторым секретарем правления Союза писателей Петром Андреевичем Павленко[88]. В те беззаконные времена почему-то соблюдалась формальность, по которой член ССП мог быть арестован только по ордеру, «завизированному» одним из секретарей Правления. А еще позже мне стало известно, что Фадеев отказался дать свою подпись, заявив, что он знает меня и ручается за мою политическую благонадежность. Представитель органов безопасности (тогда НКВД) отнюдь не настаивал, вежливо откланялся и, пройдя приемную, вошел в соседний кабинет второго секретаря. Там нужная подпись была им тотчас получена и таким образом формальности соблюдены.

Обыск у меня начали без промедлений. На мои вещи набросились сразу, как будто они могли исчезнуть, ускользнуть, раствориться в воздухе. Впоследствии я узнал, что обыск продолжался более суток. Ну еще бы! Это была поистине трудоемкая работа, потому что мой узкий, как пикап, кабинет

был завален книгами и бумагами. Я видел лишь, как начали вываливать на пол книги, рукописи, бумаги, папки. Во время этого динамитного разгрома у меня пересохло во рту, захотелось пить, и я потянулся к графину, но тут же был остановлен человеком в штатском: «Нельзя». Я отдернул руку, как от электрического тока, и вдруг сразу почувствовал, что уже не принадлежу себе…..

Меня вывели из дома. Начинало светлеть. Запомнил розовеющее, предрассветное небо, свежий, пробирающий ознобом холодок. Я еще не понимал, что прощаюсь с прежней жизнью навсегда. У калитки ждала легковая машина, а не «черный ворон» и не фургон с надписью «Хлеб». «Везут, как важного преступника», — подумал я, усаживаясь сзади, а с двух сторон, зажав меня, уселись конвойные, два безусых розовощеких парня.

Улицы были пустынны. Обогнув Лубянскую площадь, мы свернули в переулок, и там огромные тяжелые ворота беззвучно открылись и впустили нас во двор внутренней тюрьмы. И Лубянка поглотила меня.

ПЕРВЫЕ ОШЕЛОМЛЕНИЯ

Остаток ночи и утро следующего дня я провел в «боксе», размером чуть больше кабины телефона-автомата, в котором можно было стоять или сидеть, поджав ноги. Окон не было, высоко наверху тлела лампочка слабого накала. Состояние у меня было шоковое, невозможно припомнить, сколько времени я там находился. Тут действовали, как я теперь понимаю, по одной и той же нехитрой, но хорошо отработанной системе. Выдержав положенное время, меня сразу провели в чей-то просторный ковровый кабинет. В его режуще-солнечном свете (я стоял против окон) передо мной возникли силуэты военных в энкаведистской форме, мне показалось, что их очень много, и все они почему-то, едва я вошел, стали громко кричать на меня. Они кричали негодующе, перебивая друг друга, словно нарочно создавая сутолоку из голосов, но из их крика я все же понял, что меня обвиняют в наглой пропаганде антисоветского, контрреволюционного, подосланного белоэмигрантской сволочью, так называемого писателя Михаила Булгакова, которого вовремя прибрала смерть. Как я ни был сбит с толку, но все же пытался объяснить, что ни я, ни Союз писателей не считаем Булгакова контрреволюционером и что, напротив, мне поручили привести в порядок его сочинения, имеется специальное постановление, и что я… Несвязные обрывки моих

объяснений вызывали всеобщий хохот, меня тотчас прерывали и опять, словно состязаясь друг с другом, кричали, пока кто-то коротко не приказал: «Уведите его. Пусть подумает».

После этого безупречно разыгранного спектакля меня повели по коридору. Не помню подробностей. Я был оглушен. Лестничные проемы с висящими сетками (чтобы подследственные от отчаяния не кидались вниз). Этаж — один, другой, потом ступени — все темней и ниже. Полуподвал, наверно, или так показалось? Меня привезли в баню. Одежду отобрали, приказав: «Мойся». Сунули обмылок и кусок мочалки. Я стоял голый, в легком пару, ползущем как из преисподней. Очки с меня сняли. Я растерянно потер руки и помыл лицо, после чего меня вытолкали в предбанник и положили передо мной комок моего белья и смятый, как тряпка, костюм — то и другое горячее, только что вынутое из парилки. «Живей, возиться с тобой!» Ремня на брюках не оказалось, но тогда я еще не похудел и брюки не спадали. «Иди, иди, руки назад!» Очков не вернули. Я шел подслеповатый и словно бы очищенный от всех миазмов так называемой вольной жизни. Тут путь был короток, меня подняли на лифте, а затем я перешагнул железный порог контрольного пункта, и это была уже другая половина таинственного мира, шепотом произносимого — Лубянка, — ее внутренняя тюрьма. Я очутился в камере.

КТО ОНИ?

Не стоит удивляться тому, что я, погруженный в себя, все еще одурманенный, не разглядел ни одного лица, хотя все уставились на меня испытующе. Я стоял, без очков, беспомощно озираясь. Кто-то спросил, давно ли я с воли. Я ответил. Переглянулись. «За что же вас?» — «Должно быть, по недоразумению, сам не пойму». — «Понятно». — «Думаю, вот-вот вызовут, и все разъяснится». — «Безусловно». — «Да, конечно». — «А пока вызовут, ложитесь, вон там свободная койка». Я лег, чувствуя, что они продолжают рассматривать меня. Я не знал еще, что к каждому новенькому относились всегда подозрительно — не подсадная ли утка?

В этот день со мной больше не заговаривали. Я находился все в том же тяжелом полусне, а жизнь в камере текла в своем обычном однообразии. Кто-то играл в шахматы. Кто-то читал. Переговаривались шепотом.

Оживление возникло при раздаче обеда. «Сегодня овсянка!» — радостно возвестил кто-то. Из рук в руки передавали миски. «Садитесь», — пригласили и меня. Все уселись за стол и не спеша,

расчетливо обедали, и я поковырял ложкой свою кашу и отодвинул тарелку. «Сперва всегда так бывает, но это скоро пройдет, — произнес старик, обросший седой щетиной, и суетливо добавил: — Но ежели вы не будете, то я воспользуюсь?» «Пожалуйста», — сказал я, и тонкие, артистические руки быстро придвинули к себе мою миску. «Быстрота и натиск», — сказал кто-то с усмешкой, но, пожалуй, с некоторой долей зависти. «Опыт», — прогнусавил чей-то голос. Старик, выскребав ложкой кашу, вылизывал мою миску, и все смотрели на него.

К вечеру, когда уже улеглись спать, громыхнула дверь. Тотчас испуганно приподнялись головы. «На букву Е? — шепотом произнес надзиратель. — Имя? Отчество?»

Все успокоились — на допрос вызывали меня, сердце мое колотилось.

Коридор. Железная дверь, проходной пункт. Коридор. Лифт. Тишина. Коридоры, коридоры. Меня привели к следователю.

ПЕРВЫЙ ДОПРОС

Я сразу узнал его. Им оказался тот самый человек в штатском, который присутствовал при моем аресте и обыске. Теперь он был в форме (на петличках два кубика). Розовенький, чистенький, носик редисочкой, коротко подстриженный лейтенантик смотрел на меня голубыми бусинками глаз вполне дружелюбно и показался мне сперва даже симпатичным. Он указал мне на стул поодаль от себя, у стены. Перелистывая бумаги в папке, он сказал, что я, без сомнения, нисколько не удивлен своим арестом. Взволновавшись, я возразил, что, напротив, до крайности удивлен и ровным счетом не понимаю, почему это могло произойти? Не обратив на мои слова никакого внимания, он, словно бы подавив вздох, сказал ровным голосом, без каких-либо интонаций, что моя жизнь и деятельность давно хорошо известны и от меня, в сущности, потребуются лишь кое-какие уточнения. «Какие уточнения?!» «Не нужно повышать голоса, — сказал он. — Извольте, для ясности изложу вам, в чем именно вы обвинены». Обвинен? Даже не обвиняюсь, а уже обвинен?! «У нас зря не арестовывают, — разъяснил мне следователь. — Те, кто предположительно обвиняется, еще ходят по улицам, вон за этим окном. Ну а вы…» Я слушал его с изумлением. По его словам, получалось, что вскрыты мои давнишние шпионские связи с Японией, а мое знакомство с представителем итальянской фирмы «Фиат» стало носить столь откровенный характер, что проследить за ним не представляло трудности. Странное знакомство с господином Пиччином, не правда ли? Поездки за город, регулярные встречи… Да и вообще, среда, в которой вы предпочитали вращаться, как на подбор, сборище антисоветски настроенной московской интеллигенции…

— Позвольте, почему вы мои встречи с друзьями называете сборищем? — спросил я.

Он не ответил и опять лишь вздохнул, а далее наш разговор продолжался примерно так:

— Вам знакомо имя Лямина Николая Николаевича? — спросил он.

— Да, конечно. Он дружил с Михаилом Афанасьевичем Булгаковым.

— Булгаков меня не интересует. О покойниках не говорят дурно, — строго перебил меня следователь. — Ну а что вы скажете о Николае Николаевиче?

— Я знал его мало. В начале тридцатых он был арестован и

выслан.

— Ах вот как! — изумился следователь. — И где же он теперь?

— Не знаю. Кажется, умер. — Понятно. Вы, если не ошибаюсь, проживали в Мансуровском переулке, дом номер девять, принадлежащем Сергею Сергеевичу Топленинову?

— Да. Вы же у меня были. Сергей Сергеевич — художник…

— Его, кажется, тоже высылали?

— Да, он был некоторое время в ссылке, но это до моего переезда в его дом.

— Ну и как он теперь себя чувствует?

— Хорошо. Он один из лучших макетчиков, выполняет заказы для Большого театра и для Художественного.

— Надо полагать, что он в связи с этим работает и по эскизам художника Дмитриева?

— Да. А что?

— Прекрасный художник Владимир Владимирович. Он живет в Ленинграде, насколько мне известно, но у него неприятность — арестовали жену. Вету… забыл отчество… Впрочем, это, надеюсь, не отразится на его работе?

— Недавно он награжден орденом «Знак Почета», — хмуро сказал я.

— Да-да. А профессора Каптерева вы знаете?

— Нет.

— Но как же так! Бываете в доме композитора Сергея Никифоровича Василенко и историка литературы Сергея Константиновича Шамбинаго…

— Я у него учился.

— Но его дочь Татьяна Сергеевна была замужем за профессором Каптеревым, а Каптерев досрочно освобожден из лагеря в связи с важным открытием в области вечной мерзлоты, хотя он, кажется, психиатр по специальности, и он уже в Москве.

— Дело в том, — сказал я, еще более хмурясь, — что Татьяна Сергеевна разошлась с Каптеревым.

— Не из-за Владимира ли Николаевича Долгорукого, бывшего князя, даже, так сказать, великого князя?

— Не знаю.

— Ах, Сергей Александрович, будто бы? Ведь он живет в Померанцевом переулке, в доме доктора медицины Василия Дмитриевича Шервинского, у которого снимают квартиру ваши друзья Леонтьевы и Арндты, а также и Владимир Николаевич. Он, кажется, литераторствует под фамилией Владимиров?

— Да.

— Прекрасный человек Владимир Николаевич Долгорукий!

Однако что это мы пустились в семейные истории? А как с японцами?

— С какими японцами?

— Сергей Александрович! Помилуйте! Неужто вы забыли, что учились в Институте востоковедения на японском отделении и жили в общежитии бывшего Лазаревского института и там с вами находились японцы.

— Не японцы, а корейцы. Правда, один из них был из Токио, окончил Токийский университет, а другой — поэт.

— Поэт? Как интересно!

— Дело в том, — неизвестно почему заволновался я, — Институт востоковедения назывался тогда Институтом живых восточных языков, и там обучались мы, русские, разным языкам — арабскому, китайскому, персидскому, я — японскому, а вместе с нами учились студенты из стран Востока, у которых была другая программа, и они проходили курс русского языка. Затем из этого института образовалось два вуза — Институт востоковедения и Институт народов Востока.

— Нас такие подробности не интересуют. А как в дальнейшем развернулись ваши дружеские связи с корейцами японского происхождения?

— Никак не развернулись. Я получил комнату, уехал из общежития, институт не окончил, продолжая заниматься лишь в университете на факультете общественных наук. Я филолог.

— Филолог. Понятно. А японцы куда делись?

— Но ведь это было в начале двадцатых годов. Я давно потерял их из виду и не знаю, где они теперь.

— Значит, так: переключились на итальянцев?

— Переключился? Почему — переключился?

— Я говорю о вашей дружбе с представителем итальянской автомобильной фирмы «Фиат» господином Антонио Пиччином.

— Дружбы никакой не было и нет. Господин Пиччин женился на давней подруге моей жены, и я посчитал неприличным оборвать знакомство, как будто у нас боятся встречаться с иностранцами.

— Да-да… Смотря с какими иностранцами…

— Но в данном случае мое знакомство с Пиччином носило чисто формальный характер. Я могу дать объяснение и рассказать о всех встречах…

— Не торопитесь. У нас будет достаточно времени поговорить обо всем подробно. Подпишите протокол.

С этими словами он предложил мне подойти к столу и протянул листок.

— Вот тут подпишите. И вот тут. Очень хорошо. Советуем вам

серьезно подумать о своем положении.

— О каком положении?!

— Тише. — Он посмотрел на меня, и я увидел его голубые бусинки: в них не было ни раздражения, ни гнева. Он механически выполнял то, что было ему предписано.

— А ведь вы нервничаете, — вдруг с удовольствием произнес он и вызвал конвойного.

МЕНЯ ОФОРМЛЯЮТ

Я шел по коридору, и на душе становилось все беспокойнее, как будто меня опутывали какой-то паутиной, неизвестно зачем и неизвестно почему. Казалось, так просто ответить на все вопросы, но я словно бы уперся в стену, попал в ловушку. Я тогда еще ничего не понимал. А меня вели коридорами, за которыми была каменная тишина, и привели не в камеру, а к парикмахеру.

Заспанный человек в черном халате посадил меня на стул и, вооружившись машинкой, прорезал мои волосы нулевой полосой. «Позвольте, я не осужденный, я под следствием». — «Помалкивай!» И машинка неровными полосами оголила мою голову.

Затем я очутился у фотографа. Меня сняли в профиль и в фас (как преступника), а после фотографа (и еще не опомнившегося) втолкнули в помещение, освещенное яркой настольной лампой. За столом сидел человек в очках, с совиными глазами, крючконосый. Без лишних слов он стал прикладывать кончики моих пальцев к мастике и оставлять следы от них на белом листе. Профессор этой черной магии действовал быстро, оборвав мой протест на полуслове: «Живей, возишься тут с вами с утра до ночи». У меня взяли отпечатки пальцев и увели.

БУДНИ В КАМЕРЕ НА ЛУБЯНКЕ

Я вернулся, когда все спали. Никто не шевельнулся. Наверху горела одинокая яркая лампочка. Дверь захлопнулась за мной. Затем тотчас открылся глазок в двери: надзиратель удостоверился, что в камере продолжается спокойный сон и руки у всех аккуратно выложены поверх одеяла. Глазок закрылся, и тогда головы спящих арестантов приподнялись. Они посмотрели на меня. Мой преображенный вид никого не удивил. Кто-то проворчал: «Любят они проделывать все ночами. Ночные крысы». «Тсс, — отозвался кто-то. — Не хватает еще в карцер угодить».

Затихли. Головы опустились на подушки.

Мне не спалось. Звездочка на потолке расплывалась, и затем угарное забытье постепенно овладело мною. Может быть, в этом полузабытьи я простонал. Старик, доедавший мою кашу, неслышно соскользнул со своей постели и подсел ко мне. Его тонкие, сухие пальцы тронули мой лоб.

— У вас жар, это бывает, — произнес он шепотом. — Это нервное. Он был с вами груб?

— Напротив, очень вежлив.

— А!.. — понимающе кивнул головой старик.

— Завтра он меня вызовет и я потребую объяснений, почему меня постригли, словно я уже осужден. Взяли отпечатки пальцев. Фотографировали…

— Завтра он вас не вызовет.

— То есть, как это?

— Примерно с недельку он продержит вас без вызова. Тсс!

Как зверь чует опасность, так этот старик угадывал приближение надзирателя к нашей двери. Он был уже в постели, когда на несколько секунд приоткрылся глазок. Затем шаги стали удаляться, и мы продолжили разговор.

— Никак не пойму, что происходит, — зашептал я, свесившись со своей койки, чтобы быть поближе к старику.

— Вижу, вернее, чувствую, что накручивают вокруг меня какое-то дело, а его и в помине нет.

— Может, есть, а может, нет, не в этом суть. С преступниками просто. Поймал — и разматывай веревочку. А что делать с такими, как я или, должно быть, вы?

— А ничего с нами не надо делать.

— Э нет. Сейчас не тридцать седьмой. Начинается новое. Только-только начинается.

— Что — начинается?

— Политические нашлепки — это по инерции. А главное — в уловлении духа. Нежелательного, необъяснимо настораживающего, то есть чуждого, понимаете? Его инстинктивное, мистическое уловление, но все той же, отметьте, государственной машиной.

— Но ведь это же абсурд, чертовщина какая-то!

— Не абсурд, но согласен — чертовщина. В широком охвате она еще далеко впереди. И уж тут — у кого как. Мимо одного проехало, на другого наехало. Считайте, что вам не повезло и вы попали под машину, точнее — в машину. А раз так, то она начнет перемалывать и переламывать. В этом случае, поверьте мне, у вас одна задача — скользить, скользить не сопротивляясь, чтобы не попасть под ее зубья, иначе вас разорвет в клочья.

— Бог знает, что вы говорите, — прошептал я, и словно ком сжал мое горло.

— Я об этом не сразу догадался. — Шелестящий голос старика дрогнул. — Да, не сразу. Вот и пришлось очень много и абсолютно бессмысленно перетерпеть. По глупости, по глупости… понимаете, по глупости!..

— Так что же, по-вашему, надо делать?

— Не сопротивляться. Вы в машине, — глухо отозвался старик.

— Извините, но я в эту мистическую машину не верю. — Ладно, мы еще поговорим. Спите. Тсс! Тсс!

Шаги. Глазок. Тишина.

И вдруг я заснул. И тогда впервые приснились мне сказочные Чарусы. Такого места нет на земле, и название это тоже приснилось мне в ту первую ночь. Река. Катер, которым я командую. Праздничные гости, которых я приглашаю на прогулку. И тихий шум мотора. Раздольная река. Непонятно, почему все это? Почему такой сон? Но он не раз потом возвращался ко мне, лишь только я засыпал. Не могу восстановить в памяти имен своих сокамерников, я забыл их, а этот сон помню. Должно быть, из-за его полнейшей несовпадаемости с тем, что меня окружало, с теми тревогами, которые нарастали у меня с каждым днем…

Впрочем, старика я запомнил. Пеструю смесь людей, просуществовавших со мной в разных камерах, почти всех забыл, а его запомнил. Его звали Николай Петрович Киселев. Его имя мне показалось знакомым, а позже я убедился, что это тот самый Н. П. Киселев, о котором упоминает Андрей Белый в своих мемуарах, книголюб, собиратель книг, специалист по романтикам и по трубадурам, весь, по выражению Белого, «экс-либрис», утонченный знаток древних ритуалов, истории тайных, мистических обществ! Бог мой! Начало века! Целая полоса бурлящей, путаной-перепутанной жизни московских интеллектуалов! Разумеется, разговаривать с ним было интересно, и это отвлекало меня от неотвязных мыслей о своей судьбе.

— Белый вспоминает обо мне, что был я высок, худокровен, — рассказывал мне старик. — Пенсне на черной ленточке — представляете? — тощие усики, туго накрахмаленный высокий воротник и лицо серпиком. Вот какой я был, оказывается! — Он засмеялся. — Он еще говорил, что был я сухарь доскональный, но таил в себе взрывы страстей! Кто бы мог подумать про эти взрывы, когда я служил в Румянцевской, нет, простите, в Ленинской библиотеке… Я служил там до ареста.

Именно так: сухарь доскональный. Обломок каких-то умерших культур…

Шлидни. На допрос меня не вызывали. Мой старик уверял меня, что все идет нормально — обычный банальный прием следователя. Надо терпеть и ждать. И опять, уже не в первый раз, развивал передо мной свою любимую теорию об «уловлении духа». Он внедрял в меня мысль, что процесс этот неостановим и в конце концов проникнет во все поры нашей жизни. Он рассуждал как человек постигший все закономерности происходящего и посему успокоившийся, но глаза его были тревожны. Он говорил, словно ломая какие-то душившие его преграды. Я подсмотрел это уже после первого нашего ночного разговора. Помню, как, едва он замолк, я тут же буквально провалился в сон, очень измученный за день. Меня закружили дивные чарусские видения. Помню, проснулся внезапно, будто меня подтолкнули изнутри, и сразу в мое сердце остро ударило: я в тюрьме! Чуть брезжил свет из-под опущенного козырька над зарешеченным окном. Нельзя было не ощутить надышанный смрад от мертвенно спящих людей. Я затравленно оглядывался и тут увидел моего мистического старика. Он не спал и, лежа на спине и закрыв лицо руками, буззвучно плакал. Я тотчас отвернулся к стене, чтобы не мешать ему…

Нет, я еще ровным счетом ничего не понимал. Тюремная жизнь медленно всасывала меня. Один день не отличался от другого. Утром нас выгоняли «на оправку» в сортир. Два человека, в порядке очередности, несли парашу, заполненную мочой. Они выливали ее, а остальные не мешкая, занимали «очко» и усаживались орлами. Дежурные, покончив с парашей, тоже поспешно усаживались и, старательно тужась, опорожняли желудок. Мне приходится останавливаться на этих натуралистических подробностях, потому что без них человеку на воле непонятна такая простенькая (а на самом деле не простенькая) вещь, как приспособление к тюремному режиму. Надобно приучить организм к регулярному утреннему испражнению в течение десяти минут. Днем не всякий надзиратель проведет тебя в сортир — вот и вертись. А ежели устроишь большое дело в парашу, то это не может не вызвать справедливого негодования сокамерников. В самом деле, можно ли терпеть вонь? Параша приспособлена лишь для дел легких. Я говорю об этом, потому что видел, как мучился один мой сокамерник, страдавший кровавым геморроем, и мужественно выдерживал до утра. А находился я на Лубянке, в тюрьме первого класса, в которой блестели паркетные полы, тщательно нами натираемые, в камере стояли человеческие кровати и хотя воздух

был несвеж, но все же из-за высоких потолков было чем дышать. Только побывав в других тюрьмах, я оценил Лубянку: таинственную тюрьму, притаившуюся в глубинах здания, когда-то принадлежавшего страховому обществу «Россия», а ныне разросшегося в самом центре столицы. Парадные подъезды выходили на площадь, они впускали «вольных», а за углом, в огромные, тяжелые ворота ввозили арестованных: «черные вороны» въезжали туда, и люди чаще всего пропадали навеки в загадочных для всего мира, прожорливых недрах. Державное здание разрасталось, уползая в мрачные переулки и в глубь необозримого двора. Оно было величественно, это здание бывшей «России», но останавливаться разинув рот и разглядывать его отнюдь не следовало. Площадь позже будет украшена памятником Рыцарю революции, а от нее покатится оживленная улица к Большому театру, в начале которой возникнет сияющий «Детский мир». Наша тюрьма безукоризненно была организована! Старожилы рассказывали, что до того как при Ежове надели козырьки на окна, в камерах было даже светло и заглядывало солнце.

Но сортиры были вонючи и грязны. Зато, возвращаясь после оправки, мы сразу попадали в чистые, как побритые, коридоры, в которых царила погибельная тишина. Дверь защелкивалась за нами ненадолго: приносили хлеб. Хлеб назывался пайкой. Наиболее ценилась горбушка. Вычислили, что в ней больше веса. Самой невыгодной считалась средняя часть с довеском. Горбушку полагалось брать по очереди — сегодня ты, а завтра я. Впрочем, в некоторых камерах пайки разыгрывались, но это приводило к драмам.

Когда приносили кипяток, начинался утренний завтрак, проходивший в благоговейном молчании. У каждого была своя система распределения хлеба. Одни делили его на три части и поедали равными порциями утром, за обедом и вечером, другие, не выдержав, съедали утром почти всю пайку, считая самым важным утреннее насыщение, хотя потом с тяжкой завистью косились на соседей, которые со смаком доедали свои крохи. Хлеб был хорош! Не раз впоследствии вспоминалось о нем! Кроме того, почти у всех было дополнительное питание — сахар, сыр, колбаса. Один раз в десять дней у нас появлялся человек из тюремной лавки и приносил заказ. Разумеется, для этого надо было располагать деньгами. Их ограниченную сумму разрешалось переводить на счет заключенного. И тут у каждого тоже была своя система, что именно заказать — сыр или колбасу, табак или папиросы. Вычислялись калории, вычислялись выгоды и преимущества того или иного продукта, учитывая ограниченные

нормы. Но сыр-то был, колбаса-то была! Немного прошло времени, чтобы все это стало казаться таким же неправдоподобным, как мои чарусские сны…

Мы намазывали масло на хлеб, мы ели колбасу, вдыхая ее неповторимый аромат. И странное умиротворение царило в камере.

Что происходило вокруг? Что происходило с людьми, которые окружали меня? О своем «деле» никто не говорил, рассказывали, бескорыстно привирая, о роскошной жизни, которая была у них на воле, любили со смаком обменяться опытом по части ресторанной кулинарии, вспоминая любимые блюда, и гораздо реже о женщинах, словно плоть моих сокамерников умерла до срока, они стали целомудренны, чужды всякому цинизму, даже не по возрасту стыдливы, и лишь по отдельным восклицаниям я улавливал ту тревогу, которая продолжала потаенно угнетать их.

— Интересно все-таки — суд или ОСО (Особое совещание)?

— Какой суд? Не знаю, как у вас, но меня вынести на суд нельзя.

— Ну, знаете, никому не известно, можно или нельзя.

— Не вижу разницы. Все равно лагерь.

— Не так плохо. Воздух. Работа. Письма. Посылки.

— Не благодушествуйте. Бывают такие лагеря…

— Бывают, бывают… Оставьте об этом… Лишь бы не началось опять…

— Не думаю.

— Ха! А те, кого вы назвали, могут потащить и на новое доследование, вам не приходило это в голову?

— Но я все, все, все признал!

— Ну и сидите спокойно.

— Бросьте эти разговоры! Черт знает что такое! Лучше я вам расскажу про блины в «Национале», где меня знал в лицо каждый официант…

— Плевал я на ваш «Националь», разве там блины? Николай Петрович, расскажите-ка, как было в ваши времена у Тестова?

— Но неужели все-таки лагерь? — возникал опять первый голос в какой-то немыслимой тоске.

— А вы, может, в ссылку захотели — в село Михайловское или в Пермь?

Все нехорошо захохотали.

И тут приоткрывалась передо мной истинная картина того, что пережили эти люди в стенах нашей комфортабельной тюрьмы, что с ними было и что с ними стало. Мне кажется, я понял наконец, что передо мной безнадежно несчастные люди,

ибо они предали себя, подписав фантастические небылицы, возведя клевету не только на себя, но и на своих друзей, знакомых и даже приблизительно знакомых. Насколько же ужасен был нажим следствия, ежели они пошли на это? Страх охватил мою душу, но я не мог подробнее расспрашивать их об этом. Не того боялся, что буду бестактен по отношению к ним, а потому что боялся самого себя, своего страха.

НАЧАЛОСЬ…

Глубокой ночью растворилась тяжелая дверь нашей камеры. Но уже и до этого, когда лифт, заскрежетав, остановился явно на нашем этаже, все испуганно привскочили. Да, они больше всего боялись вызова на допрос. Но никого не потревожили, вызывали меня.

Наконец-то! Больше недели я ждал этого часа. Занервничав, подгоняемый зловещим шепотом надзирателя, я натягивал штаны и никак не мог утихомирить себя. Главное — не волноваться. Нет никаких причин для волнения. Мысленно я давно подготовил ответы на любой вопрос, и меня нельзя сбить с толку, запутать, потому что мне не нужно лгать. Я имею право возмутиться, даже повысить голос, на каком основании меня здесь держат? Размышляя таким образом, я шел впереди конвойного по пустынному, тишайшему коридору. У меня чуть сползали брюки, потому что ремешок был отобран еще в бане, я подтягивал их и по мере приближения к кабинету следователя окончательно успокоился. Твердость в голосе, без излишних выпадов, и достойная отповедь на беззаконное обращение со мной как с преступником, именно так я наметил свое поведение, но едва вошел, направившись к столу, как следователь сразу накинулся на меня:

— Куда прешь? Назад! К стенке!

Рукой он прикрыл тяжелую чернильницу, опасаясь, что я схвачу ее, что ли, и ударю его? А я, ошарашенный его окриком, отступил на два шага и опустился на стул, на котором сидел во время первого допроса.

— Встать! Не в гости пришел!

Я встал.

— Сесть!

Я сел.

— Встать!

Я встал.

— Обдумал, что будешь писать?

— А что я должен писать?

— Ах, е…..в рот, притворяется, что не понимает!

— Позвольте…

— Молчи, гад! Я твою поганую глотку заткну, шпион! Думаешь, здесь будут с тобой церемониться? Забыл, сволочь, что сказал великий пролетарский писатель Максим Горький? «Если враг не сдается, его уничтожают».

Далее на меня обрушилась отборная матерщина. Замарать ею чистый лист бумаги я не в силах. Знаю, конечно, что нынче в моде украшать прозу циничными словечками. Это как бы свидетельствует о так называемой раскованности писателя, бесстрашно фиксирующего язык своего современника. Тут, думаю, я мог бы перещеголять многих любителей эдакого городского фольклора, ибо находился едва ли не в центре его лабораторной обработки. Дело в том, что, очутившись среди уголовников и лагерников (об этом я еще расскажу), мне вплотную пришлось убедиться, что блатная лексика просочилась в наш быт именно оттуда, из лагерей, и, должно быть, первыми усвоили ее наши лубянские следователи. Они ее не только усвоили, но и, отработав, отточив, пустили в жизнь. Я, пожалуй, не устрашился бы воспользоваться некоторыми оборотами моего голубоглазого следователя, но обилие скверных слов удерживает меня делать это. Языковедам, надо полагать, придется покопаться и в этой грязи, а меня — увольте.

Разумеется, мне пришлось бы, зажав нос, попытаться восстановить весь словесный ужас допросов, свалившихся на меня, если бы это в какой-то мере прояснило суть предъявляемых мне обвинений. Напротив, происходила намеренная бессмыслица. Схема, намеченная следствием, как я сообразил потом, преследовала одну цель: сбить с толку, унизить, лишить воли к сопротивлению, не дать опомниться, испугать. Эта схема, видимо, была давно отштампована, особенно в применении к таким «преступникам», как я. Следователь действовал по шпаргалке, механически наливаясь гневом, возвышая голос, грозя. Затем, розовощекий, шел домой, пил чай в кругу семьи или отдыхал среди таких же, как он, молодцов. Их были сотни и сотни, этих маленьких садистов. Где и как их выделали, не пойму, но развращались они легко, наслаждаясь своей маленькой властью, и все самые низкие инстинкты подымались и росли в них…

Это я понял позже, а тогда чувствовал лишь, что меня загоняют в ловушку и мне надобно обороняться, потому что в каждом вопросе таились коварные хитрости. На самом деле все было грубее и проще.

Меня стали вызывать каждую ночь, иногда раньше, иногда

позже, но продолжалось все то же самое — тот же крик, те же вопросы. Как-то заглянул полноватый человек в штатском, внимательно посмотрел на меня и спросил у вытянувшегося в струнку следователя:

— Ну, как дела?

— Молчит.

— Нехорошо, — покачал головой штатский. — Так, так, — вздохнул он. — Посмотрим, посмотрим. — И ушел.

— Из-за тебя одни неприятности, — буркнул следователь и уткнулся в бумаги. Но лишь только я попробовал что-то произнести, тут же оборвал меня новым матерным выкрутасом.

На третью или четвертую ночь, сделав строгое, официальное лицо, он произнес:

— Подойди к столу и распишись. Тебе предъявлено обвинение по статье 58-й. Прочти, прежде чем подписывать. Читать умеешь, интеллигент с высшим образованием. Видишь — пункт первый: измена родине и шпионаж. Далее — участие в контрреволюционном заговоре и антисоветская пропаганда.

— Но это же чистейший вздор!

— Что-о? Санкционировано прокурором. И это ты называешь вздором?

— Однако же на каком основании?

— Опять антисоветчина! Хочешь сказать, что у нас зря арестовывают?

— Я хочу сказать…

— К стене. Твои показания не нужны. Нам без них все известно. Но я дам тебе лист бумаги, и ты сам подробно ответишь на все вопросы. Назовешь сообщников, хотя мы их знаем и без тебя. Я облегчаю твою участь. Ясно?

— Нет. Я уже говорил и повторяю, мне нечего писать.

— Черт с тобой! Пропадай твоя засраная телега! Иди в камеру и подумай.

ДОПРОСЫ, ДОПРОСЫ…

……..

ПОВОРОТ

Вышеозначенное многоточие обозначает, что я не могу восстанавливать ужасающее по цинизму сквернословие. А ничего другого, по сути, не было. Однако меня порядком издергали

тупые еженощные сидения.

О, разумеется, то, что творили со мной, ничтожно по сравнению с тем, что видели эти стены. Надо ли об этом писать? Ведь очень много страшных свидетельств уже давно опубликовано, если не у нас, то за рубежом, и они стали известны всему миру. А в годы «оттепели» немало рукописей посыпалось к Твардовскому в «Новый мир», они лежали в сейфах редакции, ожидая своего часа. Потом исчезли, но, наверно, сохранились где-то в потемках, притаившись. Что я могу к ним добавить?

Без сомнения, я счастливчик, чудом спасшийся. Моя история — лишь слабая копия подлинно трагических судеб. И все-таки, преодолевая как тяжкий груз, я пишу, потому что в моем «деле» обнажились причины, важные не только для меня. Их не сразу открыли передо мной с бесстыдной откровенностью. Нужна была душеизматывающая подготовка, чтобы из меня можно было сделать все, что нужно. Поэтому и затянулось мое пребывание на Лубянке. Я еще долго ничего не понимал, теряя надежду, впадая в отчаяние, не видя выхода.

Машина работала медленно и, не торопясь, дожимала меня.

Следователь сообщал мне, что мои близкие друзья и знакомые подписали показания, нужные следствию, рассказывал, что вызывал мою жену и она призналась, что давно подозревала меня в связях с антисоветскими элементами. «Твоя жена настоящий советский человек, уж кто-кто, а она раскусила, что ты за тип».

Ничему этому я, конечно, не верил и требовал, чтобы мне предъявили письменные показания или дали очную ставку с их авторами.

— Ишь, чего захотел! — небесно улыбаясь, говорил следователь. — Вот они, здесь! — похлопывал он по горе папок, лежавших у него на столе, точно все они составляли мое «дело». — Впрочем, изволь, полюбуйся! — Он с торжеством достал из верхней тощей папки лист бумаги. — Подойди-ка. Узнаешь?

Это был знакомый мне машинописный лист из сценария «Машенька», который я писал вместе с Габриловичем.

— Что здесь было написано? «За родину! За великого Сталина!» Кем зачеркнуто и наверху написано: «За родину!»? Просто «За родину», без Сталина? Чья рука посягнула сделать это?

— Я зачеркнул, и я написал.

— Гадина! — Он сокрушенно покачал головой. — Признается!

— Но я могу объяснить…

— К стенке! — гаркнул он.

Тут опять надобно прибегнуть к многоточиям, но на этот раз они сопровождались гневом оскорбленного патриотизма. Мой голубоглазый следователь кричал, порозовев до ушей, стучал по столу. В дверь просунулась голова. Я увидел малиновые петлички с кубиками, как и у моего.

— Петя, — сказал человек по-домашнему, по-соседски, — когда будешь уходить, загляни ко мне. Я до утра. Клюет.

— Хорошо, Славочка. Успеха.

Дверь прикрылась, и опять продолжалась чуть приутихающая дробь многоточия.

После одного из допросов, на который меня вызвали чуть ли не под самое утро, я вернулся, когда мои сокамерники уже пили утренний чай. Я повалился на постель в какой-то прострации. Все примолкли. Потом кто-то сказал:

— Вам выдали очки, это хороший признак.

— Конечно! — бодро откликнулся чей-то голос. — И знаете, сегодня придет библиотекарь. Тут попадается Мамин-Сибиряк в издании «Нива» или «Тиль Уленшпигель». Выбирайте книгу потолще.

— Лучше всего спите. Мы разбудим, когда он придет. Они были на редкость деликатны. Разговаривали шепотом, потом улеглись на кровати, покуривая, а может быть, вздремнули или читали. Ко мне осторожно подсел мой старик.

— Вы не спите?

— Нет, нет, Николай Петрович.

— Били? — наклонившись к самому уху, шепотом спросил он.

— Ну, как это могло быть? Обычная ругань. И ничего не поймешь.

Киселев вздохнул.

— Отнюдь не собираюсь утешать вас, — сказал он, все так же склонившись ко мне. — Каждый из нас прошел то, что происходит с вами. Мы знаем, это только начало. Будет резкий поворот, и его надобно во что бы то ни стало предупредить.

— Что же я должен делать, по-вашему?

— Что делать? Бог мой! Вспомните Герцена, — жарко зашептал он. — Зверство, своеволие, разврат русского суда и полиции обрушиваются мученичеством на простого человека. Боятся не наказания, а судопроизводства, понимаете? То есть следствия, следствия! Не ошибетесь, если усугубите это высказывание столетней давности.

— Ну, и какой должно сделать из этого вывод?

— Бог мой! Поверьте мне, ваш приговор определен еще при

оформлении ордера на арест. Теперь они хотят выжать из вас дополнительные сведения, авось появится что-нибудь новенькое, применительно к кругу ваших знакомых. Именно это может случиться. А нажим следствия бывает таким, что в полубезумии можно черт знает что наговорить. Подписывайте любое, что вам подсовывают.

— Но ведь я не итальянский, и не японский, и не еще какой-то шпион?!

— Чем нелепее, тем лучше.

— Но ведь мне тогда на законном основании влепят лет десять лагеря.

— Ни за что. Максимум — пять. Это по нашим временам наилегчайший срок. И вы спасены. Не покалечены, как многие, слишком поздно понявшие ошибку своего бессмысленного упорства.

— Я этого не понимаю, Николай Петрович.

— Никто из нас не понимал! — почти выкрикнул он и снова зашептал: — Оглянитесь вокруг. Неужели не видите, какой покой царит в нашей камере! Все самое страшное позади. И ведь можно было обойтись без этого страшного. Не повторяйте наших ошибок. Да-да, посмотрите, какой покой, какой покой… — повторил он и, справившись с одышкой, добавил: — Конечно, нельзя давать советы, но я искренне жалею вас.

— Нет-нет, тут что-то не так… Как можно оболгать себя, а может, и своих друзей заодно? — говорил я, не понимая, что *нельзя* говорить эти слова ему, этому несчастному старику. Я был младенец, я был дурачок и продолжал, горячась: — Да и разве можно жить, потеряв уважение к себе?!

— Еще и это поймете… Уважение к себе… Мертвые слова из другого мира… — бормотал он, вдруг сразу сникнув и отходя от меня.

Яуснул. И он расплылся, исчез, как кошмар, а не явь! Возникли снова и снова мои чарусские видения. Катер плыл по широчайшей реке. Я им командовал. Вокруг расположились мои праздничные гости. И сияющее многонебесье окружало нас.

Потом меня разбудили. Мы обедали. Потом приходил библиотекарь, человек в таком же черном халате, как те, кто оголял мою голову, фотографировал, брал отпечатки пальцев, но в руках он держал стопку книг. Все оживленно разбирали книги, норовя найти потолще. Потом нас выгоняли на прогулку. Мы шли кучкой в сопровождении двух конвойных, нас поднимали на лифте на самый верх. Мы оказывались на небольшой квадратной площадке, окруженной со всех сторон высоченным забором (должно быть, таких площадок было несколько). Мы вышагивали

гуськом, молча, заложив руки назад, в одном неспешном ритме, как вангоговские обреченные арестанты. Внизу шумел город. Мы его не видели, над нами куском висело небо, уже зимнее, низкое, в сырой морозной мгле. Мы были напрочь отгорожены от живого мира, хотя он был рядом, гудел автомобильными гудками, но никто из нас его не видел, а внизу никто не подозревал, что на крыше самого пугающего и загадочного здания в Москве ходят люди, может быть, близкие, может быть, родные, вдруг исчезнувшие, может быть, навсегда…

День продолжался. Наступал вечер, и хотелось его оттянуть. Мною начинало овладевать тягостное ожидание вызова на допрос, такой же, как вчера, как позавчера, как все эти ночи.

Но меня опять не вызывали.

И утром, в дни своего дежурства, я нес парашу, уже умеючи опорожнял ее от зловонной мочи. Вернувшись в камеру, пил чай, толково распределив на порции свою пайку, и, улегшись, раскрыл расхлябанный томик в стертом «нивском» переплете, то был роман Данилевского, кажется о 12-м годе, и принялся читать, присоединившись к всеобщему «покою», о котором твердил мне мой старик.

В середине дня, тревожно всколыхнув всех, в камере появился надзиратель. Спросил по всем правилам, шепотом:

— На букву Е? Имя? Отчество? С вещами. Сейчас за тобой придут. — И ушел.

— Неужели на свободу? — кинулся ко мне мой старик. — Это всегда происходит днем. Запомните адрес, зайдите, расскажите… Неужели?.. — Он обнял меня, и голова его, вздрагивая, припадала к моему плечу. — Я желаю вам счастья… Но, боже мой, я пропаду, пропаду без вас… Ах, боже мой, не подлец ли я?.. Вы там скажите… Господи, будьте счастливы!.. Силы нужны, чувствую, что рухну… Ничего, ничего… Это нервы… Прощайте!..

Он плакал, и я прижимал его несчастную голову. Дверь отворилась с грохотом. Надзиратель крикнул:

— Выходи! Живо!

За спиной надзирателя стоял конвойный. Я натягивал пальто, и старик лихорадочно помогал мне. Остальные сбились в кучу у стола. Кто-то выкрикнул: «Прощайте!» — и я вышел в коридор.

Но меня вывели не на свободу, меня ждал фургон с надписью «Хлеб», и я очутился в Лефортове.

Железные балконы висели над гулкой пропастью, вдоль них тянулись одинаковые двери в камеры с глазком и квадратной кормушкой. Классически ржавый ключ отворил вход в мою одиночку, и дверь тотчас захлопнулась. Я оглядел свое новое жилище. Маленький стол и перед ним намертво ввинченный в каменный пол стул, точнее, одноногое сооружение, наверху которого было приделано круглое сиденьице. Койки я не увидел: она была поднята, прикреплена к стене и заперта на замок. Пока я оглядывался, за мной все время наблюдали в глазок. Я снял пальто, но было холодно, и я накинул его на плечи. Мой пенальчик измерялся четырьмя шагами. Он был сыроват, но вымыт и чист. Я немного размялся, похаживая взад-вперед, и подумал: «Я узник». Эта мысль показалась мне содержательной, но я не знал, чего еще мне надобно опасаться, как развернутся события дальше.

Стемнело. Под потолком зажглась лампочка, достаточно яркая, чтобы наблюдать, что я делаю.

Открылась кормушка, и мне просунули алюминиевую миску с баландой. Недоеденную пайку я принес с собой. Я ужинал, и глазок время от времени на секунду открывался, наблюдение за мной продолжалось. Я подумал: «Меня изучают, я новое насекомое». Мысль, что я уподоблен инфузории под микроскопом и мне некуда деться, показалась мне отвратительной. Кроме того, я устал, мне хотелось прилечь, но это было невозможно. Сидя на кругляшке, я стал невольно подремывать, но меня тотчас окрикнули: «Не спать!» Я вздрогнул и оглянулся. Глазок был закрыт, кормушка тоже.

Который час? Какой тут распорядок дня? Когда можно будет лечь?.. Возник воющий с нарастающей силой звук. Кто-то потом, кажется в Бутырках, сказал мне, что неподалеку от лефортовской тюрьмы испытывают самолетные двигатели. Я не уверен, так ли это, но этот воющий звук, донимавший меня иногда в течение целого дня, я не могу забыть до сих пор. Это был какой-то особый, неприятный и назойливый звук.

Но вот настал долгожданный час: отомкнули койку. На ней лежали одеяло и подушка, набитая соломой, не очень еще слежалой и колючей. Я лег, накрывшись пальто, и вытянулся с замирающей сладостью. Однако это блаженство было

кратковременным.

— На допрос.

И вот передо мной мой голубоглазый следователь. Он показался мне вызывающе чистеньким, розовощеким, отдохнувшим. Я молча встал у стены.

— Да, стульев у нас тут не хватает. Как устроились, Сергей Александрович? Ну, конечно, удобств здесь гораздо меньше, чем в нашей внутренней. Но зато можно сосредоточиться, подумать. О-хо-хо! Надоело мне с вами возиться.

Его вежливость меня насторожила. Я сказал:

— Хотел бы, чтобы вы объяснили толком, что от меня требуется?

Он уткнулся в бумаги, делал какие-то пометки, потом посмотрел на меня.

— Ну и гад же ты, давно таких не встречал. — Подперев голову рукой, посмотрел в окно и добавил в задумчивости: — Сгноишь себя в этой тюрьме, а я пальцем не шевельну. Как сказал великий пролетарский писатель Максим Горький, «если враг не сдается»…

Он зевнул. В это время кто-то рядом с нами, совсем по соседству, страшно закричал, взвыл, взвизгнул, затем что-то тяжело рухнуло. И сразу наступила тишина.

Голубенькие пуговички следователя с любопытством наблюдали за мной.

— Нда, — произнес он.

Я молчал.

— Иногда бывает.

Я не шевельнулся, стараясь сдержать дрожь, которая вдруг пробежала по телу.

— Терпение у всякого может лопнуть, — сказал он манящим шепотом.

Я молчал. Он склонился над своей бумажкой, барабаня пальцами по столу. Позвонил телефон. Он снял трубку.

— Слушаю… Да, это я, лапочка… Нет-нет, сегодня как раз не задержусь… Все нормально. Ничего интересного. Пока… Тоже целую. Положил трубку, посмотрел на часы. Мои ноги слегка одеревенели. Меня пошатывало, клонило в сон. Но этот звонок подбодрил и окрылил — значит, скоро он меня отпустит.

— Да-а, — протянул он, — вот и Рождество. Не за горами и Новый год. Уже елки продают. Ты где раньше встречал? Дома, в ресторане или у друзей? («У друзей» — он подчеркнул.)

— Дома.

— А мы компанией. С нами киноартист Ванька Бобров бывает. Знаешь такого? Конечно, знаешь. Он рассказывал, что

твоя блядь — жена с его приятелем спуталась. Ты этого приятеля тоже знаешь. Ну-ка, прикинь, кто это?

В кабинет вошел энкаведист с такими же петличками, как мой, но с одним кубиком.

— Опаздываешь, — сердито сказал мой.

— Э, наш транспорт! — махнул тот рукой. — Извини.

— Отдельную машину тебе подавать, что ли? С группой надо ездить. К вечеру всегда автобусик. Сидишь, не дует и треп хороший.

Говоря это, голубоглазый собрал портфель и вышел, а вновь прибывший сел на его место. На меня он взглянул мельком, равнодушнейше, как на давно знакомую и надоевшую вещь.

Я припал в стене, чтобы не упасть, и закрыл глаза.

— Не спать, — сквозь зевоту сказал вновь прибывший.

Я открыл глаза. Ноги мои отекали. Что-то вроде тумана стало возникать перед глазами. Невозможно сказать, сколько еще прошло времени, но появился третий сменщик и сел на место второго. Я продолжал стоять.

— Стой, стой, а то карцер, — сказал он, деловито закуривая. — Фу-у, а ведь под утро морозик прихватил.

Уже утро! В глазах туманило, и уже невозможно было сдержать дрожь, а лицо горело. Я мысленно составлял из букв какого-нибудь пришедшего на ум длинного слова разные слова, но в голове начинало путаться, я старался удерживать их в памяти, но они все чаще и чаще ускользали. Окрик «не спать» заставлял меня вздрагивать. Сколько это продолжалось?.. Нельзя на это ответить, я был в полусознании…

Под утро меня возвратили в камеру. Я упал на койку не раздеваясь. Голова кружилась, сон тяжело налипал на меня. Я погружался в тьму, наверно, на миг, потому что уже кричали, казалось, в самое ухо: «Подъем!» Койка поднималась, ее замыкал замок. Мне просовывали кипяток и пайку. Я отламывал хлеб и глотками пил горячую воду, и она согревала мои, по-нездоровому озябшие внутренности. Сидеть на кругляшке было трудно, невольно начинал дремать, свисала голова, но меня тотчас будили. Я вздрагивал, выпрямлялся. Потом меня вели на прогулку. Я шел на нетвердых ногах. Узкий дворик. Грязный, со снегом, в лужицах. Ни одного деревца. Небо.

— Небо, небо! Воздух! Споткнувшись, хотя не скользко было, а от слабости, упал на ровном месте, ткнулся носом в холодную жижу, и что-то сверкнуло передо мной. Кусочек стекла, узенький кусочек, осколок. Неизвестно зачем я сунул его в карман и тут же стал приподниматься. «Ну, что там еще?» — беззлобно окликнул конвойный, наблюдавший за моей прогулкой. Я побрел дальше,

совершая унылый свой круг, держа руки позади, привык уже к этому правилу… И опять камера. Начинали выть, завывать отвратительные моторы. Я ходил по камере, садился на кругляшку, снова вставал и ходил, отламывая по крохам хлеб, с безразличием хлебал баланду и возвращал в открывшуюся кормушку пустую миску. Кормушка захлопывалась. Я опять то присаживался, то ходил. Глазок следил за мной.

Стемнело, зажглась лампочка. Слава богу, приблизился вечер. Пришли. Опустили койку. Я лег!.. Но напрасны были надежды на отдых. Едва липкая тьма — без каких-либо чарусских видений — тьма, тьма, едва она поглощала меня в нежизнь, в блаженное космическое небытие, как слышалось: «На допрос!»

На допрос, на допрос, на допрос!

Трудно восстановить состояние человека, убитого бессонницей. Дни шли за днями, ночи становились пыткой. Ноги мои опухли, они едва держали меня. Голова налилась свинцом.

Однажды мой голубоглазый, вызвавший меня чуть раньше обычного, то есть когда еще не была опущена койка, приказал внести стул и поставить его возле своего стола. Я продолжал стоять у стены. Он сказал, приоткрыв тощую папку и взглянув на меня:

— Ты имел все возможности, чтобы взвесить и обдумать свое положение. Давай подведем итоги. Иди садись.

«Какие итоги?» — подумал я, подходя к его столу, и опустился на стул.

Теперь мы были близко друг от друга. Вообще же эти мошки с кубиками, руководимые незримым начальством, предпочитали держать свою жертву подальше. Рассказывали, что бывали случаи, когда обезумевший подследственный в неистовстве бросался на следователя. Позже узнал я и то, что следователь мог действовать в рамках, указанных свыше, например, на избиение надо было иметь разрешение. Мой голубоглазый меня не боялся, я выглядел вялым и, должно быть, достаточно измученным, неспособным к действию. Но тут привычная стратегическая схема следствия не сработала. Моя измученность вызывала во мне какое-то странное, осатанелое спокойствие.

Голубоглазый приоткрыл папочку так, чтобы я не подсмотрел, что там находится, и вынул чистый лист бумаги, наверху которого было типографически напечатано: «Протокол допроса».

— Будешь отвечать коротко и без увиливаний. Твой ответ будет в точности записан мною. Вопрос первый: на какую разведку ты работал? Кем и когда был завербован?

— Никем и никогда. Не понимаю, о какой разведке вы меня

спрашиваете. И я уже говорил…

— Стоп, ё…..й в рот! «Говорил»! Мало ли что ты говорил! Значит, отрицаешь?

Я глядел искоса, как он аккуратным писарским почерком записывал мой ответ: «отрицает», «не работал».

— Вопрос второй. Назови своих ближайших друзей. Нет-нет, пока только тех, кто входил в твою контрреволюционную организацию.

— Таких у меня не было.

— А связь с Седовым, отпрыском Троцкого?

— Каким Седовым? Я понятия о нем не имею.

— Допустим. Тогда, кто был у вас в центре вашей организации?

— Раз не было организации, значит, не было центра.

— Вы собирались дома или в лесочке, как с Пиччином? Если дома, то у кого? Сообщенники сообщенники кто?

— Какие сообщенники? Я встречался с друзьями и уже называл вам их имена.

— Друзья? Хорошо, запишем.

Он старательно вписывал вопросы и ответы, по-детски высунув кончик языка.

Я смотрел на него. Голова моя немного прояснилась. Сидеть на нормальном стуле было приятно.

Он протянул мне протокол, я углубился в чтение. На записанном ответе — «ездил с представителем итальянской фирмы Пиччином за город и вел в лесочке тайные разговоры» — задержался и вычеркнул эту строчку, написав сверху: «Никаких тайных разговоров с г. Пиччином не вел, несколько раз ездил с ним, с его женой, подругой моей жены, и со своей женой за город на прогулку».

— Ты что мараешь?

— Вы неправильно записали мой ответ, я исправил.

Он смотрел на меня, и губы его раздраженно дергались. Далее я зачеркнул «сообщенники», написал сверху: «друзья».

— Что значит — друзья?

— Друзья — это друзья. Единомышленники.

— То есть сообщенники. Единомышленники или сообщенники — разве не одно и то же?

— Нет, разница.

— Никакой разницы! — вспылил он.

Но я написал: «единомышленники». И пододвинул к нему листок. Он взял его с отвращением. У меня была совсем ясная голова, я был напряжен.

— Ну, сволочь, — сказал он, — за ложные показания тебе

вкатят дополнительно.

— Дайте мне листок бумаги, — вместо ответа попросил я.

— Зачем?

— Хочу написать жалобу.

— Кому?

— Наркому.

— Валяй, валяй! — Он оторвал узкую полоску бумаги. — Валяй, хоть через голову наркома прямо самому товарищу Сталину!

Сунул мне оторванный клочок и огрызок карандаша. Я писал этим карандашом мелко-мелко, чтобы уместить слова, выражающие гневный протест за вымогательство признаний в не совершенных мною преступлениях, пытку бессонницей и безобразное обращение следователя, переходящее всякие границы.

Он внимательно вчитывался в мои строки, шевеля губами, и ротик его складывался в трубочку.

— Ну вот, — сказал он, — еще один антисоветский документик. Можешь быть спокоен, я передам его прямо в руки тому, кому надо.

Он вызвал конвойного и отправил меня в камеру. В ту ночь я спал несоизмеримо больше, чем за все предыдущее время, и встал бодрее. У меня даже появился аппетит. И не покидало невесть откуда возникшее ощущение, что я нанес сокрушительный удар по противнику, отбил атаку. За лучик воображаемой надежды хватается человек как утопающий за соломинку. Я прикидывал в уме и то, и это, и по моим расчетам выходило, что он не должен был меня вызывать сегодня. Привыкаешь ко всему. Я научился, сидя на кругляшке, незаметно вздремнуть и вовремя, лишь приоткрывался глазок, успевал шевельнуть головой. Словом, без обычных страданий я провел этот день, и, едва опустилась койка, я поаккуратнее разложил одеяло, накрылся пальто, приготовившись заснуть. Но мне не спалось. Может быть, я отвык спать? Я ворочался, и тревога нарастала во мне. Я спал и вроде бы не спал. Притихли таинственные моторы. Оказывается, я привык и к ним, без них мне стало невмоготу. Что со мной происходит? Не схожу ли я с ума? Спать, спать! Чувствовал, как бьется, колотится мой пульс: вена на руке. Я живой. Я сплю. Я слышу, как ржаво открывается дверь. Я еще лежу, и то, что происходит, — сон. Во сне: «На допрос!» Нет, не во сне. Меня трясут за плечи: «На допрос!» Все тело мое болит, как после переломов, но я встаю. Я иду.

Голубоглазый сидит, залитый лунным светом. Он мне снится. Нет, он — наяву. Он подходит ко мне и говорит:

— Документик твой прочитали. Получай ответ. И бьет меня кулаком по лицу, по зубам. Я падаю и теряю сознание. Могу вспомнить только, как меня волокли по коридору и я рукавом вытирал окровавленный рот.

Я лежал на дощатой койке и видел лишь желтую точечку лампы — высоко, в черной бездне потолка. Вокруг меня были стены, стены. Крикнуть — и никто не отзовется. Никто никогда не узнает, что со мной. Безответен мой крик. Я бессилен.

«И смертный пот… о, боже мой!
Ему ничем нельзя помочь,
С ним не обменится судьбой
Ни брат его, ни сын, ни дочь…»

Это строчки из «Большого завещания» Франсуа Вийона. Теперь я их забыл и с трудом разыскал в «Аполлоне», они, оказывается, переведены Н. Гумилевым еще в 1913 году. А тогда, в Лефортове, помнил и твердил про себя с тупым отчаянием:

«Лечу, глотая воздух, вниз:
Желчь льется на сердце волной…»

Да, впереди меня ожидал ужас. Только ужас! И решение мое было мгновенно.

Я нащупал в кармане остренький, как лезвие, осколок стекла и, приподнявшись, прислушался. Я уже улавливал малейшее шевеление за дверью. Глазок щелкнул, закрылся, я хорошо слышал, как от моей камеры удалялись шаги. В то же мгновение я полоснул осколком по вене на левой руке. Кровь брызнула. Но они бдительны, чертовски бдительны! Ворвались тотчас. В неясном сознании я видел, как вокруг меня суетятся люди, мелькнул человек в белом халате. Мне туго перевязали руку повыше локтя, йодом смазали рану и наложили бинт на порванное место. Нет, рана была неглубока. Я слышал, как они говорили:

— В карцер бы его за это…

— Нельзя, загнется…

— Вам-то что, а мне отвечать?..

Впрочем, мне было все равно, о чем они говорили. Я тихо лежал. Койку в этот день оставили открытой… Языком я нащупал дыру вместо переднего зуба, но боли не было. «Хороший был зуб, но, наверно, ослаб от недоедания и не выдержал удара», — подумал я. Мое детство связано с ним. Ах, честолюбивое

мальчишечье детство! Мои приятели, пошуровав во рту, склеивали слюну в комочек, как пульку, и выстреливали ею далеко-далеко, а мои плевки не долетали даже до ближайшего дерева. А хотелось быть первым. И я гвоздем проковырял дырочку между двумя передними зубами. И тогда мой выстрел достиг стены, угодив в ее самый дальний край. Никто не мог сравняться с моим рекордом. А я так и остался на всю жизнь с дырочкой на передних зубах, привык к ней. Теперь лишь намеком сохранилась только часть этой дырочки на правом зубе. Прощай, детство!.. И сны чарусские не возвращались ко мне, я лежал какой-то обессиленный, равнодушный ко всему, что будет происходить со мной дальше. Не прикидывал, не загадывал, мне было все равно… На следующее утро меня перевезли на Лубянку, во внутреннюю тюрьму.

ОДИН ПУНКТ, И ВСЕ ЯСНО

В сущности, только побывав в Лефортовской, можно было оценить образцовую внутреннюю тюрьму, поистине достойную великой державы! Можно было лежать на кровати хоть целый день, дремать, спать! Выдали очки. Можно было читать, предусмотрительно выбрав книгу потолще, чтобы хватило до следующего прихода человека в черном халате — библиотекаря. Наконец, можно было разговаривать. Играть в шахматы!.. Но почему меня вернули сюда, вот загадка! Неужели их напугала моя попытка самоубийства? Их, видавших не такие протесты подследственных. Мой поступок, наверно, выглядел по-детски. Нет, тут что-то таилось. Кому-то и зачем-то я был нужен. Кто-то и почему-то оберегал мою жизнь. Именно это тревожило меня.

На допрос не вызывали.

За это время я смог познакомиться со всеми сокамерниками, но рассказ о них завлек бы меня слишком далеко. В общем, приглядевшись, я понял, что история каждого очень схожа с теми, с кем я столкнулся в своей первой камере. По-видимому, это было так. Упомяну лишь об одном. Я впервые встретился с матерым лагерником. Его вызвали оттуда в связи с каким-то заварившимся делом для получения нужных следствию показаний. Об этом деле он не распространялся, а, чертыхаясь, рычал и отплевывался: «Надоели, мать их…»

Лагерь живо интересовал всех.

— Попадешь — увидишь, — говорил он, глядя исподлобья. — Вначале обязательно сунут на тяжелые работы. Коли надолго — не выжить. А выберешься — и ничего. Всяк скользит по-своему. Я

вот фельдшером сделался. Это полегче, а то и вовсе хорошо. Спиртягу припрячешь, и — барин. Глядишь, самые наизверюги из уголовников, а то вертухаи и начальнички, что помельче, — все они у тебя в друзьях! Это вещь! Нет, ничего, жить можно.

Рассказывал вроде бы добродушно, но вид у него был волчий, злой. Лагерная куртка воняла на всю камеру, несмотря на то, что ее пережгли-перепалили в нашей парилке.

Когда врывались с очередным обыском, начинали шарить по кроватям, по всем углам, ощупывали нас и, наконец, приказывали спустить штаны и, заставив нагнуться, заглядывали в наши голые задницы, высматривая, не спрятана ли там иголка или еще что-либо неприметно опасное, листочек бумаги, записочка, — когда проделывали все это, старый лагерник кряхтел и отфыркивался:

— Тьфу, мать твою… Ты еще пальцем, пальцем ковырни…

Надзиратели терпели его матюшки. Они проявляли к нему, пожалуй, даже какое-то почтение, но совсем не потому, что был он когда-то известной фигурой в общественной и литературной жизни, а потому, что тертый калач. С таким не шути.

Его звали Илларион Вардин.

В первой половине двадцатых годов возглавлял группу напостовцев. Не следует смешивать их с налитпостовцами, сменившими их, тоже беззастенчивыми молодцами, не менее истово, но более опасно размахивающими лозунгами революционной пролетарской литературы. То был РАПП, организация, потерпевшая крушение в 32-м году, а напостовцы были разоблачены задолго до этого, как троцкисты.

Кроме того, Вардин еще до революции состоял в закавказской группе социал-демократов и столкнулся там с Кобой, Джугашвили, и относился к нему снисходительно, не признавал его авторитета. Таким образом, дело Вардина сразу стало безнадежным. Коба его запомнил. Вардин это понимал.

— А расстрелять как-то вдруг постеснялся, все-таки общая кавказская кровь, — говорил он с усмешкой.

Но и об этом не любил распространяться. Сидел в своем углу и угрюмо напевал бетховенского шарманщика: «Везде всегда, везде всегда и мой сурок со мною…»

Что он говорил следователю, можно себе представить: без сомнения, речь его изобиловала ругательствами. Он рвался назад в лагерь. То, что существовало вне лагеря, казалось ему мнимым и непрочным миром: трясиной, по которой ходят люди, как слепцы, не ведающие, где провалятся. В лагере, коли докопаешься до сути, хотя все по-волчьи жестоко, но прямо и очевидно.

Опять вроде бы добродушничал, а разговаривать с ним было неприятно. Постепенно все мои сокамерники стали его

сторониться, страшась его. Он возник пугающим знаком их неизбежного будущего. А из угла его слышалось: «Везде всегда, везде всегда и мой сурок со мною…»

Но должен же был прийти конец моему ожиданию? Не выдержав, я попросил надзирателя выдать мне клочок бумаги, чтобы написать записку следователю. Меня ввели в кабину. «Хочу дать показания, прошу вызвать», — написал я. Ответа не последовало.

Меня вызвали лишь через несколько дней, как всегда — ночью.

Голубоглазый рассматривал меня с любопытством. Ведь мы после Лефортова с ним не виделись. Он молчал, а я стоял.

— А что мне с твоих показаний? — наконец сказал он грубовато и, тут же помягчев, распорядился: — Подойди и распишись, что читал. Снимаются с тебя по статье 58-й пункты — измена родине, шпионаж. Урок тебе: не путаться с иностранцами. В заблуждение вводишь, а потом тебя же и спасай, умник. Советская власть тебя поила, кормила, образование дала, в люди вывела. Учение свет, как говорил великий пролетарский писатель Максим Горький, а ты… Ну, ладно, сядь. Я тебе голову дурить не буду. Значит, кто в центре был?

— В каком центре? — раздраженно ответил я. — Говорили уже об этом.

— Говорили, да не договорили! — сияя, воскликнул он. — Ты вот написал, что показания у тебя есть, ну и давай. Да не пугайся. Что мне надо? Мне мало надо. — Он почесал нос, и пуговки его уставились на меня. («В простачка играет, — подумал я, — посмотрим, что из этого получится».)

В дверях появился уже знакомый мне полноватый человек в штатском, но в кабинет не вошел. Исчез незаметно, бесшумно прикрыв за собой дверь. Мне показалось, впрочем, что он успел подмигнуть следователю. Голубоглазый сказал:

— Ты ведь хорошо знал Булгакова?

— Он был моим другом. — Я напрягся, насторожился. Глаза наши схлестнулись.

— Это мы знаем, знаем, — замахал руками голубоглазый. — Значит, он был с тобой откровенен?

Я пожал плечами:

— Думаю, в той мере, какую допускал.

— Увиливаешь. Не знаю, чего боишься, — продолжал голубоглазый, напуская всю тонкость, на какую был способен, чтобы оправдать доверие начальства. — Но ведь в своих сочиненьицах он не мог выразить своих взглядов до конца?

— Он писал, что думал.

— Ой! Детский разговор! Естественно, он потихоньку подбирал единомышленников.

— Почему — потихоньку? У него собирались друзья, которые его любили и верили в его талант.

— Брось! Писатель он был никудышный, в этом преступления нет, не всем же дано, не Панферов он и не товарищ Всеволод Вишневский. А вот у себя дома нес антисоветчину и сбивал с толку честных советских людей. Мутил.

— Кого? Чем?

— Вот у меня сколько показаний! — Он стукнул по знакомой мне папочке. — Даже его вдова… как ее… — Для вящей убедительности не сразу вспомнил. — Да, Елена Сергеевна. Призналась. Пришлось все-таки ее арестовать, — добавил он печально, однако же искоса взглянул на меня.

— В таком случае, прошу дать мне очную ставку с ней.

— Вот чего захотел! Еще разок встретиться со своей поблядухой?

Краска бросилась мне в лицо:

— Прошу запротоколировать ваш вопрос в тех выражениях, в каких он был задан!

— Это мое личное мнение, и к делу оно не относится, — ответил он, сдерживаясь.

— Она арестована? — тихо спросил я.

— Не беспокойся, жива.

Он встал и походил по кабинету. Он держал себя в руках. Очевидно, так требовалось «по шпаргалке». С такой работой он, может быть, встречался впервые, но надобно было зарабатывать еще один кубик в петличку.

Остановился передо мной и, покачиваясь на носках, сказал:

— С гнилым либерализмом у нас давно покончено. Наш долг всеми революционными мерами оградить советских граждан от влияния чужих идеологий. Иначе это могло бы кончиться катастрофой для многих честных душ. А в доме Булгакова заваривалась вонючая контрреволюционная каша. Нам все известно.

Выговорив это залпом, как заученный урок, он снова сел за стол, заглянул в папочку, словно проверяя, все ли правильно сказал, и продолжал:

— Да, нам все известно. И подтверждается показаниями участников булгаковских сборищ. Тебе… — Он сделал длинную паузу, вглядываясь в меня («Вот он куда гнет», — подумал я, и все, что накипало во мне, постепенно успокаивалось, и это, скорее всего, не было предусмотрено «схемой следствия»).

Он повторил:

— Тебе, как лучшему другу, нужно толково, без длинных рассуждений и объективно изложить антисоветскую атмосферу в доме Булгакова, рассказать о сборищах, проходивших там. Можешь не называть имен, а вот высказывания его самого нас интересуют. — Он положил передо мной лист бумаги. — Или, может быть, тебе легче не писать, а отвечать на вопросы? Изволь, давай так, я согласен.

— Могу по-разному, но боюсь, что мои ответы вас не устроят, потому что в них не может быть ничего порочащего имя моего друга.

И вдруг все ясно стало в моей голове. Я понял, чего от меня добиваются. Все, происходившее раньше, было не более чем подготовка к этому. Теперь можно трезво разбираться в каждом его слове. И только бы не терять спокойствия.

— Не спеши, — говорил между тем мой голубоглазый, тоже овладевший своей новой ролью. — На тебе висит всего лишь один пункт — десятый. Антисоветская агитация. Разбираемся в этом. При товарище Берия у нас — все по закону. Мы не хотим губить человека, который еще может принести пользу своей любимой родине. Правильно говорю? Скажи мне, пожалуйста, что угрожает Булгакову, если ты напишешь то, о чем я говорил? — Он засмеялся. — Ну, допустим, немного преувеличишь. Ведь он умер. Ведь ему за это ничего не будет. А следствию ты поможешь уточнить ряд вещей…

— Каких вещей?

— Они не имеют никакого отношения к твоим друзьям. Ты никому не вредишь, а сам снимаешь с себя пункт «антисоветская агитация», ты чист, потому что осознал. И все.

Он весело посмотрел на меня и начал старательно что-то писать, не сомневаясь, что договорился со мной.

Так, так, — думал я. — Однако не хочет ли он сделать из меня доносчика? Впрочем, вряд ли даже решится впрямую предложить мне это. Все-таки он немного уже знает меня. Но почему он хочет, чтобы я очернил память Миши? Кому это надо? Вот загадка! Но ведь это кому-то надо? Булгаков! Какое неприятное имя! «Начинается уловление духа», — как говорил мне мой несчастный мистический старик. А может быть, не только «уловление», а трусливое желание оболгать загубленную жизнь писателя, если не удастся забыть ее? Конечно, я не предполагал тогда, что столкнусь с этим позже, уже в другое время и в других обстоятельствах, когда имя Миши возникнет, вырвется из небытия. Тогда не знали, будет ли это когда-нибудь, но на всякий случай плели клевету. Зачем — не знаю. Но как объяснить этому человечку с кубиками, что очернить память

друга для меня — подлейшее из предательств? Имеет ли он представление о том, что такое дружба? Здесь одно мерило — цепляние за жизнь. Дарują жизнь — радуйся и ползи! О нет, это не так! Я богач! Рядом со мной сидел нищий. Я был жертвой, но обречен был не я, а он, крохотный палачик, случайный вершитель моей судьбы.

И я успокоился окончательно. Тень моего прекрасного друга стала моей защитой.

— Ну? — сказал он, закрывая ручку крышечкой. — Я все сам записал, как бы с твоих слов. Подписывай.

— Я ничего не подпишу и даже не буду читать.

Тут он взорвался. Он мог бы меня ударить, если бы не побоялся переступить разрешенные рамки. Но не смог удержаться от самого что ни на есть циничного многоточия, от которого даже уши старого лагерника покраснели бы. Он немного выхолостился этой ужасной бранью, помолчал чуть-чуть и сказал коротко:

— Пойдешь в камеру. И ничего хорошего не жди. Пеняй на себя.

Меня увели. Это было на рассвете. Кажется, уже наступила весна.

ИЮЛЬ 41-го

И все вокруг моего «дела» замерло, словно я перестал существовать. Теперь я уже не сомневался, что меня «выдерживали», доводили «до кондиции», чтобы окончательно сокрушить. И я приготовился к худшему. Но тут вмешались события исторические, и моя крохотная личность (и все, что окружало ее) отодвинулась на далекий, микроскопический план. Не обо мне думали.

Началось с того, что вернулся с допроса Вардин. Его вызывали часто, и, как всегда, он вернулся оживленный, угощал нас «Казбеком» (мы прекрасно понимали, откуда у него папиросы) и сообщил, что в кабинете следователя вновь появились плакаты антифашистских фильмов — «Профессор Мамлок» и «Болотные солдаты».

— Ну и что? — спросили мы, еще не разобравшись, почему это важно.

— Как — что? Значит, договорчик с Риббентропом — фьюить! Допрыгаемся до войны.

Старому лагернику было наплевать, что делается в нашем, по его мнению, потустороннем и призрачном мире, но он был серьезно озабочен своей судьбой: не застрять бы здесь, успеть

выбраться к себе «домой», то есть в лагерь. Однако же и лагерь его беспокоил. Бури обезумевшего человечества не могут не отразиться и на мирном течении лагерной жизни, с которой он свыкся, как пес с собачьей будкой. Уцелеет ли его фельдшерство? А ну опять примут крутые меры?

— Мало, мало отгородили нас от ваших свистоплясок, — говорил Вардин, приходя в нервное возбуждение. — Как железным обручем связаны, а от вас добра не жди.

Он доедал дополнительную порцию каши, которая ему полагалась за хорошее поведение, мы курили его прекрасные папиросы. И чем больше он раздумывал, тем более мрачнел, расслабленно валился на постель, и слышалось: «Везде всегда, везде всегда и мой сурок со мною…» Он впал в угрюмство.

А через несколько дней в камере появился корпусный с подручными. Они стали замазывать окна густой синей краской. У нас стало совсем темно, круглосуточно горела лампочка.

Ночью гудели пролетавшие самолеты. И стало ясно, что началась война. Об этом нельзя было не догадаться, хотя мы ничего не знали, что делается за нашими стенами. Самолеты гудели еженощно, они летели низко, казалось, над нашей крышей, и слышались разрывы отдаленных бомб. Значит, война подступала чуть ли не к самой Москве? Значит — кто же?

— Риббентропчики, никто другой, — говорил Вардин, вещая из своего угла. — И они раздавят нас, как вошь.

Говорил ли он это со злорадством или с тревогой — не понять. Никого не вызывали на допрос, даже его. Но лифт то и дело останавливался на нашем этаже, и в коридоре слышалось какое-то многолюдное движение, отворялись соседние камеры. И вот однажды и в нашу камеру ввели целую группу странных людей. Им кинули на пол подстилки, подушки и одеяла (кроватей свободных не было), и в нашем помещении сразу стало тесно, душно и шумно.

То были люди в форме польских офицеров, среди них один штатский. Офицеры возбужденно говорили на своем языке, но нетрудно было понять, что их, разрозненную группу из армии Сикорского, арестовали, и велось следствие, что это за группа такая — может быть, шпионская, прогерманская. Ходили слухи, что какая-то часть поляков (кажется, генерала Андерса) ушла в Иран. Словом, прибывших к нам проверяли, но они горели пламенным возмущением. А штатский, уже пожилой человек, оказался графом Тышкевичем. Я так до конца и не понял, каким образом он оказался в России, хотя с ним мы сразу оживленно разговорились.

Граф Тышкевич. С детства знакомое имя! До войны 14-го года

мой отец служил в Вильне. Летом снималась дача в Ландворове, первая станция по Петербург-Варшавской железной дороге. Там, в парке, на пригорке, над озером, в зелени возвышался дом («замок») графа. Парк был окружен оградой, а далее в лесу были раскиданы дачи, именуемые виллами (каждая имела название — вилла «Гражина», вилла «Морское око», вилла «Теннис» и т. п.). Их сдавали дачникам, с которыми имел дело управляющий графа пан Тадеуш, усатый поляк с военной выправкой. Мы имели право ходить в графский парк, кататься на лодке по озеру. Но я главным образом гонял по лесу от дачи к даче, изображая поезд, издавая гудки наподобие паровоза. По соседству жили друзья-мальчики. В «Морском оке» — семья Заянчковских — мои приятели Вадек, Лютик и их сестры Альдона, Сабина и прекрасная Зося, самая старшая, уже невеста, которая вызывала во мне первое тайное мальчишечье волнение плоти.

— Ах, вы жили в моем Ландворове! — восклицал граф. — Вы помните это райское место! А вы видели моих страшных бульдогов, с которыми иногда спускались к озеру слуги, держа их на поводке? Сам я чаще жил в Троках, это неподалеку от Ландворова. Великолепное шоссе, каких мало было в России! А озера! Какие озера!.. Матка боска, вы поступили в гимназию еще в Вильне?.. Что?.. В первой гимназии? Которая помещалась в здании старого университета, где учился Мицкевич?.. А Бернардинский костел? А Замковая гора! В полдень стреляла пушка… Да-да! И это помните? Вы знаете, Виктор-Эммануил, итальянский король, мой родственник, так я ему всегда говорил — приезжайте ко мне в Троки, в Ландворово. Это стоит Италии, или, скажете, я патриот? Пожалуйста, я признаю.

Граф был болтлив, не унывал и не сомневался, что дело его кончится благополучно, но когда его вызвали «с вещами», заволновался, пожимал мне руку и говорил:

— Запомните! Когда приедете в Рим, звоните прямо королю, вас примут там с распростертыми объятиями.

Нелепо звучало это приглашение, да и мысль сама нелепа — я в Риме, я звоню королю!

Графа увели. Я не знаю, что с ним стало. Много позже, приехав на несколько дней в Вильнюс, я, конечно, вспомнил о нем. Ландворово изменилось, Тракай был чудесен, но это была Литва, а не Польша. А распростертые объятия итальянского короля, которые обещал мне в застенках Лубянки веселый граф, только потом могли вызвать у меня запоздалый смех. Тогда это не воспринималось как комическое.

Тревожное ожидание владело нами, только оно. От поляков мы узнали, что немцы наступают стремительно, приближаются к

Москве, и, как никогда раньше, чувствовали себя в клетке, бессильными узниками. Не знаю, как другие мои сокамерники, но я страдал, потому что я любил Россию, и невозможно было слушать, как Илларион Вардин говорил:

— Вот она, пресловутая мощь Сталина! Он думает сокрушить немцев тачанками Буденного! У него командуют Тимошенки. Тухачевского расстрелял! Лучших военных пересажал! Не успеет опомниться, как схватят его самого! Вождь мирового пролетариата! Низколобый злодей!

Меньше всего меня можно заподозрить в сталинизме, но слушать это было невмоготу.

Увели первую партию поляков, появились другие. Новостей с воли поступало все больше — противоречивых, тревожных. И уже почти каждую ночь слышен был гул низко пролетавших самолетов. В одну из таких ночей, когда никто не спал, все настороженно вслушивались, меня вызвали к следователю. Нет, это была не ночь, уже светало. Налет, очевидно, кончился, люди на воле, вероятно, смогли выбраться из бомбоубежищ, и я шел знакомыми, когда-то тишайшими коридорами, а теперь то и дело из дверей выбегали энкаведисты и исчезали в других дверях. Наш державный дворец пришел в суетливое движение, подобно муравейнику, в который ткнули палкой, и муравьи забегали, судорожно захлопотали, лишь только притаилось небо.

Я вошел в кабинет. У голубоглазого находилось трое. Мельком взглянув на меня, они вышли, прихватив пухлые папки, а голубоглазый, озабоченный и деловитый, коротко приказав мне сесть, сказал:

— Прочти и распишись.

Я прочитал протокол, в котором было сказано, что все мои бумаги, рукописи и письма уничтожены.

— Почему? — спросил я.

— Если уничтожены — значит, так надо. Значит, были причины, и я не собираюсь тебе их объяснять. Расписался?

И распорядился, чтобы меня вернули в камеру. Я шел и думал: «Они бегут, это — эвакуация!» Потом вспомнил, что же сожжено. Там были две мои ненапечатанные повести («Неосуществленный человек», «Игра в жмурки»), несколько рассказов, тоже неопубликованных, письма, среди них и от Булгакова. Странно, но я не испытывал никакой горечи, как будто все это уже давно принадлежало другому человеку — не мне, из другой, не принадлежащей мне жизни. Лишь впоследствии я пожалел главным образом о письмах и немного о «Неосуществленном человеке». Визит к следователю поразил меня сам по себе: я воочию убедился, что происходят события

чрезвычайные, может быть, катастрофические, об этом думалось, а не о своих бумагах.

Побывав с полчаса вне камеры, я особенно ощутил ее духоту. На полу по-прежнему валялись люди. Каждый день уводили куда-то группами по нескольку человек. Одним из первых увели Вардина, потом — других, потом настала и моя очередь.

Я был втиснут в узкий отсек «черного ворона». Куда меня везли? Из другого отсека постучали, и голос спросил:

— Вы кто?

Я назвался.

А я Овалов. Писатель. Может быть, слышали про майора Пронина? Это я сочинил.

Слыхал. Не читал, но слыхал. Голос автора услышал из соседнего отсека, в «вороне», но его самого так и не видел. Нас вывели отдельно, незримо друг для друга.

ГДЕ Я?

Это были Бутырки, превращенные в пересыльный пункт. В огромном помещении кишел народ. Сюда сгоняли арестантов — осужденных и подследственных, в нервной спешке не разбираясь в них, не отделяя друг от друга. И воры, убийцы, казнокрады, и политические, и бывшие лагерники — все смешалось здесь. Мы еще на Лубянке чувствовали, что в тюрьме нашей лихорадочное смятение и спешка. А здесь все вылезло наружу. Ночью общее возбуждение достигало высшей точки: группами, не называя имен, случайным скопом, выводили из камеры куда-то.

— Здесь, на дворе, расстреливают, — шептали паникеры в тихом ужасе.

— Гонят в казармы и на фронт, в штрафные батальоны, — мечтательно шептали оптимисты. — А то, говорят, в ополчение. Рыть окопы. Под Москву.

Это был грозный октябрь 41-го года. Лишь потом мы поняли, что это такое, а тогда ни в чем толком не разбирались. Мы попали в штормовую стихию, едва управляемую, стали частью общего народного бедствия, но какой его частью — самой низменной, всеми проклятой, никому ненужной, легли камнем на шею страны и не менее тяжким — на свое собственное сердце… Вот и меня повели.

По глухим, без единого огонька, московским улицам тащилась группа арестантов, сопровождаемая конвоем с собаками. Шли тесно. Шаг в сторону — или выстрел, или растерзает овчарка. Небо было темное, беззвездное. Мы

очутились где-то на окраине, у полотна железной дороги. На запасных путях, далеко от станционных построек, нас ожидал столыпинский вагон, прицепленный к какому-то товарному составу, и нас стали загонять в вагон. Мы его заполнили до отказа — стояли, и нельзя было шевельнуться. Прокричал маневровый, стукнули буфера и наш вагон двинулся.

Поверх голов, приподнявшись на цыпочки, сжатый со всех сторон, я видел зарешеченное окно, в нем промелькнули силуэты каких-то зданий, потом они исчезли, стало еще темнее, а затем чуть высветлило и вагон остановился. Вдруг вспыхнули огни, похожие на праздничный фейерверк, а в вагоне люди ни с того ни с сего задвигались, потекли. Общей волной вынесло и меня. Я очутился на воле. Поезд стоял недалеко от станции Перово. Передо мной открылась зловещая картина воздушного налета. Низко над нами с звеняще-грохочущим звуком пронесся пикирующий немецкий самолет. Небо прорезали белые щупальца прожекторов, скрещивая лучи во всех направлениях, вылавливая в небе вражеских бомбардировщиков. Они метались, как воронье, ускользая от этих лучей. Красные трассирующие пули возникали там и здесь, падали вниз зажигалки, где-то за станционным зданием взорвалась фугаска, а невдалеке от железнодорожных путей загорелся деревянный сарай, вспыхнул, сразу охваченный ярким пламенем. И вдруг услышался истерический женский крик: «Коль, Коль, в щель! Бежи в щель, Коль!» Нарастающий звук летящих стервятников заглушил этот вопль.

Мы стояли у вагона не двигаясь. Никого из наших конвойных не было. Все они бежали. И ни одного человека не было вокруг. Только мы — прибившиеся к арестантскому вагону, а над нами — адское небо. Никто и не думал шагнуть дальше. Бежать? Да ведь проще простого! Но куда? Каждый из нас понимал, что первый же патруль захватил бы любого из нас и расстрелял на месте. Никто не сомневался в этом. Удары зенитных орудий нарастали, и стервятники, взмывая в небо, рассыпались в разные стороны и уходили. Казалось, уже вся станция пылает. Зарево пожаров окружало нас… Светало. В наступившей тишине появились наконец перепуганные стражи, призванные нести бдительную охрану «врагов народа», и спешили к нашему вагону. Мы встретили их издевательским гоготом и, не ожидая окриков, сами полезли в вагон, спрессовываясь, нажимая друг на друга!

Далее потянулся долгий путь с длинными остановками вблизи станций, на боковых путях, никогда — на станциях. Мимо проходили встречные поезда, чаще всего воинские эшелоны и товарные с цистернами или обгонявшие нас пассажирские.

На остановках нам всовывали ведро с водой, которое с

трудом проплывало над головами, задерживаясь, чтобы каждый мог глотнуть. Кроме воды нам полагалась ржавая рыба, сплошная соль, сухая. Почти на каждой станции конвойный кричал в вагон: — Трупы есть? И почти всегда из вагона выволакивали, откуда-то из черноты стоявших людей, мертвого человека и сбрасывали его вниз, на насыпь.

Ужасная вонь, духота, теснота одурманивали сознание. Наступало дремотное безразличие, только воду глотали жадно, однако же так, чтобы хватило всем. Кого только не было в этой темной, недвижной, слегка покачивающейся безликой человеческой массе.

Впоследствии я узнал, что в нашем вагоне стоял, может быть, почти вплотную рядом со мной, такой же безликий, такой же, как все, не отличимый ни от кого, гениальный русский ученый Николай Иванович Вавилов.

Мне рассказал об этом Келлер, написавший несколько научно-популярных книг. Он вернулся в Москву в пятидесятые годы. Оказывается, он тоже находился в моем эшелоне: все признаки совпадают, ибо нельзя было предположить, что картина ночного пылающего Перова могла еще для кого-нибудь повториться. Картины, как и сроки этапа, совпадали.

Келлер, уже свободный (реабилитированный), съездил в Саратов, надеясь отыскать могилу ученого. Ему посчастливилось встретиться со старушкой, которая была в те годы санитаркой в тюремной больнице. Она с двумя могильщиками-вертухаями провожала великого человека в последний путь, и она одна поплакала над его могилой — такого кроткого, тихого, вспоминала она. Его захоронили на задворках тюрьмы. Она указала чуть всхолмленное место, но его ли это могила, утверждать трудно.

Келлер пришел ко мне, заинтересовавшись судьбой Булгакова. Я рассказывал ему о моем друге, мы разговорились, и вдруг выяснилось, что, незнакомые, прошли вместе нелегкий путь этапа в Саратов, и уже теперь я слушал его рассказ о Николае Ивановиче Вавилове, о трагическом его конце.

САРАТОВ

Не сразу можно было узнать, в какой город нас привезли. Как всегда, где-то на подъездных путях отцепили наш вагон. Ранним утром ковылял по окраинным улочкам караван измученных людей. Всего несколько конвойных подгоняли нас, а больше и не требовалось. День выдался солнечный, безветренный, с легким

морозцем.

Кое-как дотащились мы до тюрьмы и расположились на дворе, ожидая, пока нас распределят по камерам. Мы расселись прямо на земле, опьяненные свежим воздухом, а пеший переход вконец лишил нас сил. Заснеженная земля подмерзла за ночь и оттаивала под нами. Тюремщики, суетясь, выбегали из здания и, отобрав очередную группу и не выкликая никого по имени, не сверяясь ни с какими списками, уводили, а затем возвращались за новой партией. Все смешалось, перепуталось… И я попал в камеру уголовников.

Это была большая камера. На двухъярусных нарах лежали люди. В углу, при входе, стояла зловонная параша. Меня втолкнули, и здоровенный, заросший щетиной, с низколобой головой, втянутой в плечи, огромный детина возник передо мной и указал мне на темный угол внизу, то есть у этой самой параши. Оглядев меня сверху до башмаков, хриплым голосом распорядился:

— Вон твое место. Можешь лечь.

Я забрался в свой угол, а он расположился рядом, придавив меня к стене широкой, как глыба, спиной, пропахшей потом и мочой. Но я ничего не чувствовал. Я уснул.

Невозможно даже примерно вычислить, сколько времени я спал, и проснулся как после тяжелой операции, лишь постепенно приходя в себя и начиная понимать, где я. Но, боже мой, пока я спал, меня переодели в лохмотья, и я даже не почувствовал: вместо полуботинок на каучуке (в ту пору вошедших в моду) — расхлябанные парусиновые туфли, вместо брючного костюма — ветхие широкие штанины и драная куртка. Сколь же крепок был мой сон, если ухитрились проделать все это? Может быть, подсыпали снотворного? Да оно было и не нужно. С некоторым недоумением я оглядывал себя. Рядом сидел низколобый дядя, искоса наблюдая за мной. Я молчал, понимая, что взывать — «Обворован. Ищите вора!» — было по меньшей мере бессмысленно. Сидевший рядом со мной, отнюдь не в моей одежде и не в моих ботинках, а в том же наряде, в каком встречал меня, гостеприимно засунув в самый вонючий угол, свернул из клочка газеты цигарку и закурил. Я продолжал молчать.

— Курить хочешь? — спросил он.

— Давай, коли не жалко.

Он не спеша извлек из кармана еще клочок смятой газетной бумаги, аккуратно насыпал щепотку табака:

— Это как же ты тут очутился?

— Так же, как и ты, — ответил я, склеивая цигарку и прикуривая у него.

— Херня. Кем же ты был на воле?

— Я? Сочинял.

— Чего-о?

— Стихи сочинял.

Почему я так сказал, не знаю. Стихов я никогда не писал. В тюрьме, в одиночке, складывал строки, подыскивал рифмы, этим способом отвлекая себя и как бы разговаривая сам с собой, в рифму и запоминалось лучше. Получалось нечто вроде стихотворной самоделки, и я много раз повторял ее, выучивал.

— Стихи? — переспросил мой приятный собеседник. — То есть, как это? Сам?

— Я же сказал — сочинял. Значит, сам.

— Это что же, и деньги тебе за это платили?

— А как же? И немалые. 100 рублей за стих.

— Херня. Чего только на свете не бывает. А ну-ка, почитай.

Я втянул носом воздух (ой, вонища, вонища!) и негромко прочитал о том, как в неволе губят человека и пропадает он ни за что.

— Складно. Во! Мать твою…

Я еще прочитал в том же роде. Между тем вокруг меня собралась уже группа слушателей, а я читал, подвывая по всем правилам поэтической декламации. Голос издали прервал мое чтение:

— Эй, говнюки, что там у вас?

— Стихи вот читает.

— Давай его сюда! — последовал приказ. И я, сопровождаемый своими слушателями, зашлепал спадающими парусинами в противоположный угол, самый роскошный, самый светлый, у окна. Там, на втором ярусе, возлежал человек, моложавый, поросший рыжеватыми кустами волос от уха до уха, округло, и такими же усами, сливающимися с бородой. Это был пахан. Это был царь, король, которому подчинялась вся камера. Рядом с ним примостился его «премьер-министр», первый слуга и помощник, визирь.

— Читай, — сказал пахан, разглядывая меня жесткими, оловянными глазами.

Я решил, что такому величеству надобно выдать что-нибудь покрепче собственных самоделок, и прочитал из Есенина. Сначала — что «если б я не был поэтом, то был бы разбойник и вор», потом — что «каждая задрипанная лошадь знает мою легкую походку», потом — «я не знаю, мой конец близок ли, далек ли, были синие глаза, в кабаках промокли», а когда дошел до «ты жива ль, моя старушка, жив и я, привет тебе, привет», то увидел, что глаза пахана увлажнились. Истинные бандиты и

убийцы слезливы и чувствительны.

— Еще давай! — кричали мне.

— А ну, мразь, не видишь, может, человек устал? Может, он не хочит? Может, он спать хочит?

Тут последовало легкое многоточие, но в сравнении с виртуозным многоэтажием моего голубоглазого это, пожалуй, и многоэтажием не назовешь.

Все разбрелись по своим нарам, а меня с моим узелком и пальто перетащили поближе к пахану, то есть я возлег третьим, сразу после визиря.

Эх, эх, никогда не достигал я таких вершин, такой близости к высоким сферам: ни до тюрьмы, ни после нее! Вообще-то подальше, подальше надобно от вельмож, от этой пляски по канату над пропастью. На меня даже начальнички среднего ранга смотрели косо. Подлизывайся, не подлизывайся — все равно. Чем-то я им, как правило, не нравился, хотя, право же, был тих, скромен и редко взрывался (ну, тогда все!). Зато тут, в этой своре подонков, которых побаивались даже тюремщики и вертухаи, мне повезло: а то, говорят, они не только обворовать могут, но и полоснуть ножичком ни за что ни про что. Нет, мне чертовски повезло! Анекдот! Я занял положение неприкасаемого, однако сразу сообразил, что нельзя допускать ни малейшей фамильярности, сохранять дистанцию. Мне даже тыкать перестали, говорили «вы».

Бог мой, какими привилегиями я пользовался! Например, при раздаче хлеба мне вручалась третья, лучшая пайка, и никто не возражал. А однажды, когда разыгралась у параши драка и кто-то кричал, что его опять обделили довесками, я вмешался и предложил:

— Пожалуйста, возьми в обмен на мою.

Это произвело потрясающее впечатление даже на пахана, и с тех пор меня почитали как справедливейшего человека. Я был им — суд праведный, когда возникали ссоры. А когда нас гнали в баню и нары растаскивались на доски, их тащили все, кроме нашей верхушки — пахана, визиря и меня. В бане эти доски ошпаривали и под зорким наблюдением вертухаев старательно терли. В тюрьме больше всего боялись, чтобы не завелись вши. Эпидемия тифа, как и всякая другая эпидемия, при перенаселенности камер грозила бедствием, за которое строго взыскивали с тюремного начальства (вплоть до расстрела). Наша камера проделывала санитарную процедуру на совесть, придраться было не к чему. Но в остальном — жила своей жизнью.

Шмоны производились не реже чем раз в неделю. Шарили по

нарам, заглядывали в задницы — все как положено. И тем не менее тотчас после шмона невесть каким образом снова появлялись карты, иголки, ножички для бритья и даже страшные ножи-самоделки. Не удивлюсь, если узнаю, что был тут тайный сговор с тюремщиками. Повторяю, уголовников побаивались. Они, если угодно, были нашим стражам свойские ребята, намного ближе по духу, чем «враги народа», вроде меня. В темном царстве действовал особый, никому не подчиняемый закон уголовного мира. Тут шла азартная игра в карты, проигрывали даже человеческую жизнь, убивали легавого и нельзя было доискаться, кто убил. Нашему брату здесь погибельно. Это я выскочил!

Не знаю, впрочем, долго бы еще продолжалось это мое удивительное положение? В конце концов, мог возникнуть ропот, почему я выделен в барины, могла возникнуть зависть — это ведь неизбежно при приближении к высшим сферам. А на воле разве не так?

Кончалась зима, был, по моим расчетам, февраль, как вдруг меня вызвали на допрос, а я уже как-то свыкся с мыслью, что обо мне забыли. Оказывается, не забыли, а потеряли.

Я сидел в каменной каморке у следователя, постарше годами и званием моего голубоглазого, и он мне сказал без обиняков:

— Знаете, в некоторой спешке при эвакуации не обошлось без накладок. Многих подследственных смешали с осужденными. Вот и вас мы не сразу нашли. Вы очутились в камере уголовных. Но сами понимаете — война.

Он говорил вежливо и доброжелательно, но я уже не верил ничему, ожидая подвоха. Однако начало было мирным и как будто не предвещало угроз.

— Вам выдадут книги, — сказал он. — Библиотека тут плохая, но все-таки… А от себя могу предложить вот это. — Он подал небольшой, в мягком переплете, русско-английский словарь. — Может, заинтересуетесь изучать.

— А в каком состоянии мое дело? — спросил я.

— Дело? — Он посмотрел на меня, немного подумал и ответил. — Мне кажется, оно в благоприятных обстоятельствах. — И с этими словами протянул мне знакомую, все такую же тоненькую папку.

— Ознакомьтесь и распишитесь.

Что же там оказалось, в этой папке? Ордер на арест, подписанный прокурором, рядом с его подписью закорючка Петра Андреевича Павленко. Затем шли бумажки — ходатайства голубоглазого о необходимости продления следствия с соответствующими положительными санкциями. Этих бумажек накопилось много. И, наконец, я прочитал довольно длинную

«экспертизу» Всеволода Вишневского, в которой была охарактеризована моя деятельность, главным образом на кинофабрике Госкино («Мосфильме»), где я допускал на художественном совете антисоветские высказывания и препятствовал прохождению подлинно революционных произведений. В частности, он указывал на то, что именно по моему настоянию был отвергнут сценарий «Мы — русский народ». Написанное, заявлял я, еще не сценарий, а бесформенная патетика. Мое же творчество (это слово было взято в кавычки) представляет собой не более чем ловкое приспособленчество, скрывающее мое истинное лицо. Он приводил примеры, не припомню какие, из моих сценариев и моих выступлений. Многие строчки этой «экспертизы» были густо подчеркнуты красным и синим карандашами. Вслед за Вишневским неожиданно оказались показания Ильи Захаровича Трауберга, удивившие меня. Илью Трауберга, ленинградского кинорежиссера, вызвали в Москву и назначили начальником сценарного отдела нашей кинофабрики, там я с ним и познакомился. Он написал коротко, примерно так: «Знаю С. А. Ермолинского как высококвалифицированного сценариста, отличного работника и не сомневаюсь в его честности». Если припомнить те времена, то это был поступок на редкость благородный, причем поступок человека, никак не связанного со мной дружбой.

Перевернув последнюю страничку «дела», я с некоторым недоумением посмотрел на следователя.

— На предыдущих допросах, — сказал я, — моим следователем неоднократно упоминались свидетельства целого ряда лиц. Приводились слова, якобы сказанные мною, в которых я издевался над выборами в Советы («какие выборы, если один кандидат, бери и механически опускай бюллетень»); что известны мои ехидные насмешки над некоторыми деятелями искусства и литературы, которые готовы распластаться, лишь бы по головке погладили, Сталинскую премию выдали; что я глумился над произволом цензуры и т. д. и т. п. (Добавлю в скобках для читателей этих записок, что я мог высказывать подобные мысли и даже припомнить имена людей, которым или в присутствии которых высказывал их, но промолчу, потому что заодно с доносчиками легче легкого ошельмовать и безвинных людей. Закрываю скобки.) В Саратове же я подчеркивал другое. На каком основании, говорил я, мой московский следователь утверждал, что на квартире Булгакова происходили антисоветские сборища и я участвовал в них? У него, у следователя, грозился он, имеются показания моих близких друзей и друзей Булгакова, подтверждающие это. Где они?

Новый, саратовский следователь нахмурился. Однако же он и тут ответил мне без обиняков:

— Допускаю, что следствие располагало и такими показаниями, но не все показания, хотя и учитываются, прилагаются к делу.

— Понимаю. Тайные показания, — сказал я.

Он пропустил мимо ушей это мое замечание и сказал:

— А цензуры у нас нет. Это вы напрасно.

— Понимаю. А как насчет булгаковских сборищ?

— Это отпало, — чуть повысив голос, ответил он.

На этом разговор, скорее беседа, чем допрос, окончился. Но к уголовникам я уже не вернулся, я очутился в маленькой камере. Кроме меня там было еще трое: худой, изможденный, как оказалось позже литовец, он читал книгу, а на койке лежал мрачный черноволосый человек, не то еврей, не то армянин. Оба они хмуро, ничего не произнеся, посмотрели в мою сторону, а третий, помоложе их, белобрысый, сохранивший бодрость, тотчас накинулся на меня с расспросами, но сначала представился:

— Песочинский. Вы откуда?

Я отвечал кратко. Я научился относиться к людям с осторожностью, но зато он распахнулся сразу, со всей откровенностью:

— Это жаль, что вы не принесли никаких новостей. Нам известно, конечно, что немцы подбираются к Волге. Ничего в этом удивительного нет. Что уже давно произошла катастрофа, это только они не понимают.

Они — это, по Песочинскому, мы, русские, советские. Сокамерники — черноволосый и литовец — молчали. Должно быть, уже наслушались его речей, а кроме того, явно побаивались его; один читал, другой лежал, прикрывши глаза, лишь изредка приподнимал веки, желая рассмотреть меня.

— Бодрее, бодрее, господа, — говорил Песочинский. — Недолго осталось нам сидеть! — Он грыз сырую картофелину. — С паршивой овцы хоть шерсти клок. Я их обвел вокруг пальца. Вот!

Сырая картофелина! Лучшее средство от цинги! А здесь, наверно, все болели цингой. Зубы у многих просто вынимались из десен. У меня были крепкие — они лишь пошатывались, правда, десны припухли и побелели, а на ногах появились нарывы. Сырая картофелина! Ее почему-то получал один Песочинский. Грыз ее и говорил:

— Надо уметь, а то сгниешь! Я не следователя, а врачиху охмурил. У вас, думаю, не получится. — Он произнес заборное слово из трех букв и плюхнулся на койку. — Ха! Врачиха раздела

меня, увидела и… клянусь честью, если бы не вертухай за дверью, то…

Слушать это было противно. Все молчали. А он глядел в потолок и продолжал:

— Терпежу нет… Отсюда прямо махну в Москву… Немцы вмиг поставят Россию на ноги… Москва-а!.. Колокола!.. А ко мне буквально на карачках приползет одна известнейшая артистка императорского театра. (Он, подлец, назвал ее имя.) Они липнут ко мне…

— Замолчите, — сказал литовец.

— Ладно, ладно, — отмахнулся Песочинский, зевая. — Поспать, что ли?

Воцарилась тишина. Я тоже прилег, как и остальные. И здесь, в этой камере, бок о бок с этим циником, с этим хамом — не знаю, провокатором или фашистом? — в этом каменном мешке, я впервые услышал, как там, далеко, где-то на улице, солдатские голоса пели, и песня эта пронзила меня:

«Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна,
Идет война народная,
Священная война…»

Нестерпимо стало на сердце! Обида, нет, злоба обожгла меня! Почему я нахожусь здесь? Почему меня вырвали из жизни? Я не хочу! Я не могу! Хоть колотись головой! Хоть бейся о камни! Господи, что делать?..

О, с какой ненавистью я думал тогда о своих тюремщиках. Словами Данте мог бы выразить эту ненависть: «Мучители, в чьем сердце минул последний стыд и все осквернено, зачем ваш род еще с земли не сгинул». Они осквернили Россию еще до прихода гитлеровцев! Россия в огне, а я бессилен, руки мои скручены. Не это ли мой самый страшный адов круг?

Дверь приотворилась:

— На допрос!

Я вскочил, но вызывали не меня, а Песочинского. Он лениво поднялся и не спеша вышел.

— Его часто вызывают, — сказал черноволосый и сел. — А ведь правда, что подходят к Волге.

— С нами, с нами-то что будет? — сказал литовец и уставился на меня светлыми, странновато-неподвижными глазами, озерная, водянистая прозелень словно виделась в них. — А вы кто? Вы, вы, вы откуда?

— Московский, — ответил я.

— А!.. Так же вот, как и Осип Ефимович, — кивнул литовец на черноволосого. — А я из Каунаса. Вы бывали в Каунасе?

— Нет.

— Ах, какой там был музей Чюрлениса! — И вдруг неестественно оживился. — Вы слыхали про Чюрлениса?

— У меня была небольшая монография, еще в дореволюционном издании Кнебеля, с репродукциями.

— Но он был не только живописец! Он был композитор. И так же, как художник, ни на кого не похожий! Если бы вы послушали его симфоническую поэму о рождении янтаря!.. — И зашептал, зашептал: — Знаете ли вы, что такое наш литовский янтарь?

— Но если немцы подходят к Волге, — сказал Осип Ефимович, — то с нами надо же что-то делать?

— Да ведь тя-анется! — вдруг очнулся литовец. — Но ведь справедливость есть? Свет, свет впереди есть?

— Ой, что вы! Если не расстреляют, то закруглят, — возбужденно заговорил Осип Ефимович. — По-быстрому закруглят, оформят и в лагерь! В лагерь, в лагерь! — говорил и говорил он. — Только в какой, куда? — И повернулся ко мне: — Слушайте, а у вас в каком положении?

Я хотел было ответить, но ввели Песочинского, и Осип Ефимович приподнял палец, сделав чуть заметное движение губами, чтобы я примолк.

Песочинский вошел в камеру по-хозяйски, сгримасничав, оглядел нас, достал начатую пачку «Казбека», чиркнул спичкой и закурил.

— Ничего папиросочки, довоенные. Уловил момент и смахнул со стола следователя. Он не заметил. Но вы бы видели, как он суетится! Знает, собака, что скоро посадят его на кол, если не успеет смыться. Да я бы его самолично пристрелил, только б представился случай! Они еще узнают, что такое Песочинский! — Он пыхнул ароматным дымом в сторону литовца.

— Вы хам! — вдруг вздрогнул тот.

— Тихо, тихо, тихо, — остановил его Песочинский, однако же не без испуга.

Но литовец отвернулся от него и опять словно выключился из жизни. Осип Ефимович уткнулся в книгу.

Песочинский разлегся на койке и продолжал:

— Сейчас главное — выжить. Вали подписывай любое, что подсовывают. — Он взглянул на меня. — Не имеет никакого значения. И вывезти не успеют. Армия-то разваливается. Пора бы давно. Здесь, на Волге, всю эту красную сволочь окончательно придушат… Выжить, выжить, другой задачи нет! Здоровье сохранить! — Он головой показал на литовца и покрутил пальцем

у виска. — Нет, теперь уж ждать недолго.

— Заткните рот, вы мешаете читать, — сказал Осип Ефимович.

— Конечно, вам-то все равно. Немцы вас повесят, с жидами у них разговор короткий.

— Я сказал, заткнитесь! — вскочил Осип Ефимович. — Я инженер, но не забывайте, я начинал грузчиком в Одесском порту!

— Ой, ой, как страшно. Извиняюсь за «жида». Это так — нервы. Хочу сказать, что, с другой стороны, и большевики стали понимать, что такое евреи. Так что у вас положение незавидное.

— Сейчас я вам в морду дам! — Лицо интеллигентного Осипа Ефимовича пошло пятнами.

— Успокойтесь, — отмахнулся Песочинский. — В драку я не полезу, карцер мне не нужен. И вам тоже, между прочим. Не те силенки, чтобы валяться на каменном полу и хлебать воду. А разговариваю я не с вами, а вот… — Он повернулся ко мне.

— Но у меня тоже нет ни малейшего желания разговаривать с вами, — сказал я.

— Боже ж мой, какие все замордованные, — продолжал как ни в чем не бывало Песочинский. — Внутри-то со мной согласны, а притворяются, даже тут, в тюрьме.

Он говорил, а все угрюмо молчали, и остановить его было нельзя. Я опять задавал себе вопрос: кто он? Подсадная утка, которая должна была «расколоть» нас, чтобы мы стали «послушными на следствии», или просто распоясавшийся человек, который безнаказанно вываливал наружу все свои внутренности, потому что был уверен, что война проиграна и он расцветет при немцах… Впрочем (замечу в скобках), я наблюдал, как после войны такие типы, как Песочинский, понемногу расцветали и в наших условиях, да еще как расцветали! Не знаю, что с ним произошло в дальнейшем, но тогда, в камере, слушать его бессовестные высказывания, длившиеся часами, было поистине невыносимо. Словно издеваясь над нами, он жрал свои картофелины, курил следовательские папиросы и от рассуждений на общественно-политические темы переходил к циничным рассказам.

Литовец оставался безучастным, чаще всего находясь в блаженном отупении. Осип Ефимович с трудом сдерживался и только поглядывал на меня и начинал тяжело дышать, словно его удушала астма. Да и я чувствовал, что еле сдерживаюсь. А он, обращаясь ко мне, говорил:

— Вот вы литератор, вам может быть интересно. Был такой писатель Булгаков, его сейчас мало кто помнит. Написал всего

одну пьесочку — «Дни Турбиных», про белых офицеров, в свое время модную. Потом вскоре умер. Понимаете? Этот писатель абсолютно не чувствовал ни обстановки, ни будущего — все время пальцем в небо!..

И это тоже я должен был терпеть. Не вступать же с ним в разговор, не объяснять же мне ему, кто такой Булгаков и о чем роман «Мастер и Маргарита». Я терпел. На допрос никого не вызывали.

Пробыл я в этой камере недолго. Меня вызвали «с вещами». Все всполошились, как это обычно бывает в таких случаях. Куда выводят человека? На свободу? В лагерь? На расстрел?

Меня перевели в одиночку.

А это что означает? Неужели снова Лефортово? Человек в черном халате, похожий на могильщика, такой же, как на Лубянке, словно вывезенный оттуда, принес мне книги. Я выбрал «потолще». Это был том Шеллера-Михайлова — роман «Гнилые болота». Я читал про каких-то людей-нулей и людей-деспотов и про ловких дельцов, в которых автор изображал нигилистов. Когда мне надоедало читать, я раскрывал англо-русский словарик, подаренный следователем, и старался запоминать слова: проверял, могу ли запомнить, не потерял ли память… Я больше лежал, потому что очень ослаб. На ногах мокли цинготные нарывы. Я знаю, что такое одиночка. Все то же. Невозможно вычислить, сколько времени находишься в этом промозглом погребе, неотличимо сливаются дни с ночью. В камере круглосуточно полутемно. Окно густо замазано синей краской, днем светился уголочек окна, находящегося под потолком, — кусок стекла был выбит, а ночью загоралась желтоватая, слабого накала, лампочка. Глазок редко приоткрывался. За мной перестали наблюдать. Два раза в день мне всовывали баланду, в которой было подмешано нечто вроде какой-то крупы и плавали селедочные объедки. Пайка состояла из сырого, глинистого мякиша весом не более двухсот граммов, а если больше, то ненамного больше. На прогулку я не выходил: мне трудно было встать. Это было большой ошибкой: во что бы то ни стало нужно было выходить на эти десять минут… И казалось, что обо мне окончательно забыли, хотя вдруг стали выдавать три сырые картофелины, дополнительное питание, подобно тому, какое получал Песочинский. Значит, кто-то обо мне подумал. Мои силы решили поддержать. Но зачем? Да и много ли значили эти картофелины? Через дежурного надзирателя я послал несколько записок следователю с просьбой, чтобы он меня вызвал, но вот…

В тот знаменательный день ко мне в камеру, в краешек отбитого стекла, влетела синичка. По существующему суеверию — это не к добру. Однако я обрадовался живому существу, вдруг испуганно забившемуся рядом со мной. Синичка кружилась, кружилась, не находя выхода. Я смотрел на нее, замерев. И вот наконец она нашла чуть светлеющий уголочек в оконном стекле и выпорхнула на свободу. Я пожелал ей счастья и уткнулся в «Гнилые болота». А к вечеру меня вызвали «с вещами» — не к следователю, не в другую камеру, а к начальнику тюрьмы.

Там мне было зачитано постановление ОСО (Особого совещания), согласно которому я подлежал высылке на три года.

Я был ошеломлен. Хотел спросить, на каком основании, почему ссылка, но не успел слова вымолвить, как мне сказали:

— Обжалованию не подлежит.

В каком-то столбняке я выслушал это. Я не понимал тогда, что меня подвергли (по тем-то временам!) «легчайшему наказанию»! Могли влепить и пять, и десять лет, и не ссылки, а отправку в лагерь. И это тоже «не подлежало бы обжалованию». Думаю, со мной поступили так не потому, что не оказалось в моем «деле» никаких улик (подумаешь, улики, юридические обоснования — считались ли с ними тогда?), а потому что просто-напросто я не был нужен, от меня надо было отмахнуться. И все-таки просидел почти два года под следствием — не зря же? Все же в чем-то виноват, но можно и проявить «гуманность». В удостоверении, выданном мне вместо паспорта, было только сказано, что я, такой-то, «социально опасный», что подписью и печатью удостоверяется.

— Получай дорожный паек, и чтобы в двадцать четыре часа тебя не было в Саратове, — сказал мне человек, объявивший мне приговор ОСО.

— А куда я должен ехать? — наконец выдавил я.

— Поедешь в Кзыл-Орду, там тебе укажут место ссылки.

Я взял комок хлеба и селедку, положил в мешок, где находились две сорочки, кальсоны, носки, носовой платок, полотенце, словом, все мои вещи, прихваченные еще в Москве, а также русско-английский словарик, подаренный следователем, и вышел.

Ворота тюрьмы отворились передо мной: пожалуйста, ты на воле.

Я передвигался с трудом. Ноги едва держали меня. Куда я шел? Мне надобно было идти на вокзал, но в каком-то беспамятстве я шел куда-то напрямки. Улицы были пустынны, безлюдны. Я очутился на окраине города. Передо мной была черная, свинцовая Волга, противоположный берег терялся во

тьме. Ни одного огонька не было вокруг. Темным-темно. Я продолжал идти, спотыкаясь, иногда падал. Я уже думал о тюрьме как о счастье, как о возможности лечь, забыться, заснуть, прошел какой-то мостик над канавой, зачем-то карабкался по небольшому всхолмью и затем остановился перед деревянным крыльцом. Идти дальше не хватало сил. Приподнявшись, я дотянулся до двери и постучал. Мне ответили не сразу. Дверь не отворилась, но женский голос испуганно спросил:

— Кто там?

— Пустите переночевать.

— Много вас тут шляется! Убирайся. А то позову мужа, он тебе покажет!

— Да ты не бойся. Посмотри на меня.

— Проходи, проходи откуда пришел.

— А мне некуда идти, некуда…

Голос мой был, очевидно, столь жалок и беспомощен, что дверь все же приотворилась. В тусклом свете, обозначившем образовавшуюся щель, я увидел женщину, стоявшую с кочергой наготове. Она только взглянула на меня и, не вымолвив ни слова, втащила меня в дом.

— Господи, — произнесла она. — Да кто же ты? Я судорожно поправил очки, они были целы, и пробормотал:

— Я… я… Я писателем был… Для кино сочинял…

— Писателем? — сказала она, не то недоумевая, не то угрожающе.

— Я из тюрьмы, — сказал я, пытаясь подняться.

— А! — сказала она.

И далее я ничего не помню.

Впоследствии мне вспомнилась эта сцена, когда я работал над сценарием «Саят-Нова». Вот так же, как я, приполз избитый Арутин, бродячий ашуг, к дому вдовы Маро, и она, с опаской впуская его, спрашивала, кто он, а он отвечал: «Я — Саят-Нова, царь песнопений». «Тоже мне — царь! — вздыхала она. — Здорово тебя отделали, несчастный». И с трудом поднимала его, укладывая на свою вдовью постель и шепча молитвы.

Если вы читали «Саят-Нова», то вы поймете, что приключение, случившееся с моим романтическим героем, бродячим поэтом, весьма похоже на то, что произошло и со мной.

Я нашел приют у своей вдовы Маро, то есть у Прасковьи Федоровны Новиковой, уже немолодой, рано состарившейся женщины, потерявшей на войне мужа и сына. Она жила одиноко, работала на оборонном заводе в Саратове и ухаживала за мной, совсем разболевшимся. У нее был скудный паек, кое-что ей удавалось раздобыть на базаре в обмен на сохранившиеся от

мужа и сына вещи, и она, как могла, подкармливала меня. Но даже не то, что я обделяю ее, мучило меня. Я тревожился, что мое пребывание грозит ей серьезными неприятностями, ведь она укрывала «социально опасного» человека, которому предписано в двадцать четыре часа покинуть город. А время было грозное, немцы подвигались к Сталинграду. Плохо бы ей пришлось, если бы меня обнаружили в ее доме. Я постоянно твердил ей об этом, говорил, что уже здоров, что мне надо уходить.

— Ну куда ты такой пойдешь, Ермолов? — Она называла меня Ермоловым. — Лежи, — говорила она. — Вот привязался. Разве ты мне мешаешь? Мне даже с тобой весело. А сделать со мной — и что могут? Только лежи тихо.

Раненько утром она уходила на завод, замыкала дверь дома на наружный замок и возвращалась, когда уже темнело. Она, рассказывая мне новости, шустро и ловко, по-молодому, готовила ужин из того, что бог послал ей в этот день. Потом, подперев рукой щеку, смотрела на меня, как я ем, а я каждый раз стеснялся, отодвигал миску.

— Ой, хватит, уж до того сыт.

— А ты ешь! Тебе бы поболе надобно, исхудалый весь. А разве это пища? Невесть что, а не пища. Ешь, ешь, Ермолов! Ну и рассказывай про Москву. Про свои картины, которые, может, и я, случаем, видела. Кино-то снимать, поди, уж как интересно! Про артистов рассказывай! И про то, как писал! Ведь надо же — не просто писать, а для кино!..

А иногда сообщала:

— Сего дни отметили меня за ударный труд. Наградили овсянкой. С пол кило будет, ей-богу. Такую кашу сделаю из этого самого овса, какую до войны, может, и лошадям не давали.

И был в доме праздник, и на сердце было тепло от человеческой доброты. Эта женщина спасла меня.

Разумеется, в тех житейских условиях она и сама-то полуголодала, а тут еще накормить меня, беспайкового, и ухаживать за мной. Но вместе с тем вряд ли я ошибусь, если скажу, что наполнил ее трудные, одинокие будни оживляющим содержанием, ее неистраченная материнская энергия как бы нашла выход. После непосильной работы на заводе она спешила домой, озабоченная, раздобыв что-либо сверх скудного пайка, и появлялась, стараясь казаться неуставшей, даже веселой, с живостью орудовала у керосинки, рассказывала новости. Разговаривали мы шепотом, она понимала, что жилец я опасный, хотя если и заговаривал с ней об этом, то отфыркивалась: «Подумаешь, опасный! Да ну их! Что с меня взять, Ермолов, побойся бога!» Однако если вдруг постучится соседка (это бывало

редко, потому что все поголовно были до темноты на работе), то она, хитрюще на меня поглядывая, отвечала расслабленным голосом: «Ой, Анютка! Да и не впущу даже! Усталая я. В смерть усталая. Лежу».

А иногда бабий голос кричал ей:

— Э! Прасковья! Да ты не одна! Любовника завела на старости лет?

— А может, и любовника! — прыскала она. — Тебе-то что? Завидно?

И, веселясь, говорила мне:

— Вот в какое положение ты меня поставил, Ермолов. Пойдет теперь несусветная молва про меня. Ну, Ермолов. Дела!

Она закатывалась от смеха, а я хмурился:

— Смеешься? А если они меня заметили?

— Да ну их! Никто не заметил, — отмахивалась она.

Новости с фронта поступали грозные: немцы неудержимо подкатывались к Волге. В Саратове заблаговременно был введен комендантский час, и теперь по улицам начали ходить усиленные патрули, вылавливая всех мало-мальски подозрительных. Поэтому пребывание мое у Прасковьи Федоровны с каждым днем становилось рискованнее. И как только я стал передвигаться более-менее твердо и мои цинготные нарывы на ногах чуть подсохли, я сказал категорически:

— Завтра еду, Прасковья Федоровна.

— С чего это вздумал, Ермолов? Ты эк еще хилый.

— Надо, надо, Федоровна. Дело военно-ссылочное.

— А, наплюнь на них.

— Нет. Ни к чему мне беды ждать. Да и тебя подведу.

— Ну уж, обо мне-то и вовсе слов нет.

— Еду. Не держи.

Выстирала она мои московские сорочки, когда-то фасонистые, все мое исподнее, напекла невесть из чего лепешек, собрала крохи затвердевшего хлеба, которые сберегала, оказывается, потихоньку от меня, мне на дорогу, и сунула все это в мой мешок. Встали мы затемно, еще до того как ей надобно было идти на завод, и пошли на вокзал. Ковылял я с трудом. Она несла мой нетрудный мешок, поглядывала на меня, вздыхала:

— Ну с чего ты сорвался, Ермолов? Ведь еле ходишь!..

Улицы были почти совсем безлюдны, но зато вокзал кипел народом. Это бросалось в глаза уже при подходе к нему.

— Давай прощаться, Прасковья Федоровна. Дальше пойду один. Тебя там зазря затолкают, — сказал я.

Мы остановились. Она обняла меня, перекрестила.

— Спасибо тебе за все, — сказал я.

Она заплакала и еще, и еще перекрестила меня.

— Христос с тобой, Ермолов.

Уходя, оглянулся, она продолжала стоять, махала рукой, вся в слезах, как мать, провожавшая сына. Я тоже помахал ей, чувствуя, что в горле моем сжался комок, и вошел в толпу[89].

Пробиться к кассе или тем паче к очереди, сгрудившейся у входа на посадку, не было никакой возможности, да мне и не надобно было. Я пробился к вокзальному уполномоченному НКВД. Глянув на мою бумажку, уполномоченный остолбенел. Да он бы на месте расстрелял опасную контру, если бы был вправе, или, во всяком случае, тотчас потащил бы меня в тюрягу, но я-то ведь был прямо оттуда. И он, потерши вспотевший лоб, гаркнул:

— Малофеев!

Тотчас появился человек в военном тулупчике и в фуражке с малиновым околышем.

— Проведешь этого, — уполномоченный ткнул в меня пальцем, — ну, вот этого прямо на перрон и посадишь в вагон. До Кзыл-Орды. И чтобы — по-тихому, слышишь!

Меня вывели служебным проходом. На перроне было пустынно, состав уже был подан, но посадка еще не началась. Малофеев подвел меня к купейному вагону и сказал проводнице:

— До Кзыл-Орды. И чтобы — по-тихому.

— Усаживайтесь в среднем купе, а то в крайнем задушат, — сказала проводница, обращаясь ко мне испуганно, как к наипривилегированному командировочному.

И вскоре начался штурм поезда полуобезумевшей толпой. Я сидел в углу, притаившись, а народ валил и валил.

КЗЫЛ-ОРДА

Этот город, в прошлом бывший кокандской крепостью Ак-Мечеть, разрушенной русскими при завоевании Туркестана, в советское время был переименован в Кзыл-Орду и стал столицей Казахской ССР. В 1928 году столицу новой республики перенесли в Алма-Ату, а Кзыл-Орда и поныне областной центр Южного Казахстана. Стоит он среди степей на правом берегу Сыр-Дарьи. Я побывал там однажды, путешествуя по Средней Азии известным сценаристом, и никак не предполагал, что попаду туда еще раз, но уже отверженным, ссыльным.

Поезд прибыл вечером. Тьмущая тьма упала на город сразу, и я брел по улице почти ощупью, боясь оступиться, дабы не попасть в арык или в рытвину. Идти по своему начальству, то есть в НКВД, было поздно, предстояло как-нибудь скоротать ночь. Я

зашел в аптеку, присел на деревянную скамейку, словно бы ожидающий, когда изготовят мое лекарство. Было тепло и уютно. Хорошо бы так просидеть до утра. К прилавку еще подходили люди. Затем помещение опустело. Кассир закончил подсчет выручки за день. Сотрудники аптеки снимали халаты.

— А вы чего ждете, товарищ? — обратился ко мне один из них.

Слово «товарищ» приятно согрело меня.

— Я проездом, товарищ, — заволновался я. — Мой поезд не ранее утра, а на вокзале, сами понимаете… — И добавил, вдруг солгав из желания как можно лучше подать себя:

— Видите ли, меня вызывают в Ташкент, в военкомат.

— Да, но вот аптека закрывается…

— Ничего, ничего, я у вас немного передохнул, так что можно вернуться на вокзал, может, найду местечко, — заспешил я.

Выйдя из аптеки, остановился у крыльца в раздумье. Один за другим выходили служащие аптеки. Они оглядывались на меня. Я услышал, как кто-то сказал:

— Ох, боже мой, как из тюряги. Даже и таких стали призывать.

Когда они скрылись, я присел на ступеньку и задремал. Ночь была не очень холодная, но к утру я здорово промерз. Когда рассвело, я побрел по улице. У магазинов, где выдавался хлеб, уже выстраивались очереди, а затем стали появляться совслужащие с авоськами и портфелями, преимущественно женщины, торопившиеся на работу. Я спросил у одной из них:

— Не скажете ли вы мне, где находится НКВД?

Не знаю, вид ли у меня был пугающий или название учреждения испугало, но она торопливо ответила:

— Да вон там, видите, на той стороне.

Около двухэтажного здания похаживал часовой, и я пересек улицу. На всю жизнь сохранилось настороженно-боязливое отношение к такого рода учреждениям и к милиционерам. И к малиновым околышам заодно (я плохо разбираюсь в военных формах и отличиях).

Начальник в Кзыл-Орде, принявший меня, отнесся ко мне равнодушно. Должно быть, они тут еще и до войны привыкли к таким, как я. Он глянул на мою отвратительную бумажку, не удивился, потом оглядел меня и затем вышел в соседнюю комнату. Там поговорили шепотом, должно быть обо мне. Начальник вернулся и сказал:

— Да-а, доходяга ты. Ну ладно, в глушь я тебя не заткну. Направишься в Чиили. Это городочек в нескольких часах отсюдова. При железной дороге. Жить можно.

— Благодарю вас, товарищ. (Боже, мой, как я был унижен и жалок!)

— Я тебе не товарищ, — грубо оборвал он. — Вот тебе листок с квадратиками. Будешь отмечаться каждые десять дней, что не сбежал. И катись от нас без промедлений. Прицепишься к товарному или втиснешься в пассажирский. Но чтобы духа твоего здесь не было, чтобы завтра я тебя не видал, а то заткну.

ЧИИЛИ

Знаете ли вы, что такое Чиили?

Когда-то неприметная станция, мимо которой с минутной остановкой проходили поезда Москва — Ташкент и обратно, и было пустынно на ее железнодорожных путях. А в сорок втором и сорок третьем все эти пути были забиты до отказа. Сутками простаивали пассажирские («скорые» с международным коричневым посередине), эшелоны с ранеными, эшелоны с эвакуированными, товарный порожняк или с неспешным грузом, с недолгой задержкой пропускали воинские составы, из теплушек которых выглядывали безусые мальчики-солдаты и лейтенантики, наспех окончившие военные училища где-нибудь в Мары и направляемые прямо на фронт, и уж совсем без остановок проходили цистерны с нефтью, они шли и шли. То был тогда единственный путь для переброски нефти из Баку, через Каспий, Красноводск, Ташкент и далее по главной среднеазиатской магистрали в Россию, так что Чиили стали точечкой в этой цепи, и она должна была справиться с этим потоком, ибо, оборвись одна такая точечка, и вся цепь разорвется.

Таким образом, вокзал в Чиилях со всеми его железнодорожными службами был неотрывно связан с напряженным нервом всей страны. И только там, на вокзале, вечером и ночью зажигались электрические огни. А далее начинался городок, дома которого освещались керосиновыми коптилками, экономили энергию. Далее, за вокзалом, возникал быт, копошились люди, бившиеся за то, чтобы выжить, не умереть от холода и голода, сберечь детей, сохранить семью. Это были женщины. Мужчины находились на фронте, лишь небольшая часть их, железнодорожники, оставалась дома, да и то главным образом пожилые, старики да инвалиды…

Я приехал днем и, узнав, где находится эвакопункт, отправился туда. Там, как и в кзыл-ординском НКВД, не удивились моему «удостоверению», потому что в Чиилях кроме наплыва эвакуированных граждан было много высланных из-за немецкой фамилии. В эвакопункте мне дали ордер на жительство по улице Щорса, в доме некоей Ивановой, предупредив, что я могу рассчитывать лишь на угол, потому что гражданка Иванова уже «уплотнена». И я потащился на улицу Щорса. Было скользко. Чуть подтаяло, и снег смешался со скользкой глиной.

Меня встретила нестарая женщина, из-за спины которой с любопытством выглядывала девчонка лет двенадцати, а за ней —

мальчуган.

— Ганя Иванова, — сказала женщина, протягивая мне руку лодочкой. — А это моя дочка Настька, а это мой младшенький — Витюшка. Значит, у вас ордер?

— Мне сказали, что вы уже уплотнены. Может, попросить другой? — сказал я, стесненный ее приветливостью.

— Ну, раз ордер! Теперь у нас все уплотнены. Боюсь только, неудобно вам будет. Заходите, заходите. Видите, у меня еще комната, наружный замок висит, будто уворую я, там у меня жилица из Киева, такая грымза, не приведи бог, на базаре своим барахлом торгует… ах, подумаешь, завидую, у нее этого барахла вагон, такие платья, кофты, бюстгальтеры разные… Так куда же вас дену? Вот разве что в этот закуток?

Правда, иначе не назовешь узкий угол, отделенный русской печью от комнаты, в которой жила Ганя с детьми.

— А мне больше и не надо, — сказал я.

— Скажите! Ну, конечно, такое время. — И засуетилась. — Столик у меня небольшой есть. Он сюда втиснется. Топчан притащу. А у вас что имеется? — спросила она, поглядев на мой мешочек. — Вещи на вокзале оставили?

— Да это все, — ответил я, слегка смутившись.

— Ну, так оно и легче по теперешним дорогам ездить, — ободрила она меня. — У меня сенничек найдется, набитый соломой. Солома умятая, так что спать вполне даже можно.

— Царское ложе, — сказал я.

— Это только грымза Галина Васильевна, вишь ты, будто на одних пуховичках привыкла. А ведь все врет, хвастается. Настька, помогай, чего стоишь?

Она рассказывала про свою эвакуированную, которая корчит из себя графиню, а на самом деле паразитка и потаскуха, думает, позарятся на ее поганое добро, это же как в лицо человеку плюнуть, и, рассказывая, втащила с помощью Насти и столик, и топчан, и сенник с соломой.

— А кто же вы сами будете? И откудова? — спросила она, чуть запыхавшись.

— Москвич я.

— Вон что, — чуть прихмурилась она.

— Как интересно, — сказала Настенька. — Москвичей тут у нас мало, почти совсем нет.

— Видите ли, Ганя, — произнес я затрудненно, боясь вспугнуть ее и испортить такие вдруг сразу наладившиеся отношения. — Ведь я, Ганя, не эвакуированный, я ссыльный.

— Проживал у меня еще до войны ссыльный, — понимающе закивала Ганя. — Ох, какой обходительный человек, а только его

забрали, и пропал он невесть куда. А вы чем же до этого были?

Я назвался.

— О, так вы знаменитый были! — воскликнула она. — Да еще и в кино! Настька, слышишь?

— Никакой не знаменитый, — сказал я сердито. — Пустым делом занимался.

— Скажете! Смех, ей-богу. Грымза моя так и ахнет. А вы на нее ноль внимания.

— Конечно, — сказал я.

— Чего же мы стоим, — всполошилась Ганя. — Идемте ко мне. Настька, чайник подогрей. — И обернулась ко мне: — Только без сахара.

— Какой уж сахар, — сказал я весело.

— Да уж теперь так, — согласилась Ганя. — Хорошо, когда разживешься сушеной дыней.

— А у нас тыквенная каша осталась, — вдруг сказала Настенька и испуганно посмотрела на мать.

— Давай, давай, — обрадовалась Ганя.

— А у меня лепешки, — сказал я, извлекая из мешка три сохранившиеся лепешки. Одну вручил Гане, другую — Настеньке, а третью — Витюше. Ребята отгрызали кусок за куском с наслаждением, а Ганя откусывала стесненно.

— А себе не оставили? — спрашивала она.

— Да я наелся ими в дороге. А вот от каши не откажусь. — И подумал: «Уж то-то порадовалась бы моя Прасковья Федоровна, сколько радости доставила своими лепешками, не только мне одному».

Мы сидели у Гани в комнате, прихлебывали кипяточек, заваренный не пойму чем.

— Ох, в Москве-то, говорили, было до войны разливанное море, — вздыхала Ганя. — А у нас тут кое-как перебивались. Скажу, что с карточками даже как-то полегче стало, если бы не эти эвакуированные, которые вздули цены на базаре до невозможности. Ну, мне, конечно, особо нелегко было. Муж помер, еще когда Витюшка по полу ползал. Одна с двумя, сами понимаете. И затруднения с продуктами.

Мне было стыдно за «разливанное море», в каком я жил, хотя она отнюдь не в упрек мне говорила, а как о самом обыкновенном, и то, что я из Москвы, не унижало, а, пожалуй, даже украшало меня, не то что «грымзу» из Киева.

— А я видела Москву в кино! — восклицала Настенька. — И Красную площадь, и Кремль, и Сталина! Это не вы снимали?

— Нет. Я писал сценарии для художественных фильмов. «Танкер „Дербент“», «Дело Артамоновых», «Машенька». Впрочем,

последнюю даже не посмотрел в готовом виде, меня забрали.

— Так ведь мы же видели! — вскричала Ганя. — Надо же!

— Видели, видели, — приговаривала Настенька, с восхищением глядя на меня.

Мне было очень неловко, даже нехорошо внутри, что эти мои ремесленные работы, как и другие сценарии, оказались тем, что составляет мое «лицо». Я не писал подхалимских подлостей, тем не менее вся работа моя в кино, как, впрочем, и всех, тем паче преуспевающих сценаристов, была в той или иной мере конъюнктурной поделкой, это неизбежно для самого важного, то есть массового, из искусств. Прошлое мое зияло для меня ужасающей пустотой, а мне приходилось, пряча стыд, отвечать на жаркие расспросы Настеньки, что я знаком с Марецкой, Жаровым, Любовью Орловой. Я боялся выглядеть хвастуном, но мне верили с восторгом. Я говорил правду, а чувствовал себя Хлестаковым, рассказывающим даже не о небывалом Санкт-Петербурге, а о мире примитивном, дешевом, картонном, и — что греха таить — именно это расположило ко мне и, увы, возвысило меня. Однако скажу без похвальбы, что, всеми способами преодолев мишурный блеск своего прошлого, приглушив его, я сдружился с семьей Гани искренне.

Но надо было не копаться в себе, а думать, как жить дальше. Не мог же я оказаться иждивенцем у этой труженицы, работавшей вокзальной уборщицей и выбивающейся из сил, чтобы прокормить себя и своих ребят! А у меня за душой ничего не было — ни денег, ни вещей. На работу меня никуда не возьмут, на это нельзя было рассчитывать. И первое, что я сделал, — отправился на базар.

Базар! Он был жизненным центром нашего городка! Великое торжище! Оно было спасением для приезжающих эвакуированных. Из окрестных, а то и более дальних колхозов привозили горы риса, сюка (пшена), сушеной дыни, мяса. С охотой торговля производилась не на деньги, а в обмен на городские вещи, и это как раз устраивало приезжих. Ганя правильно сказала: «Эвакуированные здорово вздули цены на рынке». Местным — не подступиться! Чего только ни оказалось в Чиилях: и крепдешины, и модные ботинки, и старинные вуали, и необыкновенное белье, и бритвы, и портреты Качалова, и разные соблазнительные финти-флюшки. Сперва колхозник был особенно падок на эти невиданные чудеса. Товар привозили самолично колхозные короли, председатели, знатные бригадиры, социалистические богатеи. В округе расположились рисовые плантации корейцев, задолго до войны выселенных сюда с Дальнего Востока и успевших создать крепкие колхозные

хозяйства. Государство выжимало из них все соки, а все равно достаточно прикапливалось и для личной пользы. Словом, шумел наш базар! И как всегда бывает в годины народных бедствий, тотчас объявились умелые дельцы-спекулянты. Они наезжали из Ташкента и производили крупные закупки риса, а на рынке появлялся сахар, чай, канцелярский и иной городской товар. Заметьте, всегда (и до сих пор) мгновенно появляются оборотистые люди, которые наживаются при любом «дефиците», они тлетворной сетью пронизывают экономику страны, и обыватель хватается за них, как за спасение. Ну а в годы войны и говорить нечего! Образовывалась незримая цепочка вокруг тех, кто стоял у кормила заготовок и распределения. Вся эта страшная саранча, не слишком скрываясь, — от них зависели! — жила припеваючи. А кругом голодали, выбивались из сил… Ташкентские спекулянты, время от времени налетавшие на наше, в общем-то, скромное торжище, были общими врагами и местных, и эвакуированных. Тут население инстинктивно объединялось. Но тогда из глубин его стали возникать собственные дельцы. То был особый вид «просвещенного» хозяина и торгаша, борца за индивидуальную наживу, провозглашавшего будущее развитие России, которая после войны, по его мнению, в содружестве с союзниками Запада неизбежно встанет на капиталистический путь…

Впрочем, здесь не место рассуждать об этом. Я рассказал о таком человеке в своей повести о Чиилях («Джулекский гражданин и его душа»). Рассказал и о простых обитателях нашего городка, об их нищей, трудовой жизни. Написано было без прикрас, достоверно. Повесть под названием «Пещерный человек» напечатали в журнале «Наш современник» лишь в 1974 году, но и тогда ее встретили грубой бранью за то, что я осмелился принизить героические тыловые будни. Не увидели подвига в этих воспроизведенных мною буднях, не поняли гнева и боли, с которыми был написан образ идеолога-торгаша. В писании моем усмотрели не только мелкий обывательский угол зрения, но и клевету на Великую Отечественную, на энтузиазм ее тыла. Упоминаю об этой критике без всякого раздражения. Она действовала в нормах отпущенного ей казенного оптимизма, да и имя мое было еще одиозным.

Да, я начал свое ознакомление с Чиилями с базара, и это было правильно. Я увидел здесь «цвет общества», то есть всех, кто приходил сюда каждый день, как на службу, как в клуб. Бывший часовщик Меерович из Черкасс шел, еле передвигая ноги, полуслепой, обвешанный тряпьем и с круглым будильником на груди. Семейство Мнацакановых из Одессы (сам Аветис

Мартынович интендантствовал на фронте с начала войны) вынесло белоснежные простыни, кружева и ленты. Айзик, фотограф из Гомеля, торговал старой обувью и галошами. Жена и сын военфельдшера Трофима Петровича Дробатенко тащили самовар. Семья архитектора Бандримера предлагала патефонные иголки, швейцарские виды в красках и детскую цинковую ванну. Колонисты из Одессщины Шмидт и Копф расположились с паяльником и на ходу чинили керосинки и примусы. Наконец, увидел я здесь и свою соседку Галину Васильевну, отрекомендованную мне Ганой Ивановой как грымза и воображала. Она вертляво похаживала меж мешков с рисом и грудами сушеной дыни, заплетенной в косу, предлагая крепдешинчики, пестрые шарфики и дамское исподнее. Все это было интересно, кое с кем я переговорил, и ведь это была жизнь, жизнь! Кроме того, я познакомился с очень старым зубным врачом из Полтавы Соломоном Лазаревичем, человеком нежнейшей и потрясенной души, который помог мне продать одну из сорочек, выстиранных и выглаженных Прасковьей Федоровной.

Получив деньги (по тем временам довольно много), я купил килограмм риса на первое обзаведение и с оставшимися деньгами выбрался из толкучки. По дороге меня обогнал целый ишачий караван, его возглавлял старик в казахском малахае, с выщипанной седой бороденкой. Позже я узнал, что это был сам Нуртазы Касымов, знаменитый звеньевой колхоза «Вперед», пожертвовавший 105 тысяч при сборе на сооружение славного бомбардировщика «Красный Казахстан». На ишачьих повозках, похожих на игрушечные, с колесиками от старых жнеек и веялок, была навалена груда вещей, среди которых виднелись цинковая ванна, граммофонная труба и какая-то картина в золоченой раме.

Я брел на вокзал, передвигаясь на неокрепших ногах, и обдумывал свое положение. Где моя жена, где Лена Булгакова, где мои друзья? Их всех, должно быть, развеяло по стране, когда немцы подходили к Москве. И обо мне никто ничего не знает, я исчез. Как подать о себе весть? Куда писать? Кому?

И тут мне пришла в голову счастливейшая мысль. В наклеенной на вокзале газете я вычитал, что Художественный театр эвакуирован в Куйбышев. МХАТ в Куйбышеве! Значит, и Немирович-Данченко в Куйбышеве! Правда, с ним я знаком весьма мало, но его ближайшая и энергичнейшая секретарша — Ольга Сергеевна Бокшанская — родная сестра Лены Булгаковой. Решено: трачу все оставшиеся деньги на телеграммы. Первую — Немировичу. Без сомнения, она попадет в руки Ольги и она тотчас сообщит обо мне Лене. Вторую направляю в Москву, в

Управление по охране авторских прав, директором которого был Хесин, человек ко мне расположенный и обязательный. Эту телеграмму я послал «на авось», потому что, скорее всего, Хесина в Москве не было. В первой же — был уверен. Но телеграммы в то время шли долго, и мне надо было, не дожидаясь ответа, как-нибудь устроиться.

При содействии Гани мне удалось подрядиться к одной из местных хозяек расчистить колодец, затянутый кольцами льда, и прокопать в огороде арычки, стертые за зиму степными ветрами (к весне надобно готовиться заранее). Работа несложная, и я, попотев, с ней справился. За первым приглашением последовали и другие, хотя работник я был плохой. С тем, на что в умелых мужских руках ушло бы от силы полдня, я возился неделю. С трудом сбивал каменный лед, почти совсем закрывший отверстие колодца, а затем ковырялся в замерзшей земле, пробивая канавы у огорода. Но хозяйки были ко мне милостивы, не сердились на меня, а может, даже жалели. Я приходил рано, получал тарелку борща, наполненную до краев, а к вечеру, уходя, получал вторую, такую же. Лицо мое затвердело, задубилось, сморщилось от ветров, ибо огороды, как правило, выходили в степь, а оттуда задувал иногда нестерпимо резкий, не щадящий ветер.

Возвращался я усталый, волочил ноги, согнувшись, — до того замирала поясница, казалось, не выпрямиться, — а подходя к дому Гани, старался идти бодрее. Но она видела, что я измучен, и говорила:

— Ну, для вас ли эта работа? Прямо совестно смотреть. Хотите, чайку согрею?

— Спасибо, я и чайку попил, и поужинал. Нынче чудная хозяйка попалась.

— Скажете! А то лампу зажгу? Может, почитать хочете?

Лампу зажигали редко, керосин берегли, как редкую роскошь, и если зажигали, то ненадолго. Я отказывался и от чая, и от лампы. По правде сказать, не до чтения было: я заваливался в своем углу, за печкой. Но уснуть сразу не удавалось. Вечер был длинный-длинный. И тянулись мысли обо всем и ни о чем.

Раз в десять дней я приходил к оперуполномоченному. Он находился в одном из привокзальных флигелей, окна которого были зарешечены. Узкий и грязный коридор вел в его полутемный кабинет. Он сидел за столом с двумя телефонами. Он говорил то в одну трубку, то в другую.

— Да… Нет… А в этом я сам разберусь… А ты понимаешь, что за это по головке не погладят?.. Что? Засрали пути?.. Уйдет воинский, объявишь мобилизацию населения по расчистке. За антисанитарию ответишь со всей строгостью. Пока. — Положил

трубку и посмотрел на меня. — Жив еще, контра?

Я протягивал свой листок, в одном из очередных квадратиков которого он ставил свою закорючку и прикладывал печать.

Я ненавидел этого человека со сросшимися, нависающими на глаза бровями. В нем как бы воплощалось все зло, направленное против меня, и каждый раз являлся к нему с нарастающим отвращением.

Однажды после короткой процедуры с печатью и подписью, сопровождаемой коротким замечанием «Жив еще, контра?», он вдруг задержал меня:

— Постой. Запрос тут насчет тебя.

Достал бумагу, прикрыв ее ладонью, чтобы я не подглядел, что там написано, и, пробежав ее сверху донизу, наконец прочитал:

— Вот. «В соответствии с изложенным и на основании указаний вышестоящих инстанций, предложить ему дать письменные показания о связях писателя Булгакова с власовцами. При наличии полезных сведений — вызов в Москву». Опер посмотрел на меня, ободряюще подмигнув:

— Понял?

— Понял.

— Садись пиши. За дачу неверных показаний по головке не погладят. Ответишь по всей строгости.

Я написал: «Вопрос о связях писателя Булгакова с власовцами считаю глупым, ибо власовцы появились в войну, а Булгаков скончался 10 марта 1940 года».

Опер исподлобья посмотрел на меня:

— Что это за ответ?

— А что?

— Убери слова «глупый вопрос».

— Не уберу, — сказал я, почувствовав, что злость сейчас так и хлынет из меня, но я сдержался.

— У, мразь, — произнес опер. — Тебя Советская власть, можно сказать, щадит, а ты…

— Больше вопросов не имеется? — как можно более спокойно спросил я.

— Можешь идти. А только дождешься — заткну в дыру.

Я ушел, понимая, что сказал он это не попусту, потому что здесь он полновластный надо мной хозяин. Но время шло, и пока что он мне не мстил, хотя в любой момент мог загнать куда-нибудь подальше, в глушь. С опаской я появлялся у него на отметку и выслушивал тот же равнодушно-брезгливый вопрос: «Жив еще, контра, паразит?!»

Паразит — это верно. Ковырялся в промерзших огородах за

две тарелки борща — какая от меня еще польза? Спасал свою бессмысленную жизнь. Раздобыл ученическую тетрадку, намереваясь хоть записывать свои наблюдения, ведь как ни ничтожны Чиили, но и отсюда видна война, ее малые отсветы (и по-своему немаловажные), но и этого не успевал сделать: валился с ног, проработав весь день на промерзших огородах. Не мог выполнить даже этот долг свидетеля, литератора — что еще мог сделать, а обязан был сделать, коли забросили меня сюда, но не делал, строчки не написал… От этих язвящих меня мыслей уводили усталость, полудрема, сон. Я стал угрюм, мрачнел.

И вдруг — радость! Посылка от Лены из Ташкента! Мешочки, аккуратно сшитые «колбасками», в них были насыпаны крупа, сахар, чай, махорка, вложен кусочек сала, и все это завернуто в полосатенькую пижаму Булгакова, ту самую, в которой я ходил, ухаживая за ним, умирающим. И развеялось щемящее чувство одиночества, заброшенности, повеяло теплом, любовью, заботой, домом. Я возбужденно рассказывал Гане о Михаиле Афанасьевиче, о Лене, и она слушала меня, радуясь моему счастью, вздыхая и умиляясь.

Впоследствии я узнал, как сооружали эту посылку.

К Татьяне Александровне Луговской вбежала Лена (их поселили в одном дворе на улице Жуковского, 54, и они очень сдружились):

— Таня! Сергей нашелся!

— Какой Сергей?

— Ах, боже мой, я же вам рассказывала! Сергей! Ермолинский! Друг Миши. Оказывается, он где-то в Чиилях. Представляете? Как помочь? У меня ничего от пайка не осталось! Что делать?

— Сейчас раскулачим Цолю, — деловито отозвалась Таня.

Она знала обо мне лишь по рассказам Лены и не подозревала, что мы встретимся, когда я вернусь в Москву, и будем вместе навсегда. В Ташкент ее эвакуировали с братом Володей и разбитой параличом матерью, Ольгой Михайловной. А делами хозяйственными командовала Поля, эта уже состарившаяся женщина смолоду служила у Луговских, стала членом семьи, но лишь авторитет Ольги Михайловны был для нее незыблем. Тане и Володе (хотя его величала «хозяином») не доверяла — их легкомыслию и расточительности. Поэтому все, что получали в пайке или раздобывалось на рынке, припрятывалось ею, и она расчетливо распределяла продукты, они были под ее строгим учетом. О себе не заботилась — о них. В тот день она, к счастью, действовала на рынке, производя очередные операции, и Таня с отвагой забралась в ее закрома и, как преступница, извлекла все,

что было нужно для моей посылки. И потом сидела и шила «колбаски», а я и не чувствовал, что «колбаски» эти делали руки, которые станут к концу моей жизни самыми родными…

Вот какая это была посылка! Кроме того, Лена сообщила мне, что студии «Мосфильм» и «Ленфильм» эвакуированы в Алма-Ату, а жена моя Марика, обучившись на курсах сестер, работает в военном госпитале.

Жизнь моя с Марикой, как выяснилось немного позже, разладилась[90]. Но, избави бог, не надобно думать, что ее можно в чем-либо винить. Может быть, она мало любила меня или, может быть, любила, но не понимала, что возвращается к ней другой человек, совсем другой! Разве мы до этого плохо жили? Посчитать прошлое ошибкой? Нет, не нужно, неправда это, обидная для обоих. Но жизнь потребовала иных душевных усилий, и мы очутились уже на разных сторонах дороги. Впрочем, такое случается нередко, и для этого совсем не нужно быть в долгой разлуке. Часто люди живут вместе и продолжают жить, хотя живут уже отдельно друг от друга. Снаружи вроде бы ничего не произошло — счастливая, благополучная пара, — а оказывается, никакой близости давно нет, и произошло это незаметно. Боясь признаться в случившемся даже самим себе, примазывают трещинку, а она все расширяется и расширяется… А если разлука долгая-предолгая, может быть, вечная, а если испытания переворотили душу человека — что тогда? Кого винить?.. Преклоняюсь перед вами, верные жены! Верю в твердокаменные сердца мужей. Но беда-то приходит все-таки изнутри? Не надо никого винить.

Вскоре после Лениной посылки я получил письмо от Марики. Она писала, чтобы я не беспокоился о ней: устроилась хорошо, работает, даже почувствовала, что нашла свое призвание. Немного трудно было тотчас после того, когда я исчез. Она рассчитывала на «Машеньку», потому что сценарий утвердили наконец во всех инстанциях и мне причитались в окончательный расчет последние 25 %, но их ей не выдали. Эти деньги получил мой соавтор, которому пришлось одному, без меня, вносить все поправки. Кроме того, Марика писала, как много горечи пришлось ей испытать, когда она смотрела готовый фильм, а моей фамилии в титрах не было — только соавтора. И, наконец, вовсе ударило ее по сердцу, когда «Машенька» получила Сталинскую премию и я опять не был упомянут, опять один соавтор.

Я ответил Марике, что огорчения ее по поводу «Машеньки» напрасны, я напишу еще сто «Машенек» и въеду в Москву на победном коне. Именно так и написал, что «въеду на победном

коне», но этот бравый (и глупый) тон был вызван отнюдь не самонадеянностью, а напротив, желанием скрыть свое постыдное бесправие. Оказывается, со мной можно делать все что угодно! Меня буквально поразило, что мой соавтор не только не помог моей жене, но «на законном основании» лишил ее возможности получить мой гонорар. Я уже не говорю о деньгах за Сталинскую премию. Хотя… позвольте, позвольте, ведь часть-то моей работы в картине осталась? Я не знаю, какая часть, велика ли, но она осталась? Не знаю, в каких размерах признавали ее, но даже в самой малой степени не могли не признавать! Впрочем, позже я узнал, что поправки по требованию Комитета были не столь значительны, сценарий подвергся изменениям главным образом в режиссерской разработке. Но не в этом дело и не в деньгах тоже! Моего имени нельзя было упоминать, я понимаю: я был под следствием. Но как мог человек, считавший меня своим другом, воспользоваться моей бедой и присвоить себе труд полностью, даже при любых оговорках, ему не принадлежащий? Нет, хуже, гораздо хуже! Как мог человек, считавший себя другом, не подумать о жене друга? Испугался? Или попросту, закрыв глаза, заткнув уши, решил нажиться на такой беде, какая случилась со мной? И это в то время, когда уже почти все понимали, что такое эта беда!.. Я думал об этом действительно в потрясении. Добро бы случайный соавтор, случайная совместная работа… Как стыдно! Как страшно!.. У меня заболело сердце. Не было нитроглицерина. Я лежал плашмя.

И тут пришла телеграмма от Райзмана[91]. Он сообщал, что возвращается из командировки в Алма-Ату и будет проезжать Чиили. Хочет встретиться со мной. Я очень волновался! Вся моя кинематографическая юность связана с ним. Мой милый Юля! Чуть чопорный, когда появлялся в киностудии, потому что боялся (из-за чрезмерного самолюбия) уронить себя, он был необыкновенно легок, полон юмора, почти детского, в общении с друзьями. Не забыть нашего длинного путешествия в Ашхабад в связи с постановкой «Земля жаждет» — как мы дурачились, разыгрывая друг друга!.. И вот скоро я его увижу, он первый навестит меня! Можно душу излить, не прихорашиваться, пожаловаться, посоветоваться…

Пассажирские поезда по-прежнему ходили, нарушая график, неизвестно время их прибытия, как и время стоянки, и в тот день я с утра дежурил на вокзале. Толкался разный народ, главным образом солдаты из задержавшегося воинского эшелона. Женщины в ватниках торговали молоком и сушеной дыней. Я побрился у Раисы Абрамовны, вокзальной парикмахерши. Она бежала сюда из Лозовой с двумя детьми, а муж ее пропал без

вести. Маленькая, с красненьким носиком, в мужниных сапожищах, она ловко орудовала бритвой. Мы давно уже были в дружбе (она ни за что не брала у меня денег), и, как всегда, не теряющая бодрости, щедро намыливала мои щеки и болтала:

— Как же так? Вы до сих пор не знакомы с человеком, через которого можно раздобыть не только керосин, но и московскую сорокаградусную. Его фамилия Мун, он кореец. Да он за честь сочтет познакомиться с вами, ах, какой вы, ей-богу! Я вас обязательно познакомлю. Ой, кажется, поезд! — Торопливо опрыскала меня одеколоном (или чем-то вроде одеколона), и я выскочил на перрон.

Действительно, подошел поезд.

Я бежал к коричневому международному вагону, от которого повеяло на меня ушедшим роскошным прошлым, и оттуда легко выскочил Райзман. Он был, как всегда, одет аккуратно, но не в штатском, а в военной, отлично пригнанной шинели, в щегольских узких сапогах. Мы обнялись.

— Эка от вас чем-то несет! — смеялся он, морщась.

— Я сейчас побрился. Наш чиилийский одеколон! — восклицал я, тоже смеясь.

— Мне сказали, что поезд простоит не меньше часа, — говорил он. — Я очень обрадовался, успеем обо всем порассказать друг другу. Ну как вы? Загорели — как будто с юга. Но худой. Да, здорово похудели. Впрочем, сейчас все похудели. Даже Столпер. Ну, сами понимаете…

Разговор сперва не получался. Это обычно в таких случаях — слишком много каждому хотелось сказать, особенно мне. Мы ходили по перрону, и я искоса его разглядывал. Нет, он мало изменился и вовсе не похудел, и я вдруг остро ощутил, что он из другого мира, отрешенного от меня, даже враждебного.

— Ну, рассказывайте, как вы здесь устроились? — спрашивал он.

— Да, в общем, ничего.

— О, это важно! Работаете? Пишете?

— Пока еще не пишу, но работаю.

— Где же?

— Ну… как сказать… по сельскохозяйственной части, что ли… Все время на воздухе, вот и загорел.

— Как это важно — на воздухе! А мы задыхаемся!.. — воскликнул он. — Не поверите, что пришлось пережить. Страшно вспомнить Москву, бомбежки, панику, потом эвакуацию — сплошной ужас! И это несмотря на то, что нас вывозили организованно, так сказать, как привилегированных, в большинстве сталинских лауреатов.

Мы-то ведь не знали, на сколько едем. Попробуйте сообразить, что брать, что не брать…

— Да, это ужасно, — сказал я.

— А в вагоне? Только что не друг на друге, хотя вагон спальный, купейный. Но ведь многие со стариками, а те еле передвигаются. Нельзя же было быть бездушными. Пришлось уступать лучшее место, помогать…

— Естественно, — сказал я.

— И помогали! — вскричал он. — Получилась даже какая-то общая дружная семья! Странно сказать, но это путешествие, которое, казалось, длилось год, я вспоминаю с теплым чувством. Понимаете? Но сейчас! Сейчас, когда вдруг осели, обжились, ой! Вы представить себе не можете, как мы живем! В одной комнате я с Сюзанной, в той же квартире Козинцев с Софочкой, и в той же квартире Ванька Пырьев с Ладыниной. Одна общая кухня. Клянусь честью, когда поехал на съемки в Куйбышев, то прямо-таки отдыхал, хотя снимать сейчас — каторга. Мне нужны были войска. У меня массовая съемка — и ни одного солдата, а должны были дать солдат из НКВД. Алма-Ата шлет запросы, почему задерживаются съемки. А мой администратор сообщает телеграммой: «Подвели войска НКВД!» — Юля захохотал. — Представляете?

— И что же с ним? — обеспокоился я.

— Выручили, конечно. Ах, боже мой, еду — как в яму. На студии бестолковщина. Все лучшее забрал себе Эйзенштейн, он снимает «Грозного». С Черкасовым в главной роли, вы, конечно, знаете, а мне остаются ошметки. А дома… Пырьев завалил всю кухню своим барахлом, цепляется с Козинцевым. У нас кавардак. Внизу — Эйзен, Эсфирь Шуб, Пудовкин. У них тихо. Теснота, конечно, вы даже вообразить не можете, в каком аду живем! — И вдруг запнулся. — Почему вы хромаете?

— Упал. Тут скользко.

— Ногу-то не сломали?

— Да нет, пустяки. Обошлось.

— Но все-таки, что это за история с вами? Никто понять не может.

— Долго рассказывать. Да и неинтересно. Обыкновенная история. А как поживает Габрилович?

Он, словно спохватившись, опять запнулся. Несомненно понял, почему я спросил, и, предупреждая расспросы, торопливо заговорил:

— Его надо понять, Сережа. Ведь какое было время, многие от собственных родителей отрекались…

— Что? — спросил я.

— Нет-нет, я его не оправдываю, — покраснев, перебил он меня. — Но поверьте мне, он сам мучается. Наверно, еще не знает, что вы нашлись, но когда в студии узнали, эта весть мгновенно разлетелась, а Сюзанна тотчас дала мне знать.

— Да, я был очень тронут вашей телеграммой, — сказал я.

— Главное, не болейте, — сказал он. — Покупайте на рынке жиры, сахар, вам надо окрепнуть, и вы увидите, все будет хорошо.

— Ну, разумеется, будет хорошо. Тем более что у нас на базаре полным-полно жиров, риса и сахара.

— Да, говорят, здесь дешевка. В этом смысле вам повезло. Наш ОРС даже собирался снарядить экспедицию для закупок в одно из таких мест.

В этот момент поезд вдруг двинулся, мы не услышали колокола и свистка кондуктора. Райзман вскочил в свой вагон, который проплывал мимо нас. Стоя на площадке, он высовывался, ободряюще улыбался мне, махал рукой. Мой Юля Райзман! Я любил его. И работать с ним любил. У нас, бесспорно, была какая-то внутренняя дружба, хотя встречались мы лишь тогда, когда корпели над сценарием или обдумывали новый замысел, а друзья у нас были разные.

Я размышлял об этом, возвращаясь с вокзала. Приезд Юли растревожил меня. «Нет, — думал я, — не так все примитивно. Его довольство и сытость вызвали у меня естественное чувство раздражения, даже враждебности, но все равно, с ним, с Райзманом, на миг вернулась ко мне часть моего мира, от которого я был насильно отрешен. Моего! Не там, а здесь я был чужой, и не потому, что меня окружали плохие люди, напротив, хорошие, добрые, но делать мне здесь было нечего». Я был обречен на бессмысленную жизнь, вот что было трудно терпеть.

Я сунул руку в карман и нащупал там трюфельку. Это Юля подарил мне ее, смеясь:

— Вот те раз! Старая, довоенная! Непонятно, каким образом завалилась! Возьмите как талисман, чтобы скорее вернуться к нам!

Я повертел трюфельку и разозлился вновь, как на вокзале. («Трюфельки жрет, благополучник! Не понять ему, что мне кусок хорошего хлеба нужен!»). И напрасно разозлился, не мог и вообразить, что мятая эта трюфелька еще сыграет свою роль, хорошо, что от досады не съел ее тогда…

Через несколько дней после моей встречи с Райзманом я вдруг получил перевод от Хесина. Это была весьма немалая сумма даже по тогдашним временам. Что это за деньги? Конечно, я понял — это потиражные по фильму «Машенька». В соответствии с договором их автоматически перевели на мой

счет. Пока я находился под следствием, счет мой был «арестован», но как только меня приговорили к ссылке (разумеется, без конфискации имущества), то «освобожден» был и мой гонорар. Хесин, узнав, где я, тотчас — слава ему! — перевел его мне.

Деньги в то время дешевели катастрофически (масло — 700 рублей, сахар — 500, лук — 70, хлеб — 160… И цены росли!). Но тем не менее я чувствовал себя баснословным богачом и сразу же отправился на базар, закупил рис, сахар, чай, мед, сушеную дыню, сало. Частями приволок все это домой и устроил в комнате Гани пир!

Стол был накрыт праздничной скатертью. Все суетились. Наварили рисовую кашу, потом поджарили ее на сале, раскладывали по тарелкам, да с добавками, чтобы наелись до отвала. Потом пили настоящий чай, и я командовал:

— А сахар внакладку! Сахар — это фосфор! Это знаете как действует на голову и вообще на организм!

Настенька и Витюша измазались медом. Они сияли от счастья, а о Гане и говорить нечего, она только поглядывала на меня, приговаривая:

— Да ведь они все слопают подчистую, нельзя же так, ей-богу! Я за вашим хозяйством сама пригляжу. Хватит, ребята, хватит! Ах боже мой, глядите-ка, ведь не забыли вас! Это по заслугам вам! По чести вашей! Вот я чему радуюсь! Дай боже, и все образуется, дай-то бог!

Да, это был пир!

А на следующий день я приобрел на базаре несколько школьных тетрадей с шершавыми листами в клеточку (их не всегда раздобудешь, даже за баснословную цену) и начал писать!

— Тише, он пишет, — цыкала на ребят Ганя, если за печкой, в ее комнате, ребята начинали громко разговаривать, а мне было приятно, что она оберегает мой покой.

Сидя в своем углу, я писал мелко-мелко, экономя драгоценную бумагу.

Так появились мои чиилийские рассказы («Дед Сабунов», «Пиня», «Мои маленькие соседи», «Небесная женщина», «Огонек», до сих пор не опубликованные) и сделан черновик будущей повести «Джулекский гражданин и его душа» (напечатанный, как я уже упоминал, в «Нашем современнике» под названием «Пещерный человек», а в моей рукописи с внесением всех купюр, произведенных редакцией, озаглавленный «Чудеса в Джулеке»).

Я повеселел, взбодрился.

Если судьба забросила меня сюда, то и здесь, в этом неприметном захолустье, я должен был занять свой пост

наблюдателя жизни, вникнуть и понять ее неприкрашенные будни, движения. Конечно, круг моих наблюдений был узок, но как знать, может быть, кое-что и отсюда было видно. Бывает, что в таком низу приоткрывается то, что лишь отголоском проскальзывает в гуще событий и уж совсем не видно на самом верху. Страну потрясали события исторического размаха. Счастливцы литераторы, попавшие на передний край, могли писать о всенародном подвиге, они воочию видели трагедию и мужество народа, его беззаветную доблесть. Малые строчки мои были всего лишь кирпичиками, но, как знать, не из таких ли кирпичиков складывается в конце концов грандиозность общей картины? Я отнюдь не тешил себя мыслью, что живу с пользой. Я знал, что кругозор мой ничтожен в сравнении с теми, кто непосредственно участвовал в великих делах, но в этой тиши я поневоле больше них думал и, может быть, заглядывал чуть дальше вперед, чем они… И не оказался ли мой джулекский гражданин предвестием будущих послевоенных нравов в их подспудном виде?

Когда стучали ко мне в окно и женский голос спрашивал, не здесь ли живет писатель, который копает, я отвечал, даже чуть виновато:

— Да, хозяюшка, писатель живет здесь, но он больше не копает, он занят.

Я был занят! Мне не хватало дня! Утром бегал в библиотеку, искал в словарях нужные справки, изучал историю завоевания Средней Азии Россией, интересовался бытом и нравами казахских кочевий. Потом, вернувшись домой, записывал, а уже темнело. Я не мог пользоваться лампой Гани, чтобы работать вечерами и ночью. С товарищем Муном я так и не познакомился и как раздобыть керосин, не знал. Встал вопрос об освещении. Меня научили, как сделать коптилку, потребляющую микроскопическое количество керосина, но дающую свет. Для этого надо было стать обладателем пузырька, фитиля, небольшой жестяной трубочки и пробки. Пузырек я достал у Соломона Лазаревича, зубного врача из Полтавы. Вручение пузырька сопровождалось рассказом, уже не раз слышанным мною рассказом, как он, еще совсем молодой человек, жених Дины Марковны, воевал в 1914 году и попал в плен. Уж он-то знает немцев! Никогда не забыть, как англичане и французы, такие же пленные, как и он, получали исключительные посылки из Швейцарии, а он вместе с остальными русскими только облизывался. Затем он, разволновавшись, возмущался, что до сих пор не открывают второй фронт, вот они, наши союзнички, и тут же развернул передо мной свой стратегический план скорейшего разгрома гитлеровцев, которые в сто раз хуже, чем

кайзер.

— Совместные действия — на Западе и у нас! Немедленное наступление на Брянск! — восклицал он.

— Ой, Брянск! — прервала его Дина Марковна. — Там же наш внучек, там наш Мишенька…

Соломон Лазаревич виновато смолк, а Дина Марковна пустилась в рассказ об их Мише, таком хрупком мальчике, таком талантливом, про его нелюбовь к пенкам, про его пристрастие к книгам, про то, как он мечтал изобрести фантастический дом, согреваемый одними лишь лучами солнца, про то, как он колдовал над химическими колбами и однажды чуть не устроил взрыв.

— Ах, не потому что он наш внучек, но скажу, он необыкновенный мальчик, и вы бы видели его в военной форме, боже мой, ни слезинки не проронил, когда проезжал мимо Чиилей, окончив артиллерийское училище, на фронт… Ой…

Я не раз слушал и про Мишу, разделяя тревогу этих добрых стариков, но рассказ слишком длинен, и я уносил пузырек из-под какого-то лекарства как честно заработанную вещь.

Все люди любят рассказывать о себе, о своих бедах. Я знал, что, раздобывая жестяную трубочку, мне придется выслушать Раису Абрамовну, вокзальную парикмахершу, и она непременно расскажет мне о своей роскошной жизни в Лозовой, о ее лучшем салоне в городе, о ее квартире, в которой была гостиная с оранжевыми занавесками. И еще расскажет, как она бежала от немцев и как обокрали ее в Арыси, когда направил ее эвакопункт сюда, и у нее пропал чемодан с заграничными бритвами, кисточками, одеколоном, но все равно к ней, только к ней, к Раечке, идут стричься и бриться все чиилийские начальники, подставляя ей свои ответственные щеки. На нее злятся другие парикмахерши, но, смешно, у них же нет никакого обхождения!.. Она угостит меня небывалыми вафлями, которые ей преподнес товарищ Мун, у него все есть, в доме горит семилинейная лампа, самая яркая в городе, он может это себе позволить, и она обязательно познакомит меня с ним, нужнейший человек… Эту крохотную женщину с красненьким носом не оставлял оптимизм, несмотря ни на что, и я уважал ее. Рассказы ее были живыми рассказами, полными юмора, а не жалоб.

Хуже было с фитилем. Я приметил его у Брониславы Александровны; мужа ее, высланного из-за немецкой фамилии, мобилизовали на трудфронт, она жила одна. В ее скудной комнатушке с глиняным полом, похожей на погреб, с прорезанным, как в подземелье, окошечком, дымила «буржуйка». Дрова дрянные, какие-то сыроватые сучья, словом, джингиль, а не

саксаул. Дед Миронов надул ее. В комнате мороз. Она лежит, навалив на себя все носильные вещи. Хорошо еще, что соседка добрая, сама еле дышит и обвешана детьми мал мала меньше, а помогает: берет хлеб, торчит в очередях. А муж всегда был сухой, узкий человек, не понимал ее запросов. Собирался починить окно. Не починил, забыл, уехал. Рама отстает, в щель забиты старые носки, но все равно дует. Боже мой, а из окошка — мертвая степь…

— Вы бы вышли на воздух, — говорю я. — Прошлись бы на базар. У вас много барахла, можно обменять. А кроме того, там собирается светское общество…

— Ах, вы еще можете шутить!

И пошли-поехали воспоминания о пасхальной Москве, о Художественном театре, о Василии Ивановиче Качалове, о его Берендее, о его Анатэме, о незабываемом его Иваре Карено, о бароне в «На дне». Она не пропускала ни одного спектакля с ним, писала ему письма и получала от него. Вот афиши, вот программки, уже пожелтевшие, вот его фотографии. Я не выдержал. Схватив фитиль, подаренный ею, я прервал ее, не очень деликатно, и заспешил домой.

Теперь предстояло завладеть пробкой, крупной, нужного размера. Я приметил ее у соседского мальчишки.

— Даю сто рублей, — сказал я с маху, чтобы ошеломить его.

Он посмотрел на меня дико. Вокруг собрались мальчишки, наблюдая за необыкновенным торгом. Они шептались.

— Теперь на базаре за все дают сто рублей, а тут как-никак пробка, — сказал кто-то.

— Ага, — сказал владелец пробки.

— А в придачу спичечный коробок с нарисованным кораблем, — в рассеянности сказал я, сообразив, что ошибся, сразу назначив столь большую сумму.

Они деловито рассматривали коробок.

— Да ведь поломатый, — неопределенно произнес владелец пробки.

— Подклеить можно. Я тебе сам подклею. — И тут меня осенило. Я извлек трюфельку Райзмана.

— Это еще что такое? — спросил владелец пробки, уставившись на конфету.

— Шоколадная трюфелька волшебных свойств, — сказал я и подобно змию-искусителю, развернул бумажку. — Не откусывай, но можешь лизнуть. И каждый может лизнуть, только без нахальства.

Все лизнули кончиком языка, очень осторожно.

Это был удар! Это вам не какие-нибудь паршивые сто рублей.

Бог мой, чиилийские мальчики ни до войны, ни сейчас, никогда не ели ничего подобного! И мне была протянута пробка, а я вручил трюфельку и в придачу к ней спичечный коробок с нарисованным парусником. Мальчики поскакали прочь, чтобы в укромном месте насладиться волшебной сладостью, а я, вернувшись в свой запечный угол, принялся за сооружение осветительного прибора новейшей конструкции.

В пробке было проделано отверстие и вставлена жестяная трубочка парикмахерши Раечки, в трубочку я просунул фитиль небесной женщины Брониславы Александровны, а затем, наполнив пузырек Соломона Лазаревича керосином, подаренным Ганей, плотно вжал пробку в горлышко пузырька. Фитиль можно было вытягивать больше или меньше, прибавляя и убавляя по желанию величину огня. И вот 17 марта 1943 года моя чиилийская электростанция была пущена в эксплуатацию! Я мог работать вечерами!

При появлении моем на улице мальчишки кричали:

— Да здравствует король трюфелек! Дядечка, нет ли у тебя еще! Мы достанем тебе еще сто пробок!

— Ничего у меня больше нету, но уверяю вас, братцы, я еще выдумаю что-нибудь!

Я стал знаменит. Волшебник! Писатель! Таинственный человек!

Никогда раньше я не был таким знаменитым (как никогда не был и потом), как тогда, в Чиилях. Библиотекарша смотрела на меня в потрясении, ибо никто, кроме меня, к ней не приходил, и позволяла мне рыться в беспорядочной груде книг, брать с собой на дом что мне нужно; я брал разрозненные номера «Исторического вестника», сохранившегося с незапамятных времен, историю Соловьева в дореволюционном издании, географическое описание России Семенова-Тян-Шанского и многое другое из старых книг, которые считала она хламом. А когда однажды пошел в сопровождении Гани и Настеньки в железнодорожный клуб, где показывали фильм С. Герасимова «Маскарад», то чувствовал, что на меня устремлены глаза любопытных и прокатился шепот. Ганя шла гордая.

Ох, ни к чему мне была эта слава! С экрана глядели на меня знакомые лица — Софочка Магарилл, Тамара Макарова, Герасимов, Мордвинов… Но на душе было неспокойно. И не зря.

Вскоре вызвал меня мой опер.

Уставившись на меня мрачным взглядом из-под нависших бровей, он спросил:

— Пишешь?

Тут вспомнились мне слова генерала (тогда еще, кажется,

полковника) М. Г. Черняева, славянофильствующего участника похода на Ташкент, сказанные им в шестидесятые годы прошлого столетия: «Три пути ведут в Джулек (это рядом с Чиилями), один из них называется разбойничьей дорогой». Вот этот, с нависшими бровями, которому я подвластен, пришел сюда, несомненно, разбойничьей дорогой и может делать со мной все, что захочет. Глядя на него с ненавистью, так же как он на меня, я ответил:

— Пишу.

— Продолжаешь, это само, свою контрреволюционную деятельность на бумаге?

— Контрреволюцией не занимался и не занимаюсь.

— Интересно. А мне вот один мой кзыл-ординский товарищ, между прочим, сообщил, что выслали тебя за то, что ты написал что-то про дьявола. Соответствует?

Я насторожился. Лена писала мне, что в Ташкенте она дает читать «Мастера и Маргариту» очень многим писателям. Я советовал ей быть поосторожнее, потому что народ там был разный. Но неужто слухи о романе долетели до Кзыл-Орды? В это трудно было поверить, но все же…

Я посмотрел на разбойника и ответил с нарочитой грубостью:

— А ты бы поменьше верил дурацким слухам. Еще какого-то дьявола вздумал мне навешивать!

— Но-но, потише! У нас тут дураков нету, зазря не треплются, контра! — Он прихлопнул печать в очередную клеточку и добавил: — Вот понаведаюсь самолично и пороюсь, что там у тебя в твоих тетрадочках. Отвечай за тебя, это само.

Явышел. Начинало темнеть. Исчез рынок, будто растворился в воздухе. Так исчезают призраки. На саманных амбарах висели замки, ветер гнал по опустевшей площади охапки соломы. Мгновенно все вымерло вокруг. Наступала безлунная ночь. Воображение работало взбудоражено.

Ганя уже спала. А я сидел под тусклой своей коптилкой, освещавшей кусок бумаги, и силился писать. Надо работать, плетью обуха не перешибешь, будь что будет, — руки мои скручены, но голова свободна: не засорять ее пустыми страхами. И никто не посягнет на эту мою свободу! И я думал о Булгакове, когда он, зная, что умирает, исправлял строчки и отдельные слова в своем последнем романе. А я не умираю. Я не имею права умирать. Только один раз смалодушничал — в Лефортове. Но ведь я был невменяем, бессонница довела. Нет, теперь не то! Все худшее позади.

И сладко было мне слышать, как днем, по ту сторону печки, Ганя оберегает меня:

— Тсс! Загалдели! Он пишет! Вот я вас!..

Так что жизнь вроде бы наладилась, ее будничные заботы и события касались и меня, я участвовал в них. Четвертого марта отелилась Лыська. На свет божий появился розовенький мокрый бычок. Ганя сообщила об этом шепотом, дети завизжали, и поднялся шум: «Будем пить чай с молоком, пойдем на станцию продавать!» Еще было холодно, и бычка принесли в комнату. Ошеломленный жизнью, он бродил на слабых ногах и тыкался во все углы, перевернул фикус и разбил тарелку. Лыська стояла во дворе с окровавленным хвостом и жалобно мычала. В доме празднично суетились.

Ночью вдруг выпал снег, но тотчас растаял, и утром солнце так засияло, что стало ясно, что повернуло к весне. И тут появились новые заботы. Пришлось отложить тетрадки, заняться неотложным весенним делом. Прежде всего, я получил квитанцию-ордер на участок под огород. Она была написана на портрете Николая Коперника, вырванном из казахского учебника. По пустырям, неподалеку от железнодорожного полотна, увязая в грязи, ходили две девушки, техники райкомхоза, и отмеряли огородные участки. Мне досталась самая крайняя грядка, у тоненького вишневого деревца, а по соседству оказался дед Сабунов. С виду он казался хилым, невесть как ноги держали, а когда начинал работать, за ним не угонишься — шустрый, хваткий. Приходил я раненько, чуть свет, а он уже копошился. Вместе с ним вскопал арык, готовя его к пуску воды. Плотно утрамбовали, округлили «берега», потом присели отдохнуть. Кругом простирался наш глиняный пустырь, смахивающий на заброшенное кладбище, а за железнодорожной насыпью начиналась совсем как будто безжизненная степь. Дед торжествующе посматривал на меня, говорил:

— Э! И не помирать бы вовек! А через денек что будет? Ты еще и не такую красоту увидишь.

— Но ведь глина, — робко говорил я.

— Глина? Из этой глины такое полезет! Видал нашу тыкву? Где еще такую найдешь! И говорить нечего — не обидел нас Бог местом, прямо скажу — одарил!

Да ведь верно: простор! И век не умирающий дед Сабунов рядом. А вскоре душисто потянуло со степи. Весна! С каждым днем все больше народу появлялось на наших участках. Там и здесь орудовали чекменями и лопатами — в большинстве до той поры, пока на дороге не появлялась будка, похожая на ту, в какую ловят бродячих собак. В ней везли хлеб в магазин, и люди спешили занять очередь.

Под руководством деда посадил редиску и лук. Стало очень тепло, даже жарко. Вспухли почки на деревцах урюка, зацвела и

моя вишенка. Лыську выгнали в стадо, а бычка привязали на дворе. Все эти события отвлекли меня от писания, но однажды, вернувшись домой, я узнал, что ко мне заходил опер, потребовал, чтобы Ганя провела его в мой запечный угол, и рылся в моих тетрадках. Две из них унес с собой. Там были выписки из статей по истории завоевания Казахстана (поход Черняева и Веревкина). Потеря невелика. Ее легко восстановить. Ганя смотрела на меня испуганно, и я ее успокоил, но очень разозлился. А сделать что мог? Такая гадость!

Всего несколько дней прошло, и утешил меня мой огород! Стали пробиваться зелененькие росточки, а у редиски внизу закраснело. «В самую пору», — сказал дед Сабунов, несколько удивляясь моей необыкновенной радости. А для меня это было чудо! И думал я еще о том, что продление рода в растительном мире проходит, до удивления, нежно и целомудренно, не то что у животных. Сидел на грядке и думал, а потом, вернувшись домой, начал писать рассказ о деде, и хотелось писать о вечном и прекрасном, что его нельзя убить и опоганить, оно все равно выживет и прорастет…

В тот день должны были выдавать по талону № 3 американский яичный порошок или жиры, и Ганя выговаривала Настеньке за то, что она встала слишком поздно, ей надо было с ночи занять очередь и отметиться, чтобы наверняка достались жиры, а не американский порошок. Настенька грубила в ответ, потому что торопилась в школу, где был назначен сбор лексырья, а Ганя кричала, что ничего не случилось бы, если бы опоздала, хорошенькое дело — остаться без жиров, с этим вонючим американским порошком, но вдруг, оборвав свой крик, бросилась ко мне.

— За вами солдат, — произнесла она почти в ужасе. — Господи, господи, вот так само пришли за ссыльным, который жил у меня до войны. Ой, боже мой, он уже отворяет калитку…

— Ерунда, Ганя, по-разному бывает. Но на всякий случай соберите мои вещи.

— Вас вызывает оперуполномоченный, — сказал солдат. — Следуйте за мной.

Что-то произошло чрезвычайное, и я приготовился к худшему.

Опер при моем появлении встал. Он оказался громадного роста, широкоплечий, но с вдавленной грудью. Стала очень видна его большая нижняя часть лица, тяжелый подбородок. Он не смотрел на меня, глаза его бегали. Он сказал:

— Присаживайтесь. — Начало было необыкновенное, я сел, он продолжал: — Имею предписание… приказ… немедленно

отправить вас в Алма-Ату в распоряжение, это само, наркома.

— А! — произнес я, делая равнодушный вид, будто отнюдь не удивился.

— Когда хочете уехать?

— Сейчас, — сказал я.

Он развел руками:

— Это само, сегодня поездов уже не предвидится.

— Тогда завтра. — Я пыхнул ядовитым махорочным дымом. — И вот что, голубчик, верни-ка мне мои тетрадки, какие ты взял без спроса.

— Их нет у меня, — испуганно ответил он. — Я их отправил в Кзыл-Орду по начальству.

— Придется сообщить, чтобы они переслали их в целости по адресу наркома для передачи мне.

— Попробую.

— Нет уж, дорогой мой, не попробуешь, а сделаешь. И еще — свяжись с Кзыл-Ордой, чтобы мне забронировали место в спальном вагоне. В котором часу поезд?

— Да ожидаем примерно после полудня.

— Ясно. Буду с утра.

— Может, помочь с вещицами?

— Сам управлюсь. Не забудь про Кзыл-Орду.

Я направился к выходу, а он, сопровождая меня до дверей, заискивающе говорил:

— Это само, был я с вами, извините, без вежливости, но ведь понять должны, при моей должности… и как тут разобрать, кто какой человек и что собой представляет?.. Так что вы уж разъясните, коли спросят…

— Разъясню где надо, — милостиво обещал я.

Ну дела! Да ведь это только во сне бывает, когда мечтаешь в бессилии о мести ненавистному обидчику, а у меня получилось наяву! И, каюсь, я испытал сладкое чувство, видя его испуганное унижение. В конце концов, я мстил не ему, а всем тем, кто изничтожал меня, глумился надо мной, пытаясь разрушить мою душу и мое здоровье…

Поезд мог нагрянуть и до полудня, поэтому я появился на перроне заблаговременно. Меня провожали Ганя, Настенька и Витюша. Не зная, что еще сказать, она лишь приговаривала:

— И на что вы мне оставили свой рис, и сахар, и мед, прямо неловко, честное слово.

— Ну что вы, Ганя, зачем тащить мне все это? В Алма-Ате у меня полно друзей кинематографистов. И не вы мне, а я вам обязан. Всю жизнь помнить буду.

— Скажете! Это мы вас не забудем, дай бог вам счастья!

На перроне появился опер со своими стражами госбезопасности. И когда поезд подходил к платформе, он заспешил к спальному вагону. Я видел издали, как он жарко объяснял что-то проводнице. Подошли мы, и он, повернувшись ко мне, сказал, показывая на проводницу:

— Говорит, что местов нет, а я согласовал с Кзыл-Ордой, как пить дать. А она, это само, заявляет, что до Арыси устроит вас на откидном стульчике в коридоре, а от Арыси освободится в купе.

— Посижу в коридоре, ладно уж.

Я повернулся к Гане, крепко пожал, а потом, склонившись, поцеловал ее большую огрубевшую руку. Это ужасно ее смутило. Вокруг нас уже столпились женщины, вынесшие молоко на продажу, и слышались их сочувственные смешки:

— Видали, как прощаются?

— А то! Ганька хитрая, знает, кого привадить!

— А Витюшка-то ейный?

— Да он же ему за отца стал! Ну, Ганька! Бой-баба.

Витюшка, вцепившись в мою штанину, зарыдал в голос. Настенька вытирала слезы.

— Ну, счастья вам, счастья! — говорила Ганя. Поезд тронулся.

Поплыла платформа. Ганя, Настенька, Витюша махали мне. И стоял на платформе мой опер, вытянувшись, а с ним его «жандармы».

АЛМА-АТА

Однако что за чудеса произошли со мной? Каким образом я мог очутиться в Алма-Ате в то время, когда пребывание не только в республиканской столице, но и в любом более-менее крупном городе категорически было запрещено ссыльным. Или предпринимался какой-нибудь новый коварный демарш против меня? Такие мысли невольно приходили в голову. Но они оказались напрасными. Все было гораздо проще и прекраснее!

В первый же день приезда я узнал, что Николай Константинович Черкасов (кстати, лишь отдаленно меня знавший), известнейший артист, депутат Верховного Совета, подхватив Сергея Михайловича Эйзенштейна (для дополнительного престижа), отправился к наркому НКВД Казахстана и обратился с просьбой о скорейшем вызове меня из Чиилей. По его пламенным словам, выходило, что Центральная объединенная студия, состоявшая из самых блистательных имен «Мосфильма» и «Ленфильма», буквально задыхается от нехватки

опытных сценаристов, а я могу реально помочь в создании боевого военно-патриотического кинорепертуара, не говоря уже о том, что и сам Эйзенштейн постоянно нуждается в моих советах. Феноменально! Нарком обещал удовлетворить просьбу.

Ну, молодцы! Точно таким же способом они вызволили из других казахских захолустий режиссера Художественного театра Василия Григорьевича Сахновского, заподозренного в том, что его намечали в бургомистры Москвы, когда ее займут немцы (!), и художника «Ленфильма» Евгения Евгеньевича Енея, одного из создателей выдающихся фильмов Козинцева и Трауберга («СВД», «Новый Вавилон» и трилогии о Максиме). Он был арестован еще в страшном 1938 году как шпион, ибо имел несчастье родиться в Австро-Венгрии, но затем за бездоказательностью обвинений его, как и меня и В. Г. Сахновского, выслали без суда по заочному приговору ОСО.

Все трое мы появились в Алма-Ате почти одновременно, и нас тотчас определили на высокие посты: В. Г. Сахновского — руководителем мастерской киноактеров, Е. Е. Енея — главным художником студии, а меня — литературным консультантом при дирекции, и, кроме того, я дорабатывал сценарии, поступавшие в производство. Были мы, все трое, как бы повязаны между собой схожими мытарствами и каждую декаду обязательно все вместе двигались в НКВД, где нам ставили загогуленки и печати в квадратики наших паршивых удостоверений, напоминавших, что, какие бы работы мы ни выполняли, являемся всего лишь временно отпущенными рабами…

Я забежал чуть вперед, а нужно рассказать подробнее про то раннее утро, когда поезд мой прибыл в Алма-Ату. Я вышел на широкий проспект, обсаженный высоченными тополями и стрелой прорезавший город до самых предгорий Ала-Тау. Расспросив прохожих, где находится киностудия, я свернул в нужном месте налево. Мне было известно, что дом, заселенный режиссерами — сталинскими лауреатами — находится недалеко от студии, и я без труда его нашел.

В доме, по-видимому, еще спали, и я, постеснявшись, присел в ожидании на скамейку под деревом, пока какая-то женщина в платке и с хозяйственной сумкой не вышла из «лауреатника». Я спросил ее, в какой квартире живет Райзман.

— На втором этаже, за дверью направо, — сказала она, с опаской оглядев меня.

Иногда запоминаются совсем ненужные подробности: у женщины было немолодое, но красивое лицо и ужасающе разросшийся зад: «Это болезнь, — подумал я, — и называется, кажется, степотагия». Впоследствии я узнал, что она

прислуживала Эйзенштейну. Между тем женщина еще раз оглянулась на меня и добавила:

— А токо навряд они уже встали. — И скрылась за поворотом.

Я еще посидел немного и затем поднялся на второй этаж и позвонил. Некоторое время никто не отзывался, потом послышались шаги, два раза повернулся ключ, не сразу отодвинулась задвижка, и в приоткрывшейся щели я увидел Сюзанну, наспех одетую, растрепанную.

— Ой! — воскликнула она, отбрасывая дверную цепочку. — Сережа! Юка! Юка! Сережа приехал.

Из комнаты выскочил Юля, на ходу надевая халат. И тут поднялась суматоха в квартире. Из всех дверей высовывались головы ее обитателей.

— В ванну, в ванну его! — кричали они, скорее восторженно, чем испуганно. — Затопите ванну! Он прямо с поезда!

И верно, от моего пальто, от моей одежды несло перепревшим запахом вагонов и тюрьмы.

— Раздевайтесь тут же в коридоре. Пальто кидайте прямо на пол! — распоряжался Райзман. — Сюзанна, колонку зажгла? Уходи в комнату! Снимайте пиджак, штаны, все исподнее. Вши есть? — деловито осведомлялся он.

— Не замечал. Я ехал в спальном.

— Очень хорошо. Теперь ступайте в ванную. А ваши вещи вывесим на балкон и как следует выветрим. Идите, идите. Без вас сделаем.

Я вошел в ванную. Ее слегка подернуло паром. Бог мой, какая необычайная чистота! Рай земной! Я погрузился в теплую воду и закричал в восторге!

— Ура! Да здравствует цивилизация!

В коридоре собралось, по-видимому, все население квартиры. Кричали:

— Мочалка Пырьева слева! На верхней полочке мыло Козинцева! На нижней — Райзмана. Берите какое хотите! Мыло, мыло берите! В углу пырьевская мохнатая простыня! Вытирайтесь ею! А голову — полотенцем Сюзанны, оно с другой стороны. Мойтесь, мойтесь!

Они действовали. Они, по-видимому, перетаскивали мои вещи на балкон. Райзман сунул мне чистую пижаму.

Когда я проходил в этой пижаме, испытывая блаженную чистоту, перекатывающуюся по всему телу, в коридоре уже никого не было, и я вошел в комнату Юли. Запахло яичницей, которую жарила на плитке Сюзанна; Райзман рассказывал, как Черкасов убеждал наркома, а тот говорил: «Так ведь он, дорогой товарищ, обиделся на нас, наверное, а? И не будет вам писать, а?»

«Он не будет? — своим срывающимся с баса на дискант голосом прерывал наркома Черкасов. — Да у него карандаш из рук не вырвешь, спросите у Эйзена!» Юля показывал все это в лицах — и узенькие хитренькие глаза наркома, и размахивающего руками Черкасова, и Эйзера, который с важностью богдыхана разводил руками: «Ну что вы, право, не зря же мы просим…»

— Садитесь кушать, — гремя посудой, озабоченно говорила Сюзанна. — Извините, я даже не успела причесаться.

А когда я уже сидел за столом, наслаждаясь ее сказочным угощением, не вытерпев, спросила:

— А все-таки… за что же вас?

— Глупости говоришь, — сердито прервал ее Райзман.

— «Глупости», но не бывает же, чтобы ни за что?

— Перестань! Раз и навсегда запомни: не болтай об этом! Ведь вот он молчит. Ну и правильно. — Юля повернулся ко мне. — Кошмар с ними! Теперь ложитесь отдыхать, пока вытрясут ваши вещи. Вы не представляете, Сережа, когда я вернулся из последней поездки, Сюзанна нашла у меня вошь.

— Это бывает, — сказал я. — Особенно в международном, там она легче задерживается.

Сюзанна, не выдержав, так и покатилась от смеха:

— Вы не стесняйтесь, ложитесь. Юка, поверх одеяла я положила палас.

— Полосатый? Правильно сделала. Вам удобно?

— Не то слово. Блаженство.

Я лег. Усталость, смешанная с сытостью и продолжающимся ощущением чистоты, дымкой и негой, уносила меня куда-то. Юля, подсев ко мне, рассказывал про то, что гостиница «Дома Советов» полностью отдана эвакуированным мосфильмовцам и ленфильмовцам. Это целый Ноев ковчег! И мне там тоже выделена комната — я отдохну, и меня он отведет туда, я увижу много знакомых. Кстати, сценарная студия здесь. Ее возглавляет Коварский[92]. Мика Блейман[93] очень обрадовался, как только узнал, что я приеду. Были Зощенко и Паустовский, совсем недавно уехали, но остались хорошо мне знакомые сценаристы-москвичи — Папава, Маша Смирнова[94], Гранберг. Вообще как-то все устроилось, терпеть можно… Юля рассказывал, какие фильмы снимаются на студии, об «Иване Грозном» Эйзенштейна, о боевых киносборниках и с юмором изображал Анну Николаевну Пудовкину, изобретательнее всех производившую обмен тряпья на рынке, а я в ответ начал было рассказывать, как ловко обменял его шоколадную трюфельку на пробку, но в этот момент отворилась дверь и в комнату вплыло чудо: златокудрый ангел в голубом появился передо мной.

— Боже мой, Сережа, почему вы смотрите на меня таким диким взглядом? Не узнаете? Я — Софочка, Софочка Магарилл[95].

— Конечно, узнаю, — пролепетал я. — Но этого не может быть! Подойдите, подойдите ко мне! Я дотронусь до вашей руки, чтобы убедиться, что это не сон!

Мог ли я объяснить, что потрясение мое было естественно. Я привык видеть женщин в ватниках, неотличимых от мужиков и солдат, говорящих хриплыми, простуженными голосами, торгующих на рынке и на вокзалах, самоотверженных тружениц, забывших, что они женщины, пропахших вокзальной хлоркой, с ожесточенными и вместе с тем готовыми на великую самоотдачу сердцами, загнавшими вглубь остатки нежности, только таких женщин я видел, а тут это «видение» — иной мир! Он как бы воплотился для меня в Софочке, и я сказал ей, что, глядя на нее, жизнь, несмотря ни на что, полна чудес.

— Вот вы это и объясните нам. А то мы забыли об этом, — говорила она смеясь.

Невозможно было не довериться и не подружиться с нею. С женской чуткостью она уловила, сколь много меня унижали. И с той же чуткостью, незаметно, под разными предлогами, подкармливала меня, понимая, сколь высокомерно щепетилен человек, длительно голодавший. Но, какую бы заботу ни проявляли ко мне люди, я продолжал смотреть на них настороженно. Из «Дома Советов» в студию норовил ходить не по главной улице, а боковыми улочками, чтобы не встречать знакомых. Мне казалось, что я поставлю их в затруднительное положение, ибо как-никак я «социально опасный» и могу скомпрометировать их. Она возмущалась и заставляла меня идти непременно по главному, самому оживленному проспекту, сердито говоря, что я не волк, что я не понимаю, что на свете гораздо больше добрых, чем злых и трусливых людей, что сейчас совсем другое время, чем то, какое было до войны. Я еще не знал, что она права, и подчинялся ей, преодолевая свой недостойный страх.

Мы с ней много бродили по Алма-Ате, сидели на камнях над журчащей Алмаатинкой. Она рассказывала мне о разном, в том числе и о том, что несколько раз приезжал Луговской, писавший стихотворные тексты для «Ивана Грозного», и его сестра Татьяна Александровна, художник, с которой Софочка очень подружилась.

— Вы бы перестали слушать мою болтовню, — говорила она, — как только познакомились бы с ней. Удивительная женщина! Такой другой не встречала!

И ее глаза, детские, чуть кукольные, подчеркнутые умелой

кисточкой, искрились неподдельным восторгом.

— Вы знаете, — продолжала она, — Таня рассказывала мне, что Елена Сергеевна, вдова Булгакова, давала ей роман «Мастер и Маргарита», который Булгаков писал десять лет и исправлял уже слепой, умирающий.

— Я знаю этот роман, — сказал я.

— Правда, замечательный?

— Правда.

— Говорят, какой-то таинственный, загадочный роман?

— Да.

И я попытался, как мог, рассказать содержание «Мастера» и упомянул про Иешуа, который так же, как и Софочка, был уверен, что все люди добрые, хотя не все знают это. Впервые Софочке, только ей, рассказал подробнее о Михаиле Афанасьевиче, о дружбе моей с ним, о многом из того, что появилось позже в моих записках о нем…

Но я опять забегаю вперед. До этого непременно нужно вспомнить и о том, как в день моего приезда в Алма-Ату меня вселили в «Дом Советов». Верно — «Ноев ковчег» эвакуированных из Москвы и Ленинграда! В коридорах были свалены в угол кадки с пальмами, украшавшие раньше гостиничные холлы, пахло кухонным бытом густо населенного общежития. Я очутился в небольшом номере. Там стояла железная кровать с небольшим матрацем, стол и два стула из прежней стандартной мебели, вот и все. Я присел на кровать, задумавшись, как бы устроиться здесь поуютнее. У меня ничего не было.

Но чудеса продолжались.

Первым появился Эйзенштейн. Этот человек, чуждый какой-либо сентиментальности, принес мне продолговатую подушку (она сохранилась у меня до сих пор) и произнес:

— Подушки у вас, разумеется, нет. Без подушки спать неудобно. А мне навезли их зачем-то целых три. Так что вот — пользуйтесь!

— Во-первых, — начал я, — мне надобно поблагодарить вас, Сергей Михайлович…

— Вы не меня благодарите, а Черкасова, — перебил он меня.

— А Черкасов сейчас здесь?

— Здесь. Но не вздумайте идти к нему. Сахновский сунулся было, так он на него взвизгнул Полежаевским голосом: «Вы что, батенька, смеетесь надо мной? Не забывайте, я царь Иван Грозный! Царь!»

Я не успел ответить Эйзену, как ворвался Пудовкин. Был он, не в пример Сергею Михайловичу, эмоционально взвинчен, что вообще было ему свойственно.

— Простыня! Вы понимаете, Анна Николаевна задумала адский план обмена ее на соль, или сахар, или что-то еще в этом роде, но я вовремя схватил эту простыню.

— Вы поступили правильно, Всеволод Илларионович, — сказал Эйзен, раскланявшись в мою и в его сторону.

— Где он достанет простыню? Смешно! — воскликнул Пудовкин. — Прошу, Сережа, чем, как говорится, богат.

Едва они ушли, пришел Козинцев, слегка напряженный. На его руке был перекинут черный клеенчатый плащ. Свою миссию он выполнял с некоторой неловкостью и сдержанно, с той ленинградской вежливостью, которой всегда отличался, объяснил мне, что пальто мое, по наблюдению Софочки, не подойдет к сезону, а у него имеется плащ, вполне хороший…

Записал все это и подумал, а не выгляжу ли я в этом рассказе хвастунишкой: вот-де какие люди опекали меня! Не был я ни их учеником, ни тем более наставником, да и другом не был, просто у меня с ними сложились хорошие отношения, но никак не близкие (ближе всего, пожалуй, с Пудовкиным), но тогда я был ошеломлен и растроган. А тут еще в дверь просунулась голова Якова Ильича Райзмана, отца Юли.

Мало сказать, что он был человек незаурядный, вся его жизнь подтверждала его необыкновенные способности. Местечковый портняжка, он выбился в одного из самых модных портных дореволюционной Москвы. Разбогател. Революция его разорила. Он стал работать в пошивочных мастерских у железнодорожников, его отметили грамотой ударника. Во время нэпа затеял мануфактурное дело. Опять разбогател и опять разорился. И все свои разорения переносил без сокрушений, ему было весело жить. Когда возник Торгсин, а затем «Интурист», он возглавлял пошивочную мастерскую, заказчиками которой могли быть лишь дипломаты из Наркоминдела или интуристы, владеющие валютой. Мастерская помещалась в «Метрополе». Сам Яков Ильич шитьем не занимался, он лишь руководил примеркой, указывал крой, угадывал нужную линию, точно ее намечал. Он был художник, мастер! Самоучка, не получивший никакого образования, был начитан, собрал прекрасную библиотеку, любил беседы на самые заковыристые философские темы.

— Входите же, Яков Ильич, входите! — восклицал я, увидев его, осторожно приотворившего дверь в мой номер.

— А я сразу и прибежал, как только узнал, что вы приехали, — говорил он, обнимая меня. — Ай-яй-яй, какие дела, какие беды!.. Но крутимся, крутимся. Вот, слава богу, и с вами обошлось! А меня вывезли вместе с Юлечкой, представляете, и я угодил в кинематограф. Так это же кавардак, а не заведение!

Правда, я работаю с Сергеем Михайловичем, это интересно. «Иван Грозный», сами понимаете. Но как посмотришь кругом… Это же художественная интеллигенция. Так они же о чем думают? Ой!.. Послушайте, так это же на вас мой костюм?

— Ваш, Яков Ильич.

— Ничего себе, загваздали. Хотя я понимаю, ну… еще бы! Встаньте-ка! А с вас половина осталась. Висит, как с какого-то бывшего человека. Но это разве беда! Это же пустяк! Давайте мерочку снимем. — Говоря это, он быстро обмерял меня и записывал в свою книжечку цифры. — Очень хорошо получится. Посидите в подштанниках, дверь на ключ, потом выспитесь как следует, и утречком я принесу вам вещь! Спокойной ночи. Ах, как я рад, что вы живой!

Я остался один. Впрочем, нет, еще прибежал Мика Блейман и принес мне чайник и стакан, а Надя Бриллиантщикова, жена режиссера Корша-Саблина, — электроплитку, сказав: «Только прячьте, комендант не разрешает». Затем я последовал совету Якова Ильича: заперся на ключ и притаился. Надо было разобраться во всем, что произошло за этот суматошный день, полный впечатлений.

Что-то изменилось в людях, что-то перевернулось в них!

Да, общая беда объединила. Они потеплели душой. Но не только это.

В конце тридцатых годов словно все дверные замки были сломаны, и в любую минуту в дом могло ворваться несчастье. Это касалось всех, даже самых благополучных, отмеченных успехами, милостями, признанием заслуг. В этом никто вслух не признался бы, напротив, не чересчур ли старательно славословили, произносили речи, возвеличивая время, в какое жили? От самих себя прятали внутреннее дрожание, но оно притаенно не оставляло никого… И еще: до войны общество все отчетливее расслаивалось на ранги. Одни восходили по лестнице славы, теша свое честолюбие, все больше возвышаясь, и житейские блага, которые они получали, с каждым днем все более отрывали их от остальной массы обыкновенных людей — обывательского быта, серой жизни. А сейчас это стерлось. Вдруг почти совсем потерялось… Те, кто и в военных условиях был наделен лучшими пайками, не только не кичились ими, но, напротив, даже вроде бы стыдясь, старались не подчеркивать этого.

И получалось, что по внешним признакам все жили одинаково.

В этом как бы отразилась чистота тех лет — душевный уют, если угодно, тех трудных, подчас очень трудных дней, а то и прямой беды и горя, потому что редко у кого не было близких на

фронте, вдруг обрывались вести о них или приходили похоронки…

Всех это касалось, всех, всех!

Вечером выбегали из своих комнат, стояли тесно в холле «Дома Советов», слушали военную сводку, и сердца людей бились одинаково, в унисон, с одним общим придыханием вникали в каждое слово, произносимое Левитаном.

Когда отодвинулось это время, о нем вспоминалось с теплом, потому что было тогда неповторимое человеческое единение. Потом оно вновь распалось, расслоилось: после войны. И с каждым годом все резче. За высокими заборами вырастали собственные дачи, на престижных машинах катили люди, равнодушно поглядывая на серый поток людей, измученных служебными заботами, дрязгами, очередями, толкучкой в метро. Впрочем, и у них, и у этих пресловутых «винтиков», как по команде, как машина, одинаково аплодирующих тому, у кого в этот момент палка в руках, у них тоже произойдут перемены. Они вселятся в одинаковые квартиры, в одинаковые клеточки, как в соты ульев, в шеренгу выстроенных небоскребов, и усядутся под одинаковыми оранжевыми абажурами перед своими телевизорами. Мещанин удушит революцию, как говорил Герцен. И сочтется это за должное, за достигнутое наконец государственное равновесие, оснащенное умелым карьеризмом прочной, крепкозадой бюрократии. Закономерно зашелестят под окнами машины собственников, вознесшихся на недоступные верхотуры социальной лестницы. Все это мы еще увидим, и не удивимся, и привыкнем, и посчитаем под гром аплодисментов, что жизнь выровнялась, и забудем, как бедовали в военные годы и были равноправны в нашей общей беде…

Да, я ощущал удивительное человеческое тепло в Алма-Ате, посматривая на подушку Эйзена, простыню Пудовкина, плащ Козинцева, и думал, что никакой я не отверженный, не «социально опасный». Словно канули в Лету те совсем недавние времена, когда после моего ареста многие знакомые, даже близкие, старались не встречаться с моей женой, не звонить ей: боялись. Можно было стереть мое имя, обворовать меня безнаказанно, делать со мной что угодно… Э, казалось, было и прошло! Прошло ли?

Я тогда не думал об этом. Сердце мое согрелось. Так началась моя алма-атинская жизнь: радушно! И что греха таить, сперва я даже расслабился. Я просто задохнулся от чувства свободы. И, честное слово, некоторое время даже стал бонвиванствовать!.. Помню, Михаил Папава, входивший в моду сценарист, говорил мне, играя в шахматы:

— А ведь вокруг вас веет романтический ореол! Вы здесь как Лермонтов.

Он показывал мелкие зубы, улыбаясь, и теребил светлую бородку (первый бородач в нашей среде, тогда бород еще не носили), и я отвечал ему:

— Конечно, Лермонтов! Миша! Хотите, поменяемся? Вы даете мне свой паспорт, а я вам свое удостоверение с квадратиками и, в придачу к романтическому ореолу, отыщу вам княжну Мэри для розыгрыша. Полный набор среднеазиатского Пятигорска! Согласны?

— Куда мне! У меня язва. Я и в Грушницкие не гожусь.

Мы шутили. Я все еще был весел. Но вскоре это мое беспечное существование кончилось. Оно стало нестерпимо. Ведь война продолжалась! И я все меньше понимал своих коллег по ремеслу, которые отсиживались в этом алма-атинском инкубаторе как незаменимые специалисты. Мне не стыдно признаться, что я тайком от всех подал заявление в военкомат с просьбой, чтобы меня зачислили добровольцем в армию. Военком принял меня сухо. Он ознакомился с моими документами и сказал неприязненно:

— Хотите укрыться в армии?

— Позвольте, я…

Но он перебил меня резко:

— Даже штрафной батальон вас не пугает? Встречался я и с такими случаями! Впрочем… — Он брезгливо поморщился. — Это меня не касается, вас затребовали сюда по особому распоряжению наркома. Очевидно, вы нужны киностудии. Уберите ваше заявление. Я рассматриваю его как дезертирство с трудового фронта. Щажу вас. А то обязан был бы сообщить об этом куда следует. Также и в дирекцию киностудии. Всего хорошего.

Он привстал, но руки мне не подал. Однако мне показалось (или хотелось, чтобы это было так), он посмотрел на меня с сочувствием. Даже штрафной батальон был для меня недостижимой честью!

Вот почему не просто стыд, а гнетущая депрессия настигла меня. И как всегда в моей жизни, когда сваливались неудачи, спасти могла только работа. Притом такая, в которую можно погрузиться с головой.

Я написал в студию заявку, предложив включить в план сценарий о Чокане Валиханове. Почему именно о нем?

НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ВАЛИХАНОВЕ

К этой работе я привлек Мику Блеймана. Он, так же как и я, любил рыться в книжных завалах, старых журналах, неразобранных архивах, а это как раз и пришлось делать. Материалов о нашем герое оказалось очень мало. Мы располагали лишь однотомником его сочинений, изданных в 1907 году Императорским географическим обществом с небольшими заметками о нем (Потанина, Ядринцева и других). Биография Чокана восстанавливалась буквально по кусочкам. Мы узнали, что существовал памятник на его могиле в далеком ауле Тезек (почти у самой китайской границы), где он, больной и измученный, прожил последние годы и умер. Этот памятник был сооружен русским генералом Колпаковским, основателем военного городка Верный (будущей столицы Казахстана — Алма-Аты), а разрушен, видимо, сородичами Чокана. Его имя продолжало оставаться в странной тени, даже в 1943 году, когда мы начали работать над сценарием. Почему это происходило?

Он стал чужим в своей стране!..

Его жизненный путь и посмертная судьба поразили меня. Он вырос в первобытных кочевьях северо-восточного Казахстана. Его отец, глава рода, старый Чингиз, сохранял родовую власть и после присоединения к России. Безразлично, был ли это генерал-губернатор Западной Сибири ретроград К. Х. Гасфорд или либеральный К. Х. Гутковский, его советник по делам инородцев, — словом, любую русскую администрацию вполне устраивало такое самоуправление казахов, и кокчетавскому султану Чингизу был даже пожалован чин полковника. Эполеты украшали его халат, а сына приняли в Омский кадетский корпус.

Чокан хотя и стал офицером, но воспользовался этим по-своему. Он возглавлял военно-топографические экспедиции, стал исследователем края, этнографом, фольклористом, ученым, впервые записавшим киргизский эпос «Манас». А его путешествие в Кашгарию, доселе закрытую для европейцев страну Западного Китая, стало сенсационным. Он проник туда под видом кашгарского купца Алимбая, а по возвращении был вызван для доклада в Петербург.

Появление Валиханова в столичных салонах произвело необыкновенное впечатление: степной «дикарь» оказался отнюдь не дикарем, а напротив, человеком изысканно светским, ироничным, даже чуть высокомерным, на него смотрели как на экзотическое чудо. Сам государь император пожелал, чтобы его представили ему! А его доклад в Русском географическом обществе вызвал шумное одобрение, он был единогласно избран в действительные члены Общества, что свидетельствовало о признании его научных заслуг.

Связи Валиханова с передовыми представителями русской интеллигенции возникли еще в Омске. Там он познакомился с прославленным географом и путешественником Петром Петровичем Семеновым-Тян-Шанским, краеведом Г. Н. Потаниным, петрашевцем С. Ф. Дуровым и сблизился с Ф. М. Достоевским, когда тот находился в ссылке. Дружбу с Достоевским Валиханов сохранил на всю жизнь, хотя по взглядам примыкал к более радикальным кругам, близким к некрасовскому «Современнику». Он был демократ, просветитель, ратовавший за культуру и цивилизацию, дабы всколыхнуть, сломать вековую отсталость своего народа. В Петербурге же в это время шумел полковник Черняев, снаряжавший экспедицию в Туркестан. Он должен был проложить путь на Ташкент с востока, в то время как отряд Веревкина шел на соединение с ним с запада, через Кзыл-Орду. Со стороны Кокандского царства не ожидали серьезного сопротивления, и Черняев рассматривал свой поход прежде всего как изучение края и военную поддержку русским торговым караванам, проникавшим в глубь новых туркестанских земель. В штабе Черняева появились географы и топографы, этнографы и энтомологи, среди них такие известные ученые, как Северцев, Лерхе, и многие другие. Говорились речи о просвещении, строились самые широкие научные планы. И, конечно, Валиханов был среди выступавших.

Однако это была не мирная экспедиция, а война. С русскими сражались фанатики кокандцы под зелеными знаменами ислама. Они были примитивно вооружены, но отчаянны и коварны, и расправа с ними была жестокой. В первой же битве под Аулие-Ата Валиханов с ужасом убедился в этом. И ведь на стороне кокандцев воевал Кенисары Касымов, его дядя, и Садык, его двоюродный, брат. Воочию он увидел, как под ударами черняевских пушек пылают обезумевшие степные аулы. От петербургских гуманных речей ровным счетом ничего не осталось. Да и время вдруг резко перевернулось, страшные вести приходили из Петербурга: арестован Чернышевский, закрыт «Современник», не стало единомышленников, друзей. Его отец, старая лиса, сидя в своем Сырамбете, умело лавировал, поддерживая тайную связь с кокандцами и сохраняя верноподданнические отношения с омским начальством. У Чокана не было поддержки — ни дома, ни в Петербурге, и после резкого объяснения с Черняевым он подал рапорт об отставке и, уже совсем больной, уехал в Тезек.

Таков был конец первого казахского ученого, просветителя, писателя, стойкого и ясного в своих убеждениях и непонятого современниками. Но только ли современниками?

В начале двадцатых годов, в разгар националистических страстей, некоторые казахские писатели говорили о нем как о человеке, враждебном духу национальной самобытности, прислужнике самодержавия, изменнике родины. Понадобились десятилетия, чтобы понять значение Валиханова для всей будущей культуры его народа. В работе над сценарием мы с Микой столкнулись с этим еще невнятным и противоречивым отношением к биографии Чокана. А для меня драматизм его судьбы вплотную приблизил тему о мужестве первопроходца, идущего впереди своего времени, вступающего в неравный бой с косностью мысли, непоколебимо отстаивающего свои идеалы. Эту тему я развивал в дальнейшем, изучая русскую литературную историю, и рядом с моим Грибоедовым, Львом Толстым, Блоком возникал передо мной булгаковский Мольер, булгаковский Пушкин, булгаковский Дон Кихот и, наконец, сам Булгаков!

АЛМА-АТА (продолжение)

В разгар нашей работы в Алма-Ату приехал министр кино Иван Григорьевич Большаков, чиновник, вынырнувший из недр молотовских канцелярий. Он был обучен умению улавливать то, что от него требовали сверху, и коль скоро его назначили командовать киноискусством, то он тотчас посчитал себя всепонимающим в этом деле и прибыл к нам проруководить Эйзенштейном, Пудовкиным, Козинцевым и другими мастерами, а также навести канцелярский порядок в производстве и обследовать сценарный портфель.

Натолкнувшись на договор, заключенный со мной на сценарий «Чокан Валиханов», он с гневом разорвал его. Фридрих Эрмлер[96], в ту пору художественный руководитель студии, прибежал ко мне бледный.

— Что я мог сделать, что? — оправдывался он, боясь взглянуть на меня. — Большаков кричал, возмущался, как я мог проглядеть, что к нам в авторы пролез человек, высланный по подозрению в антисоветской деятельности. За такой либерализм надо крепко бить!.. Ну? Что теперь мне делать?

— Н-ничего особенного не с-случилось, — раздался голос Мики Блеймана, он чуть больше обычного заикался. — Ф-фри-да, ты перезаключишь договор только со мной, а мы с Сережей будем с-сотрудничать на тех же условиях, как раньше.

Я стал тайным автором, и мы продолжали работу.

Впрочем, история с этим сценарием имела анекдотическое продолжение. Сценарий был закончен, принят студией и

пролежал до незабываемого 1949 года. Разумеется, он был надлежаще «отредактирован», уложен в привычную схему тогдашних биографических фильмов. Постановка его была поручена молодому казахскому режиссеру Мажиту Бегалину, он с энтузиазмом принялся за работу, но его вызвали в министерство, и Большаков заявил, что сценарий не может быть запущен в производство с такой фамилией автора, как Блейман, к тому же ему, Большакову, известно, что сценарий писал в основном другой человек, вполне, так сказать, «подходящий».

Этим «подходящим» был теперь я, и мы с Бегалиным отправились к Блейману — как быть?

— Ничего особенного не случилось, — сказал Блейман с усмешкой. Примерно неделю тому назад его имя поносили на специальном заседании в Доме кино как злостного космополита, и особенно упражнялся в этом направлении перепуганный насмерть режиссер Марк Донской, будущий Герой соцтруда, если не ошибаюсь, первый в кинематографии получивший это звание. Блейман иронически улыбался, объясняя Бегалину:

— В-вычеркните мою фамилию, замените ее Сережиной и садитесь за режиссерскую разработку. Все будет в п-по-рядке.

Теперь тайным автором стал Блейман, а представительствовал я. Но лишь появилось сообщение, что «Казахфильм» совместно с «Ленфильмом» ставит сценарий о Валиханове, как в «Казахстанской правде» появилась разгромная статья, разоблачающая автора, то есть меня, как байского приспешника, исказившего противоречивый образ Валиханова, действовавшего вместе с царской военщиной против освободительного движения в Туркестане. Я тогда уже находился в Москве, хотя положение мое продолжало еще оставаться шатким и такое политическое обвинение могло иметь для меня роковые последствия, а к тому же статью полностью перепечатали в «Правде». Мухтар Ауэзов[97], прекрасно понимая это, немедленно прилетел в Москву, в тот же день добился приема у главного редактора «Правды» П. Н. Поспелова и отправился к нему вместе со мной.

— Петр Николаевич, поймите, — говорил Ауэзов, — статья, перепечатанная в центральном органе партии, направлена не против Ермолинского, а против меня. Я защищал и защищаю этот сценарий. Вокруг Валиханова еще до сих пор ведутся споры. В Алма-Ате у меня много завистников, и они воспользовались случаем, чтобы припомнить мои прошлые политические ошибки…

— Ваше имя, как одного из крупнейших наших писателей, не нуждается в защите, — перебил его Поспелов. — А кроме того, я

уже до вашего приезда удостоверился, что статья ошибочная, и наш алма-атинский корреспондент уже снят с работы.

Обычно малоподвижное лицо Ауэзова, похожего на бронзового будду, дернулось, глаза из-под припухших век гневно сузились.

— Позвольте! — воскликнул он. — Корреспондента сняли, а в каком положении автор сценария? Надо, чтобы «Правда» сообщила о допущенной ошибке.

— «Правда» не извиняется, Мухтар Омарханович, — улыбаясь, возразил Поспелов. — Однако могу вас заверить, что это никак не отразится на репутации автора. — И он поклонился в мою сторону. — Я располагаю в таких случаях несколько иными каналами.

Это верно: он располагал «иными каналами», репутация моя не пострадала. А к моменту выпуска фильма и имя Блеймана перестало звучать одиозно: на титрах появились, как и должно, имена двух авторов. Но все это произошло значительно позже…

Жаркое алма-атинское лето 1944 года подходило к концу, когда черновики «Валиханова» начали перепечатываться машинисткой. В это время по «Дому Советов» прокатилась эпидемия брюшного тифа. Первым заболел звукооператор З. Залкинд. Он скончался в больнице (последней его работой был фильм Фридриха Эрмлера «Она защищает Родину»). Вскоре в больницу отвезли и меня.

Больница была переполнена. На полу, в коридорах валялись больные, и только Н. А. Коварский, не жалея голосовых связок, темпераментно, как это он умел, настоял, чтобы койку со мной втиснули в палату.

В тифозном бреду ко мне вернулись вдруг мои Чарусы, странные сновидения, почему-то возникавшие в первые ночи моего пребывания в тюрьме. Теперь, как и тогда, они были до удивления далеки от действительности, ни от чего не отталкивались, существовали сами по себе, унося меня в идиллические просторы, и снова видел я реку, катер, праздничных гостей, призрачных, не имевших ни лиц, ни имен. Прорываясь в сознание, я узнавал Софочку Магарилл, приносившую мне протертую кашу, потом вместо нее — Машу Смирнову.

— Софочка нездорова, теперь к тебе буду ходить я, — сказала она.

— Что с ней? — спросил я, как бы сквозь сон, еще не понимая, еще отрешенный от жизни.

Но вот Чарусы растворились, ушли навсегда. Началось бледное выздоровление. Меня, еще очень слабого, перевезли в

«Дом Советов». Там я узнал, что у Софочки тиф, но она лежит дома. Меня к ней не пустили, вернее, она сама не захотела, чтобы видели ее угасающее лицо…

Целые дни я просиживал у Маши. А когда узнал, что Софочка умерла, настоял, что пойду ее проводить, и плелся позади немногочисленной процессии, пока не упал. Барнет[98] приволок меня в гостиницу.

— Сиди, бандит! — приказал он. — Хватит с меня. Я тащил тебя в больницу и больше не намерен таскать. Сиди и не шевелись. Надоел ты мне.

— Ты хороший парень, Боря. Клянусь, я буду сидеть и не шевелиться, — покорно согласился я.

— Твое дело выздоравливать. А то помрешь и выпить не с кем будет, — сказал он, веселый жизнелюб, никак не похожий на будущего самоубийцу.

В жизни многое происходит наоборот.

Софочка, и в те нелегкие годы жившая в холе и болевшая в наилучших условиях, не выдержала, а я, с надорванным организмом, валявшийся без присмотра в больнице, лишь подкармливаемый Машиными кашами, добываемыми из последних сил, устоял, выздоровел.

Пока я болел, «Валиханов» был прочитан и одобрен студией. Мика Блейман принес мне мой гонорар, полученный по договору на его имя.

— Ну а производственная судьба сценария еще неизвестна, — сказал он. — Режиссера нет, да и не предвидится. Объединенная студия накануне ликвидации.

Люди возвращались домой — в Москву, в Ленинград. Каждый день кто-нибудь получал вызов. Уезжали семьями, а иногда целыми съемочными группами. Опустел «лауреатник». Все меньше и меньше оставалось людей в «Доме Советов». Получила вызов и Маша Смирнова.

Помню, поезд ее уходил поздно вечером. В вагоне почему-то было пусто. Она сидела в полутемном купе, растерянная, испуганная. Ее муж был тяжело ранен, вести о его здоровье шли тревожные, и она не знала, что делать, как поступать, как жить дальше. Она даже сердилась на нас, что мы бросаем ее, не едем с ней. Забыла, наверно, что я все еще ссыльный, собой не распоряжаюсь, а Мике почему-то вызов в Ленинград не посылают. И ей казалось, что она едет в пустую страшную Москву. Но Москва была для нее не пуста. Там ждала ее Вера Марецкая, ее надежная подруга, и она еще не предполагала, что скоро начнет работу над сценарием «Сельская учительница», который принес ей первый шумный успех.

А кинематографическая жизнь в Алма-Ате совсем замерла. На месте студии, где гремели имена Эйзенштейна[99], Пудовкина[100], Козинцева[101], Трауберга, Фридриха Эрмлера, зарождалась новая молодая студия — «Казахфильм». И мы с Микой чувствовали себя забытыми Фирсами.

Добрые вести шли с фронта. Война явно приближалась к концу, и настроение у всех было приподнятое… Но для меня время бродило кислотой дурных предчувствий.

Лена вернулась в Москву и писала мне, что дела с изданием Мишиных произведений не двигаются с места. Что-то роковое висит над его именем. Собралась булгаковская комиссия, но меня вычеркнули из ее состава. Лена сообщала об этом виновато. Мне было очень обидно это сообщение (еще и потому, что она не нашла мужества отстоять меня), но я все же утешал ее, писал, что при моем положении иначе нельзя было поступить. Дело, в конце концов, не в том, состою я в комиссии или нет, при возвращении в Москву я все равно буду помогать ей, даже «за кулисами».

Мое возвращение в Москву? Об этом даже думать было смешно! Со мной могли сделать все, что угодно. Я жук на булавке. Но почему Блеймана не вызывают?

— Н-нормальная бюрократическая волокита, — говорил он, однако, сумрачно. — Надо написать Ф-фридриху, чтобы он нажал.

Мы не подозревали тогда, что задержка с его вызовом была первым сигналом того, что через несколько лет цинично выльется в борьбу с «космополитами».

Гостиница опустела.

Вечерами мы играли в преферанс. Партнеры были случайные, чаще всего какой-нибудь заезжий кинооператор хроники, которого мы старались обыграть. Тусклый свет керосиновой лампы освещал наши лица. Мика по обыкновению философствовал, строил прогнозы:

— Нет сомнения, что скоро мы войдем в Европу победителями. В истории это уже бывало. Александр I вступил в Париж как освободитель всех народов. Французы были в восхищении от казаков. Чем это кончилось-п-помним. Сперва Россия — освободитель, потом — жандарм для всех вольнодумцев в Европе. Русский мужик, изгнавший французов, снова вернулся под палку господина. Об этом собирался писать Грибоедов. Но я не хочу сказать, что история повторяется. Возможны варианты. Могу только сказать, что у нас восторжествует пора полнейшего единомыслия и всеобъемлющей государственности. Будем вышагивать прусским шагом на плац-парадах. А что это значит для кино? Это значит, что надо делать величественные киноэпопеи, все остальное п-просто невозможно. «Валиханова»

придется переделывать. В нем должна быть отражена сила нашего оружия, а наш герой должен выражать прогресс и гуманность русского просвещения и науки. Иначе сценарий зарубят, лишь встанет вопрос о запуске его в производство. Вы не согласны?

— Нет, — беспечно отозвался я. — Мы уже и так достаточно его испортили.

— Послушайте, Сережа! Портить первые варианты сценария — в этом и состоит наша профессия. Это же кино. Перестаньте донкихотствовать!

— А вы перестаньте сбрасывать трефы. Я же вам показывал с первого хода, что сейчас это наша козырная масть! — вскипел я.

— В-возможно, но тактически я был прав, — пробовал возразить он, но сконфузился, увидев, что заезжий кинематографист выкрутился и выигрывает.

Мы с Микой были разные люди, но понимали друг друга с полуслова. И он, беспокоясь о себе, с не меньшей, если не с большей, тревогой думал обо мне.

— Мне надо попасть в Москву, — говорит он. — Я п-по-стараюсь помирить вас с Большаковым.

— Если бы дело упиралось в Большакова! Я не от него завишу, — хмуро отвечал я. — Если бы от него!..

— П-позвольте! Но Сахновского МХАТ вызвал? Еней уже в Ленинграде? Так почему же вы должны оставаться здесь?

— Хорошо бы — здесь. Через год кончается срок моей ссылки, и боюсь, что меня выгонят отсюда подальше.

— Типун вам на язык! Никто этого не допустит! — волновался Мика.

Но вскоре случилось совсем не так, как мы ожидали: вызов получил не он, а я. Правда, меня вызывали не в Москву, а в Тбилиси.

Нетрудно было догадаться, почему это произошло.

В Тбилиси у меня были старые, надежные друзья, они знали, где я и что со мной. Сперва я получил письмо из киностудии, в котором мне предложили заключить договор на написание сценария о Бараташвили. Затем мне написала Наташа Вачнадзе, сообщив, что работа срочная, потому что в 46-м году будут отмечать 100-летие со дня смерти замечательного грузинского поэта, и мою кандидатуру как автора сценария поддерживает Союз писателей. К письму Наташи сделал приписку Симон Чиковани: «Соглашайся. И не беспокойся о своих делах, мы здесь все утрясем. В Тбилиси приезжал Чиаурели, он тоже обещал помочь».

Чиаурели[102]? Это уже выглядело солидно! Он ставил пышные картины о Сталине, и Сталин благоволил к нему, не раз

приглашал к себе. Чиаурели! Всесильный! Всемогущий, как никто из кинематографистов! Он был разносторонне талантлив, но судьба его, как всякого художника-царедворца, не могла не кончиться катастрофой. Обожествленный им кумир слетел со своей высоты, Сталина не стало — рухнул и Чиаурели. Эта история полна драматизма, но вместе с тем она поучительна. Чиаурели вернулся в Грузию, как подбитый орел. Он поставил еще несколько картин — немного лучше, немного хуже, — но силы его были иссушены, художник погиб в нем, он стал угрюм, неуверен, молчалив.

Я познакомился и подружился с ним в веселой молодости, когда он приезжал в Москву, беззаботный, поражая всех неистощимостью застольных тостов, играл на гитаре, пел и веселился.

Чувство дружбы ко мне и даже пиетета он сохранил навсегда. Со мной он был прежним Мишей Чиаурели, и никакая скоропалительная его маститость не отразилась на наших отношениях. Он оставался другом.

— Ну, если Чиаурели, то дело выгорит, — оживился Мика. — Он человек умный. Раньше всех сообразил, что картины надо делать только о Сталине или для Сталина. Мы лопухи, т-точно говорю. Но вам он этого не предлагает. Он знает, с кем имеет дело. И студия просит вас написать о ком? О Бараташвили, трагическом романтике! Лихо! О поэте, который при жизни не напечатал ни строчки. Умер где-то в захолустье. И слава его прогремела через двадцать пять лет после смерти. Ну? Чем не ваша темочка? — Мика подмигнул мне. — И ведь знают же, что написать о нем здесь невозможно. Материалов в Алма-Ате никаких нет и не может быть, значит… Что значит? Надобно подумать, как вас вытребовать в Тбилиси. Уверен — добьются.

И добились.

Запрос обо мне пришел раньше, чем можно было ожидать. Меня вызвали в НКВД, и я получил разрешение на выезд в Грузию…

Начались хлопоты. Сдал хлебные и продуктовые карточки, получил рейсовую, по настоянию Мики запасся справкой из Союза писателей с перечислением сценариев, которые написал (это оказалось весьма предусмотрительным), получил справку из санпропускника, что не вшив, заказал через студию броню на билет и ордер на машину, взял справку из бухгалтерии, что за комнату уплачено, и на этом основании мне был выдан пропуск на вынос вещей… И вот, провожаемый Микой, отправился на вокзал. Пальто мое, истасканное по вагонам, этапам, тюрьмам, было завязано в узел. В костюме, перелицованном Яковом

Ильичем, в черном клеенчатом плаще Козинцева, я выглядел как нельзя лучше. У меня был билет в купированный вагон, я уезжал барином.

— Как можно реже суйте ваше паршивое удостоверение, — говорил Мика. — Главным образом орудуйте справкой из Союза. П-помните, хотя в Тбилиси у вас друзья, но ведите себя осторожно. Вы ужасный ш-шляпа, Сережа, п-просто поражаешься…

Мы крепко пожали друг другу руки. Он стоял на платформе, одинокий и сиротливый. Впрочем, очень скоро я получил от него телеграмму, что он уезжает в Москву, а потом писал подробно, что делается в столице. Там все взбудоражено, суматошно, жизнь налаживается по-мирному, хотя продолжают существовать карточки и пайки, и почти каждый вечер взрываются в небе победные салюты. Он снял комнату и в Ленинград, по-видимому, не вернется, его завертело в кинематографических делах.

А я вступал в новый этап жизни, неведомо какой.

ТБИЛИСИ

Добравшись благополучно до Красноводска, я увидел там бесконечную очередь людей, сидящих с узлами и чемоданами на улице, у порта, в ожидании парохода. Пароход ходил в Баку два раза в неделю, и люди неделями ждали, чтобы ухитриться на него попасть. Вот тут-то я вспомнил Мику и справку Алма-Атинского Союза писателей. Начальник порта прочитал, что я автор сценария «Танкер „Дербент“» (а ведь это о Каспии, о каспийских моряках!), и тотчас распорядился, чтобы мне была предоставлена каюта, выдаваемая лишь по особой броне. И я, скрывший свою «социальную опасность», но автор почитаемого здесь фильма, проследовал на первый же прибывший пароход.

Каюта была двухместной, напротив меня сидел плотный человек в военном кителе. Безусловно, в такой каюте могли встретиться только весьма ответственные товарищи, и мой спутник приглядывался ко мне с любопытством. Но спросить, что я за птица, не решился. Разложив закуску (свежую и копченую рыбу, сыр и разную травку), он, с гостеприимством кавказца, предложил мне присоединиться к его завтраку. Ну, этаких прелестей я давно не видывал и без всякого стеснения принял предложение, отметив при этом, что, по срочности своего выезда, не успел ничего путного прихватить на дорогу.

— Да и путешествие у меня было длительное, почти через всю Среднюю Азию, — сказал я не без жалости.

— Понимаю, — значительно кивнул он. — Дело у нас такое, что о себе частенько забываешь подумать. Прошу. Хотя нынче и сухой закон, но стопкой азербайджанского коньяка довоенного розлива мы все же угостимся. Не возражаете?

— Отнюдь.

Желая несколько умерить свое хлестаковское положение, я признался, что являюсь всего лишь литератором. Тут он восхитился хотя бы по одному тому, что я не являюсь каким-нибудь таинственным начальником, и, почувствовав себя вольготнее, заговорил со мной, что называется «по душам»:

— Видали, что делается в Красноводске? Полнейший бардак! Люди валяются на мостовой. Вши по ним так и кишат. А на что глядят органы? Э, нет, у себя в Баку я завел жесткие правила. Как только человек сходит с парохода, он прежде всего попадает в санпропускник, и там выпаривают его одежду до дыр. — Он засмеялся.

— И вам не миновать!

Я насторожился:

— И долго продолжается эта процедура?

— На несколько часиков задержат. Исключений ни для кого не делаю. — Тут он уже не засмеялся, а захохотал, взглянув на меня. — Не беспокойтесь, я кое-что придумал и, чтобы все было по закону, мною же установленному, проведу вас сам, но вы пойдете с заложенными назад руками, как арестованный. Может быть, даже как опасный преступник, вот я вас лично сопровождаю. А? Хорошо придумано?

— Нет, плохо. Как арестованный — это мне не к лицу.

— Так ведь это же шутка! Вы пройдете маленький кусочек от трапа до выхода в город, и вся история! — говорил он, подливая в мою стопку. — Ваше здоровье!

— И ваше. Но я даже кусочка не пройду с руками назад. Закладывайте меня в санпропускник, ваши правила я одобряю!

— Аллах! — вскричал он, поднявши руки и изображая мусульманина на молитве. — С этими писателями одна морока! К ним не подступишься! А у нас в органах приучили уважать писателей! Я уважаю писателей. Инженеры человеческих душ, как сказал наш великий вождь! Да нет, прямо скажу — не то что обрадован знакомству, но польщен, и отдам распоряжение, чтобы прошли так.

Эка мне повезло! Он действительно продемонстрировал нежную заботу органов к писателям: я не только миновал его санпропускную ловушку, но он проводил меня на вокзал, устроил билет и гепеушным ходом провел на перрон. Был он уже в изрядном подпитии и, когда вагон тронулся, посылал мне

воздушные поцелуи. Конечно же, мне повезло!

Поезд, как привычно в то время, опаздывал, и в Тбилиси я приехал ночью. Комендантский час еще не был отменен, и никто меня не встречал. Ночь я просидел на вокзале и затем отправился на проспект Руставели, зная наверняка, в какой гостинице мне приготовлен номер. Однако, войдя в пустынный вестибюль и направившись к дежурному, я назвал себя и с опаской протянул свое удостоверение с клеточками. «Наподдаст мне сейчас, — думал, — а то и того хуже — вызовет милицию». Но дежурный, не выразив никакого изумления от моей ужасной бумажки, спокойно сунул ее в контору и сказал:

— А! Это от Наты Вачнадзе[103] и Симона? Иди, генацвале, на третий этаж, спрашивай 42-й номер. Хороший номер, не обидишься.

Дежурная по этажу, заспанная, вмиг прихорошившаяся, побежала впереди меня с ключом, оживленно рассказывая:

— Сама Нато заезжала, справлялась, все ли приготовлено к вашему приезду. Симон Чиковани[104] звонил, не приехали ли вы? Заходите, батоно, располагайтесь.

Серебристая голубизна Мтацминды виднелась в окна. Там, на подходах к вершине этой святой горы, угадывалась знаменитая могила моего Грибоедова в фамильном чавчавадзевском склепе, и вот-вот поползут наверх первые вагончики фуникулера. Но еще рано, город спит. Легкое цветение света вьется внизу, сгущаясь кверху в серовато-голубую массу.

«Уверен, — подумал я, — они выбрали этот номер не случайно». И принялся за осмотр одежды и белья: не поднабралось ли чего-нибудь за долгую дорогу? Все швы тщательно осмотрел, ничего не нашлось, и я бухнулся в постель. Я заснул сразу, мертвым сном, и, наверно, не слышал, как мне звонили, и проснулся от громкого стука в дверь. Вскочил босой, и ко мне не вошел, а ворвался Симон:

— Я звоню тебе с утра! Портье сказал, что ты приехал, а от тебя ни звука.

— Я спал.

— А то я бог знает что подумал. Вчера уладили твои дела с Начхепия, нашим главным в НКВД. С пропиской твоей все в порядке. Никаких недоразумений не будет. Рейсовую сдашь в Союз. И получай талоны в столовую. Она прямо напротив гостиницы. Так называемая лауреатская.

— Я не лауреат.

— А для нас лауреат! Мы все там столуемся. Теперь вот что. Отправляйся к Наташе, вместе с ней поедешь в студию и оформишь договор. У меня куча дел, бегу в издательство. Кстати,

потом заглянешь туда. Хотят, чтобы ты отредактировал переводы Давида Кладиашвили. Как доехал?

— Прекрасно.

— Обедать приходи к пяти. Я буду в это время. Э, ну давай теперь поцелуемся, я спешу. А знаешь, Бараташвили переводит Пастернак, я покажу подстрочники и два стихотворения, которые он уже перевел. «Синий цвет» — изумительно. У тебя тоже будет переводчик. Милейший человек — Папуна. Без него не обойтись, потому что без грузинских источников ты сценарий не напишешь. А библиотекой, где архивы, заведует Зулия. Он о тебе уже знает. Ну, бегу. Итак — в пять.

Он исчез, а я оделся и пошел к Наташе Вачнадзе.

Она тоже накинулась на меня, потому что, как и Симон, звонила целое утро, а я не отвечал, и она уже хотела идти в гостиницу.

Милый верный дружок Наташа!

Ее имя прогремело еще в немом кино — не только в Грузии, но по всему Союзу: звезда экрана, грузинская красавица! Но ни красота, ни успех — слов…[105]

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ
ПОСЛЕ СМЕРТИ

1940 г. 21 марта. Президиум ССП утвердил комиссию по лит. наследству М. А. Булгакова в составе: Асеев, Булгакова, Виленкин, Ермолинский, Иванов Всеволод, Леонов Леонид, Леонтьев, Марков, Маршак, Попов П. С., Файко, Федин, Хмелев, Шефров (юрисконсульт).

На первом заседании комиссии (Ермолинский, Марков, Маршак, Файко, Шефров) постановили:

1. Внести на заседание президиума ССП предложение об издании избранных произведений Булгакова. В первую очередь — избранных пьес.

2. О закреплении площади за семьей Булгакова.

3. Просить президиум ССП возбудить ходатайство о назначении персональной пенсии вдове Булгакова Елене Сергеевне Булгаковой.

4 мая. Комиссия (Ермолинский, Марков, Файко, Леонтьев, Хмелев) наметила однотомник пьес — «Дни Турбиных», «Бег», «Дон-Кихот», «Мольер», «Пушкин», «Иван Васильевич».

10 июня. «Вечерняя Москва» сообщает, что в редсовете «Советский писатель» решено издать сборник пьес М. А. Булгакова (под ред. Ермолинского).

11 июня. «Веч. Москва» сообщает о докладе Юзовского на

редсовете издательства «Советский писатель» о пьесах Булгакова.

Но воз не сдвинулся с места, хотя позже (в январе 1941 г.) в газетах сообщалось, что издательство «Искусство» наметило издание пьес Булгакова.

В конце октября 1940 г. я был арестован. За это время я успел перепечатать все главные сочинения Миши — 4 экз. — один отдал в ССП, два — Лене и один оставил себе. Мой — пропал при обыске и аресте.

Дальнейшие события, о которых я был осведомлен и в которых принимал участие, происходили уже после войны. В Комиссию меня ввести побоялись, держали «за ширмой».

7 мая 1946 г. Елена Сергеевне Булгакова пишет письмо Сталину: «Издательство „Искусство“ включило в свои планы издание сборника шести пьес Булгакова. Сборник не вышел. Я прошу Вас, спасите вторично Булгакова от незаслуженного забвения».

24 июля позвонили из ЦК и посоветовали связаться с издательством «Искусство».

Переговоры с издательством ни к чему не привели. А после выступления Жданова об Ахматовой и др. и вовсе все полетело. До 1950 г. тянулась эта пауза.

3 июня 1947 г. Лена пишет заявление:

«В президиум ССП — Елены Сергеевны Булгаковой.

Прилагая к этому письму иждивенческую карточку (№ 400 гр. соли и 3 кор. спичек), которую я получаю в Литфонде с октября 1946 г. и карточку на сухой паек, например, которую мне стали выдавать с февраля 1947 г., прошу вычеркнуть меня из списка лиц, получающих снабжение в Литфонде. Я надеюсь, что у членов ССП хватает воображения для того, чтобы ясно представить себе это. С упорством, достойным лучшего применения, ССП делает вид, что драматурга Булгакова вообще не существовало на свете». Насколько я знаю, это заявление ни к чему конкретному не привело.

1950 г.

Лена пишет заявление в Президиум ССП:

«10 марта 1950 г. исполняется десять лет со дня смерти писателя Булгакова. 15 марта 1940 г. „Лит. газета“ писала о М. А. Булгакове, как о писателе большого таланта и блестящего мастерства. 14 лет не сходят со сцены „Дни Турбиных“. 21 марта 1940 г. Президиум постановил издать сборник его пьес. Десять лет прошло. Прошу об издании „Белой гвардии“, „Биографии Мольера“ и пьес. Если секретариат не может самостоятельно решить вопрос о литнаследстве писателя Булгакова, прошу ходатайствовать об этом перед Правительством. Елена

Булгакова».

21 апреля 1950 г. Выписка из постановления Секретариата ССП № 26, параграф 10, об издании произведений М. А. Булгакова (докладчик Воронков). Постановили «Воздержаться в настоящее время от переиздания избранных произведений М. А. Булгакова».

Дело-то шло не о переиздании, а об издании впервые, так как ничего из намеченного не издавалось (если не считать роман «Белая гвардия», не полностью опубликованный в журнале «Россия» в 1924 г.).

На заявление в ССП Лены откликнулся Федин:

«Дорогая Елена Сергеевна! Получил копию Вашего заявления в ССП. Постараюсь непременно повидать Фадеева и поговорить с ним. Но вы знаете, как это хитро — он почти совсем недоступен, я не встречаюсь с ним месяцами. Скоро (25 января) будет Пленум правления ССП, тогда, может быть, удастся. Возможно, заявление поставят на рассмотрение Секретариата, тогда я получу возможность участвовать в разговоре. Говорить же с другими членами Секретариата в *отдельности* — мало смысла (!). Без Фадеева никакого ответа никто не даст. Я лично с большим желанием поддержу вашу просьбу. К. Федин».

29 мая 1953 г. Из письма Лены Пантелеймону Кондратьевичу Пономаренко (тогдашнему Министру культуры, вскоре низложенному):

«Все слова остаются на бумаге, прошу помочь. Елена Булгакова».

2 ноября 1953 г. Нач. главного управления по делам искусств Министерства культуры Н. Беспалов сообщает, что Министр Пономаренко дал указание об издании избранных произведений М. А. Булгакова. Кроме того, будет возбужден вопрос о возобновлении спектакля «Дни Турбиных».

10 ноября 1954 г. МХАТ присоединился к ходатайству ССП о продлении срока авторских прав на литнаследство М. А. Булгакова. (Подписано и.о. директора Тарасовой и гл. режиссером Кедровым).

В ночь на 6 января Лена пишет Маршаку: «Помогите!»

Звонил Маршак: «Говорил с Фединым, говорил с Леоновым. Обещали помочь. Буду говорить с Сурковым, с Тихоновым. Мне очень горько. Маршак плакал. Ой…»

Лишь 30 января 1957 г. Секретариат ССП постановил: считать *возможным* издание в Гослитиздате сборника пьес Михаила Булгакова («Дни Турбиных», «Последние дни», «Бег», «Мольер», «Дон-Кихот»). В постановлении упоминалась и проза — «Жизнь господина де Мольера», «Белая гвардия» и «Записки покойника»

(впоследствии «Театральный роман»).

Прошло еще два года.

31 марта 1959 г. Лена пишет в ЦК заявление с просьбой об издании пьес и прозы Михаила Булгакова (не издавался с 1926 г.).

Ответ — 18 августа 1959 г. — обратиться в издательство к т. Пузикову.

Что может сделать Пузиков, когда прямых указаний нет и никто не хочет их давать. Пузиков ничего сделать не может.

28 мая 1959 г. Соболев сообщает, что на ближайшем заседании правления издательства «Советский писатель» будет внесено предложение ССП об издании Булгакова (О решении тотчас уведомим президиум ССП РСФСР. Л. Соболев).

Котов из Гослитиздата вдруг сообщает, что издание будет. Но Котов вскоре умирает.

Лена пишет: «Если бы ты знал, как трудно мне в течение 21 года добиваться, что Мишу надо печатать».

Тут надо вернуться к 1954 году. Лена пошла в издательство «Искусство» к Е. Б. Северену. Секретарша ее не пускала: его нет и неизвестно, когда будет. Сидела в коридоре, ждала. Секретарша не скрывала своего раздражения: ее возмутила настойчивость «дамочки». И все же Северена дождалась. Показала все, какие были постановления, решения. Северин отобрал две пьесы — «Дни Турбиных» и «Последние дни» (Пушкин). Дело безопасное — обе пьесы шли в театре. А пока издавали эту тоненькую книжку, кончился срок «прав на наследование». Бухгалтер отказался выплатить Лене деньги.

23 декабря 1961 г. снова стоит вопрос об издании на Секретариате ССП. Булгаковскую комиссию уже возглавляет К. Симонов. Я продолжаю сидеть за ширмой, хотя Сталина уже нет и у меня человеческий паспорт.

24 мая 1964 г. вопрос о сборнике пьес как будто уже решен.

15 августа Лене выдают путевку в Сосновый бор — забота о человеке.

27 октября заседание комиссии по литнаследству (Булгакова, Воронков, Каверин, Ляндерс, Розов, К. Симонов) — включить в план Гослита однотомник прозы, а в «Искусстве» — сборник пьес. Кроме того, поставлен вопрос о сборнике воспоминаний о Булгакове.

К. Симонов обращается ко мне, чтобы я принял участие в организации и создании этого сборника, официальным составителем которого назначен референт секретариата Ляндерс. Дополнительно К. Симонов пишет мне, что долг мой написать для сборника воспоминания. Меня начинают *высовывать*!

(Мужественно: за 6 лет до награждения меня орденом!)

Совет министров разрешил директору издательства «Художественная литература» т. Ксенофонтову выплатить гонорар Е. С. Булгаковой за однотомник прозы и применить высшую оплату.

Я написал воспоминания «Трудная жизнь Михаила Булгакова» и отдал Симонову. Получил от него письмо, в котором он пишет, что долгом своим считает сделать все, чтобы эти воспоминания были опубликованы не только в сборнике, но и до выхода сборника в журнале. Однако ни один редактор не рискнул их напечатать, хотя кто только ко мне не приходил! И все читали, вздыхая.

Сборник был готов в 1966 г. Сдан в издательство «Искусство» и лежит там до сих пор (пишу в ноябре 1971 г.), вполне готовый, отредактированный, прокомментированный, со вступительной статьей Симонова и обзорной — Ляндерса. Весь материал предварительно поступал к Лене и ко мне. Фактическим составителем сборника была, конечно, Лена.

Отрывок из моих воспоминаний неожиданно напечатали в журнале «Театр» (по инициативе тогдашнего редактора журнала Ю. С. Рыбакова) № 9, 1966 г. Более 100 писем получил от читателей.

Леночка очень любила мои воспоминания.

Она умерла 10 июля 1970 года (в 10 часов вечера). Если бы ее не было на свете, то сочинения Михаила Афанасьевича, думаю, еще долго пролежали бы в ящиках стола. Моя роль в их осуществлении была ничтожна: я лишь посильно помогал. Ее энергии и мужеству кланяюсь низко.

Не хватает у меня сил писать о ней. Очень трудно — до боли.

На отдельной странице:

> «Удивительное наблюдение: „Именно на чувства нужно время, а не на мысль. Мысль — молния, чувство — луч самой дальней звезды. Чувству нужен досуг, оно не живет под страхом“. Это — из Марины Цветаевой. Потому-то, наверно, я и пишу о Мише с такими перерывами. А надо бы — поскорее…
>
> Пока только для Лены».
>
> *С.Е.*

ЛОШАДИ В ВИТРИНЕ
(Сон о Булгакове)

Где-то подсознательно я знал, что спешу, потому что он позвонил мне сам. Ему надо возвращаться домой, и он ждет меня на углу. Я не удивился. В последнее время он боялся ходить один, его всегда провожала Лена, а я редко. Поэтому я сразу и выскочил.

Действительно, он ждал меня на углу.

На нем было длинное летнее пальто, поля шляпы изломаны кораблем, темные очки закрывали глаза. Он был как слепой. Мы пошли.

— Скорее, скорее, — сказал он.

За нами неотступно двигались две лошади — большая и маленькая, — и почему-то было чрезвычайно важно, чтобы мы их не потеряли. Я иногда немного отставал, придерживая большую за морду, она слегка напирала на меня. Маленькая — трусила сзади. Он шагал, не оглядываясь.

Я ему ничего не говорил, но он почему-то знал, что мне надо зайти в редакцию «Заповедного мира» и отдать рукопись «Ранний Булгаков». Он первый вошел в подъезд, отворив тяжелую огромную дверь. Лошадей в этот момент уже не было.

Почему-то в вестибюле, как бы преграждая вход в редакцию, стоял стол, за которым сидел секретарь.

— Я и есть Илья Ильич Толстой, — сказал он.

Этот рыжий в веснушках молодой человек, без сомнения, новый секретарь редакции, и я подумал, что, вряд ли безопасно отдавать ему рукопись, тем более что в нее вложены рисунки Булгакова на отдельных листах. Рыжий Толстой тотчас вытащил эти листы, и я вместе с ним впервые увидел их. Раньше я и понятия не имел, что Булгаков рисует. На сером ватмане были изображены какие-то страшные, клубящиеся пейзажи, резко и грубо прочерченные цветными фломастерами. Черное выделялось особенно.

— Вы понимаете, как важно не потерять, — сказал я.

— Теряют только то, что знают, а чего не знают, того не теряют, — сказал рыжий Толстой и тотчас засунул рукопись в ящик стола.

Я не мог ничего возразить, и мы стали спускаться к выходу по широким каменным ступеням.

— Ты меня прости, я не знал, что этот рыжий теперь секретарь, — сказал я.

— Подумаешь, важность, — сказал Булгаков.

— Рукопись — черт с ней, у меня есть второй экземпляр, а если он потеряет рисунки?

— Я нарисую новые, гораздо лучше, — ответил он. Очень хорошо, что отдал. Я никак не думал, что это так легко делается.

Я тоже удивился, что так легко, и повеселел.

Улица была узкая, как в старом немецком городе. Темные дома, темная облицовка мостовой и тротуаров. Витрины похожи на древние иконы, тускло освещенные изнутри. Мы шли медленно. Лошадей не было, хотя они иногда отражались в стеклах витрин, колеблясь и расплываясь, как в воде. Но нам было не до лошадей. Они превратились в прошлое.

Он шел опять чуть впереди. Встречных совсем не было. Но на перекрестке перед нами вырос милиционер. Он был желтый. Я вспомнил японских грузчиков в порту Иокогама.

— Ваши документы, — сказал милиционер, приближаясь.

Меня как обожгло.

— У нас документов нет. Мы идем домой.

— Где вы живете? — шепотом спросил милиционер. — А он где живет?

Я молчал. И, казалось, время остановилось. Я был в ужасе. Я не мог вспомнить, где мы живем.

— Адрес?

Милиционер почти влип в меня, я чувствовал потную теплоту его тела. Он дышал мне в рот. Булгаков стоял неподвижно и смотрел куда-то мимо меня. Как будто это его не касалось. А я не мог назвать ни его, ни своей улицы. Блеснула мысль — Пироговская. Когда-то он там жил. Но его гроб выносили совсем не оттуда, я ведь это знал, я бывал там сто раз. А сейчас не мог вспомнить, как называется улица. Нет, хуже, не мог вспомнить, где живу я.

От мучительного напряжения, чувствуя, что нависает катастрофа — и не потому только, что я не отвечу на вопрос милиционера, и тогда все пропало, а потому, что у меня что-то с головой, — именно от этого напряжения я и проснулся.

Я лежал обессиленный и весь в слезах. Сумрачный свет окружал меня. Занавеска на балконной двери чуть колыхалась. Я напрягал память. Я напрягал ее до тех пор, пока наконец не сказал самому себе отчетливо: улица Черняховского, а он давно умер и все это сон.

И тут же опять заснул. Вернее, не заснул, а провалился в сон, лицом во что-то жаркое, липкое…

Оказывается, я тянул морду лошади, но она не поддавалась, а его не было, он исчез, и я в отчаянии закричал:

— Миша! Миша!

Но его не было нигде.

Тогда я побежал, заглядывая в узкие и пустые переулки, и остановился, когда к моим ногам вплотную подкатилась морская пена.

В общем, море было тихое. Небольшой прибой беззлобно накатывал на прибрежную гальку. По мелководью скакал на коне рыжий Толстой. Солнце и брызги сверкали на нем. Он был голый и возбужденно натягивал веревку, на конце которой, вихляясь, покачивался змей, склеенный из листков моей рукописи. Рисунки Булгакова выделялись красочными пятнами, зажатые тоненькими фанерками крест-на-крест. Веревка натягивалась, и змей взлетал все выше. Рыжий Толстой, приподнимаясь на своем коне, лихо управлял змеем, и тут я понял, что новый секретарь «Заветного мира» — не секретарь, а мой дружок Петька, курносый в веснушках парень из Калуги. Я не знаю, откуда только хватало у него веревки, но его воздушное сооружение из моей рукописи взлетало все стремительнее, а потом рвануло и скрылось в черных тучах, вдруг закрывших все небо. Я ждал, что веревка, натянутая как струна, вот-вот лопнет и фанерки, скрепляющие листы, полетят кувырком, разламываясь, разрываясь, неведомо куда, но тут я увидел, что наверху, над морем, стоит фигура в длинном летнем пальто и, сняв шляпу, машет мне, зовет меня. Я дико обрадовался и хотел побежать, но ноги мои словно приросли. Я не мог двинуться. Я не мог оторваться, как будто на мне висели пудовые камни, но все-таки я побежал. Я бежал и в то же время не бежал. Одна мысль пронзила меня — что он опять исчезнет, и опять я не найду его. Буду искать и не найду. Ноги ужасно отяжелели, и я опять закричал:

— Миша!

Но голос мой не издал звука.

Я кричал, кричал, кричал и, кажется, именно в этот момент проснулся окончательно. Ничего кошмарного вроде не происходило, но я пережил кошмар. В чем он заключался, объяснить не могу, но записываю этот сон без прикрас и без всяких додуманных символов, как это обычно бывает, когда рассказывают и записывают сны. Так и записал.

22 апреля 1970 года.

Ялта

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПИСЬМА М. БУЛГАКОВА С. ЕРМОЛИНСКОМУ

14. VI.36 г., Москва

По возвращении в тощей пачке писем нашел, к большому удовольствию, твое, дорогой Сережа! Привет Марине и тебе! Синоп ты описал чудесно, и мне мучительно хочется увидеть море.

Киев настолько ослепителен, что у меня родилось желание покинуть Москву, переселиться, чтобы дожить жизнь над Днепром.

Надо полагать, что это временная вспышка, порожденная

сознанием безвыходности положения, сознанием, истерзавшим и Люсю и меня.

Интереснейшая реакция получилась, когда я сказал о своем проекте кое-кому из МХАТа. У всех одинаково: взор диковатый, встревоженный; и полное неодобрение. Как будто я сказал что-то даже неприличное. С большим интересом я наблюдал собеседников!

О гастролях писать не хочется, устал от театра. «Турбиных» привезли и играют без петлюровской картины.

Марков сказал Люсе, что в прессе о «Турбиных» решено не писать.

Одну гастрольную сценку, впрочем, опишу я.

В Управлении по охране авторских прав (Киевском) я условился о получении аванса. Все было согласовано с очаровательною любезностью. Приходите такого-то числа, кроме того, такой-то вас известит. Очень хорошо.

Однако такой-то такого-то числа не известил. Приходим на следующий день. Что за оказия. Не те лица. То есть люди те же, но лица у них перевернутые. А где такой-то? Заболел.

Жаль, но пожалуйте обещанные деньги. Во взорах — мрак!

Наконец выдавливают из себя фразу:

— Верно ли, что «Турбиных» снимают?

Вздрогнул. Что отвечать? Что? Что это вздор? А «Мольер»?

Говорю, что слышу об этом впервые, но полагаю, что этого быть не может.

Денег, как сам понимаешь, в тот день я не получил. Просили прийти завтра. Приходим на другой день. Опять метаморфоза! Все на месте. Ясные лица, приветливые глаза. Пожалуйте в кассу, распишитесь и прочее. Заболевший выздоровел.

Спрашиваю — кто распустил дрянной слух?

Жмутся. Говорю, что хотелось бы полюбоваться на автора этой работы. Улыбки.

— Да вы только что на него полюбовались! Вы с ним разговаривали. Хи-хи!

Вспоминаю. Перед самым получением подходит в коридоре ко мне жуткий симпатяга.

— Позвольте познакомиться с вами, товарищ Булгаков. Я в таком восхищении от «Турбиных», что хотел подойти к вам на спектакле, да момента не мог улучить. Ах, какая чудная пьеса! Ах…

Комплименты, рукопожатия и прочая чушь собачья. Спрашиваю, с кем имею удовольствие. Оказывается, литератор, фамилия неразборчива, написал «Укразию».

Выражаю чувство огорчения, что не знаю этой вещи.

Симпатяга, окатив меня на прощание комплиментами, смывается. Оказывается, что это он явился в УЗАП и соврал, что «Турбиных» снимают. Из-за него шептались, бегали, ездили проверять. Ушли мы. Люся сказала:

— Так жить больше нельзя.

Когда поезд отошел и я, быть может, в последний раз глянул не Днепр, вошел в купе книгоноша продал Люсе «Театр и драматургию» № 4.

Вижу, что она бледнеет, читая на каждом шагу про меня. Но что пишут!

Особенную гнусность отмочил Мейерхольд. Этот человек беспринципен настолько, что чудится будто на нем нет штанов. Он ходит по белу свету в подштанниках.

Да, она права. Так жить больше нельзя, и так жить я не буду.

Я все думаю и выдумаю что-нибудь, какою бы ценою мне ни пришлось за это заплатить.

Люся целует Марику и тебя, шлет дружеские приветы. Я также.

Когда приедете?

Твой Михаил.

Сережа!

Я дико напутал: завтра я занят. Приходи с Марикой в 11 ½ вечера СЕГОДНЯ (мы приедем из театра). Дай ответ с посланной — придете ли?

Твой М.

11. XII.36.

1937.18. VI.

Дорогой Сережа! Два получил твоих письма и очень им обрадовался — мы с Люсей тебя часто вспоминаем.

Получивши, немедленно, конечно, сел к столу отвечать и по сей день не ответил. Почему? Безмерная усталость точит меня, и, естественное дело, вылилось бы мое письмо в одну застарелую, самому опротивевшую жалобу на эту усталость. К чему портить настроение синопскому отшельнику!

Ну-с, дела у нас обстоят так: Сергей[106] в Лианозове с Екатериной Ивановной на даче у учительницы музыки. Ногу он уже пропорол гвоздем, глаз расшиб во время фехтования и руку разрезал перочинным ножом. К великому счастью моему, нож после этого потерял, а на пруд, надеюсь, ему больше одному улизнуть не дадут.

Мы сидим в Москве прочно, безнадежно и окончательно, как мухи в варенье. Надежд на поездку куда-нибудь нет никаких,

разве что произойдет какое-нибудь чудо. Но его не будет, как понятно каждому взрослому человеку.

Я пользуюсь поэтому каждым случаем, чтобы выбраться на Москву-реку, грести и выкупаться… Без этого все кончится скверно — нельзя жить без отдыха.

На столе у меня материалы по Петру Великому — начинаю либретто. Твердо знаю, что, какое бы оно ни было, оно не пойдет, погибнет, как погибли и «Минин» и «Черное море», но не писать не могу. Во всяком случае, у меня будет сознание, что обязательства свои по отношению к Большому театру я выполнил как умел, наилучшим для меня образом, а там уж пусть разбираются, хотя бы и тогда, когда меня перестанут интересовать не только либретто, но и всякие другие вещи.

Что же еще? Ну, натурально, всякие житейские заботы, скучные и глупые.

Был Куза с нелепым предложением переделывать «Нана» или «Bel Ami» в пьесу.

Я было поколебался, но, перечтя романы, пришел в себя. В самом деле, за возможность на две недели отправиться куда-нибудь к морю, навалить на себя груз тяжелой, портняжной работы, которая к тому же тоже не пойдет! Нет, это слишком дорогая цена!

Сидим с Люсей до рассвета, говорим на одну и ту же тему — о гибели моей литературной жизни. Перебрали все выходы, средства спасения нет.

Ничего предпринять нельзя, все непоправимо.

Ну вот и написал довольно бодрое письмо!

Желаю тебе успеха в работе, Марине желаю прочно поправиться.

Приезжай, не забывай, что тебя в Нащокинском любят. Обнимаю тебя дружески и дважды — за себя и за Люсю. Марине передай два поцелуя, а если успеешь, то и напиши.

Твой Михаил.

13. VIII. 39.

Дорогой Сережа! Завтра я во главе бригады МХТ уезжаю на поиски материалов для оформления новой моей пьесы «Батум» в Тбилиси-Батуми. Люся едет со мной. Вернемся, я полагаю, в первых числах сентября. Жалею, что ты не возвратился в Москву до моего отъезда. Ну что ж, до сентября!

Твоя машинка будет на моем письменном столе. Взять ее ты можешь при помощи Жени[107], который будет у нас в квартире 17-го, 20-го, 23-го и 27-го днем (примерно от 2-х до 4-х).

Пишу кратко, передо мною зияющая пасть чемодана,

набитого заботами. Дальнейшее, то есть отдел «Быт и вещи», поручено Люсе, а Марику и тебя крепко целую.

Твой МБ.

Рукой Елены Сергеевны:

Дорогие Марина и Сережа, жалею очень, что не увидела вас перед отъездом своим из Москвы.

Мечтаю скорей сесть в вагон, путешествие наше меня манит и волнует.

Марина, милая, если тебе до моего возвращения понадобятся твои теплые вещи и ты их вынешь из шкафа, заклеенного в передней, — будь так добра, помоги тогда Женечке сразу же заклеить его опять, чтобы моль не проникла туда ни в коем случае, несмотря на всю ее, молкну, хитрость.

Целую вас обоих крепко.

Ваша Люся.

ПРОТОКОЛЫ ДОПРОСОВ ЕРМОЛИНСКОГО [108]

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Обв. Ермолинского Сергея Александровича от 13–14 декабря 1940 года

Вопрос: С писателем БУЛГАКОВЫМ вы знакомы?

Ответ: С писателем БУЛГАКОВЫМ до его смерти был хорошо знаком.

Вопрос: Произведение БУЛГАКОВА «Роковые яйца» вы читали?

Ответ: Произведение «Роковые яйца» БУЛГАКОВА я читал, когда оно было помещено в альманахе «Недра».

Вопрос: Каково ваше мнение об этом произведении?

Ответ: Я считаю «Роковые яйца» наиболее реакционным произведением БУЛГАКОВА из всех, которые я читал.

Вопрос: В чем заключается реакционность произведения «Роковые яйца»?

Ответ: Основной идеей этого произведения является неверие в созидательные силы революции.

Вопрос: О своем мнении вы как писатель сообщали в соответствующие органы?

Ответ: О реакционном содержании произведения «Роковые яйца» никуда не сообщал потому, что произведение было опубликовано в печати.

Вопрос: С БУЛГАКОВЫМ вы говорили о

контрреволюционном содержании этого произведения?

Ответ: «Роковые яйца» были опубликованы задолго до моего знакомства с БУЛГАКОВЫМ, поэтому разговоров по существу произведения не было, но я помню, что БУЛГАКОВ говорил мне о том, что «Роковые яйца» сыграли резко отрицательную роль в его литературной судьбе, он стал рассматриваться как реакционный писатель.

Вопрос: Ваша дружба с контрреволюционным писателем БУЛГАКОВЫМ явление не случайное, а есть результат ваших антисоветских взглядов?

Ответ: Антисоветских взглядов у меня не было, а о своей дружбе с БУЛГАКОВЫМ, если нужно, могу рассказать. Причем ничего антисоветского в этой дружбе не было.

Протокол записан с моих слов верно и мною прочитан.

С. *Ермолинский.*

Допросил: Оперуполн. 5 отд. 2 отдела ГУГБ НКВД мл. лейтенант госбезопасности (подпись).

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Ермолинского Сергея Александровича от 27 декабря 1940 г.

Допрос начался в 11 часов Окончился в 0 час. 30 мин.

Вопрос: 14 декабря 1940 г. Вы показали, что произведение БУЛГАКОВА «Роковые яйца» является контрреволюционным. Зачем же вы его у себя хранили?

Ответ: Альманах, в котором было напечатано реакционное произведение «Роковые яйца» был подарен мне автором в числе других своих произведений. Ничего преступного в этом хранении я не видел.

Вопрос: Вы не только хранили его контрреволюционные произведения, но и разделяли его антисоветские взгляды. Следствие требует рассказать о вашей совместной антисоветской работе.

Ответ: Никакой антисоветской работы я не вел ни с кем, в том числе и с БУЛГАКОВЫМ. Реакционное произведение «Роковые яйца» хранил потому, что оно было подарено мне автором.

Вопрос: БУЛГАКОВ в своем автографе на контрреволюционном произведении «Роковые яйца» посвящал вас в свою «литературную неудачу». Что это за неудача?

Ответ: БУЛГАКОВ в беседе со мной говорил, что произведение «Роковые яйца» сыграло отрицательную роль в его литературной судьбе потому, что критика квалифицировала его

как реакционного писателя.

Вопрос: Как БУЛГАКОВ в беседе с вами расценивал свое произведение «Роковые яйца» и как он отнесся к критике?

Ответ: Разговор по этому поводу происходил давно, мне трудно восстановить в памяти формулировки БУЛГАКОВА. Примерно он называл это произведение сатирическим памфлетом на ряд недостатков советской действительности 1922–23 года.

Вопрос: Как вы расценивали высказывание БУЛГАКОВА?

Ответ: Я соглашался с тем, что произведение сатирическое, но говорил, что у критики есть все основания назвать это произведение реакционным.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с БУЛГАКОВЫМ?

Ответ: В 1929 году меня с БУЛГАКОВЫМ познакомила его тогдашняя жена БЕЛОЗЕРСКАЯ Любовь Евгеньевна.

Вопрос: Когда и при каких обстоятельствах вы познакомились с БЕЛОЗЕРСКОЙ?

Ответ: С БЕЛОЗЕРСКОЙ Любовью Евгеньевной я познакомился на волжском пароходе примерно в 1929 году.

Вопрос: Каковы политические взгляды БЕЛОЗЕРСКОЙ?

Ответ: Ничего о политических взглядах БЕЛОЗЕРСКОЙ сказать не могу. Тем более за последнее время, так как я с ней совершенно не встречался.

Вопрос: Вследствие каких причин вы с ней не встречаетесь?

Ответ: Охлаждение наших взаимоотношений с БЕЛОЗЕРСКОЙ объясняется тем, что после ее развода с БУЛГАКОВЫМ я продолжал с ним и его женой встречаться и поддерживать дружеские взаимоотношения.

Вопрос: БЕЛОЗЕРСКАЯ была в эмиграции?

Ответ: БЕЛОЗЕРСКАЯ Любовь Евгеньевна в эмиграции быта.

Вопрос: Что вам известно о жизни БЕЛОЗЕРСКОЙ в эмиграции?

Ответ: Со слов БЕЛОЗЕРСКОЙ мне известно, что она выехала за границу в первые годы после революции вместе со своим тогдашним мужем литератором ВАСИЛЕВСКИМ. Подробности ее пребывания за границей мне не известны, так же как неизвестны подробности ее возвращения в СССР.

Вопрос: Когда и с кем из иностранцев БЕЛОЗЕРСКАЯ БЫЛА ЗНАКОМА?

Ответ: Мне известно о ее знакомстве с французом СТЕБЕРОМ. Годы ее знакомства не помню.

Вопрос: Вы были знакомы со СТЕБЕРОМ?

Ответ: Да, с французом СТЕБЕРОМ я был знаком.

Вопрос: Когда, где и при каких обстоятельствах вы

познакомились со СТЕБЕРОМ?

Ответ: Год знакомства со СТЕБЕРОМ не помню. Познакомила меня с ним БЕЛОЗЕРСКАЯ на моей квартире по Мансуровскому переулку в доме № 9, кв. 1. Встреч у меня с ним после знакомства не было.

Допрос прерывается.

Протокол записан с моих слов верно и мной прочитан.

С. Ермолинский.

Допросил Оперуполн. 5 отделения 2 отдела ГУГБ НКВД мл. лейтенант госбезопасности (подпись).

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Обвиняемого Ермолинского Сергея Александровича от 21 января 1941 года Начало допроса 11 час.

Окончен допрос 15 час. 12 мин.

Вопрос: Кто из общих знакомых у вас с ПИЧИНИ проживает сейчас в Москве?

Ответ: Общие знакомые в данное время в Москве проживают следующие:

1. БЕЛОЗЕРСКАЯ Любовь Евгеньевна — быв. жена БУЛГАКОВА.
2. Мать жены ПИЧИНИ — ФЛЕЙШЕР Нина Яковлевна.
3. Сестра жены ПИЧИНИ — ФЛЕЙШЕР Мария Сергеевна, ранее работала в конторе ПИЧИНИ, сейчас не знаю где.
4. МЕНЧУКОВ — журналист, родственник Татьяны Сергеевны ПИЧИНИ.

Больше никого нет.

В настоящее время с указанными лицами знакомства не поддерживаю.

Вопрос: БУЛГАКОВ и его жена Елена Сергеевна были знакомы с ПИЧИНИ?

Ответ: БУЛГАКОВ был знаком с ПИЧИНИ, а Елена Сергеевна не знаю, была ли знакома.

Вопрос: У вас были совместные встречи с ПИЧИНИ и с БУЛГАКОВЫМ?

Ответ: Да, была у меня на даче в Болшево.

Вопрос: В каком году?

Ответ: Год нашей совместной встречи не помню.

Вопрос: Каков характер встречи?

Ответ: Встреча у меня на даче представителя итальянской автомобильной фирмы «Фиат» ПИЧИНИ с писателем БУЛГАКОВЫМ и со мной делового характера не носила.

Вопрос: В каких же целях на даче иностранный подданный, фашист ПИЧИНИ встречался с советским писателем БУЛГАКОВЫМ и вами?

Ответ: Никаких целей при встрече на даче не было.

Вопрос: Что же вас объединяло с фашистом ПИЧИНИ?

Ответ: Ничего не объединяло.

Вопрос: Однако вы с ним встречались в течение нескольких лет. Чем же это объяснить?

Ответ: Встречи с представителем итальянской автомобильной фирмы «Фиат» ПИЧИНИ и его женой происходили потому, что моя жена с детских лет подруга жены ПИЧИНИ, и резко порывать это знакомство я считал неудобным.

Вопрос: Вас с фашистом ПИЧИНИ объединяла совместная антисоветская работа… Следствие требует рассказать об этом.

Ответ: Никакой совместной антисоветской работы ни с ПИЧИНИ, ни с другими лицами я не вел.

Допрос прерывается.

Протокол записан с моих слов верно и мною прочитан.

С. Ермолинский.

Допросил: Оперуполн. 5 отд. 2 отдела ГУГБ НКВД мл. лейтенант госбезопасности (подпись).

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Обвиняемого Ермолинского Сергея Александровича от 31 января 1941 года

Допрос начат в 17 час. 45 мин.

Допрос окончен в 4 час. 30 мин.

Вопрос: Кто участвовал в проводившихся сборищах на квартире реакционного писателя БУЛГАКОВА?

Ответ: На сборищах на квартире писателя БУЛГАКОВА я не бывал, а заходя к нему вечерами чаще всего встречал Александра Шамильевича МЕЛИК-ПАШАЕВА — дирижера Большого театра, художника ВИЛЬЯМСА Петра Владимировича и художника ДМИТРИЕВА Владимира Владимировича. Значительно реже встречал у БУЛГАКОВА некоторых актеров МХАТа: СТАНИЦИНА Виктора Яковлевича, КАЧАЛОВА Василия Ивановича, САХНОВСКОГО Василия Григорьевича, ЯНШИНА Михаила Михайловича и других.

Вопрос: Для каких целей вы группой встречались на квартире БУЛГАКОВА?

Ответ: На квартире БУЛГАКОВА встречались указанные лица из-за хорошего отношения друг к другу, кроме того, БУЛГАКОВ

был связан по театральной работе с указанными лицами.

Вопрос: Как часто проводились сборища на квартире БУЛГАКОВА указанных вами лиц?

Ответ: Встречи указанных лиц на квартире БУЛГАКОВА сборищами назвать не могу.

На квартире БУЛГАКОВА встречались с различными промежутками времени, то чаще, то реже.

Вопрос: Вы на всех встречах присутствовали?

Ответ: Нет, гости бывали у БУЛГАКОВА и без меня.

Вопрос: Представитель итальянской автомобильной фирмы ПИЧИНИ приходил на встречи к БУЛГАКОВУ?

Ответ: Нет, с ПИЧИНИ я у БУЛГАКОВА не встречался, а ПИЧИНИ с БУЛГАКОВЫМ один раз встретились у меня на даче в Болшево. Год встречи не помню.

Вопрос: Кто раньше был знаком с ПИЧИНИ — вы или БУЛГАКОВ?

Ответ: БУЛГАКОВ был знаком раньше.

Вопрос: На проводившихся сборищах у БУЛГАКОВА что вы обсуждали?

Ответ: На квартире БУЛГАКОВА, когда приходили гости, мы беседовали на разные темы, главным образом о театре и музыке. Разговоров на политические темы не помню.

Кроме того, несколько раз были читки пьес БУЛГАКОВА «Пушкин» и «Дон-Кихот», отрывки из романа «Записки покойника», либретто оперы «Минин и Пожарский».

Вопрос: Произведения, которые запрещены цензурой, читались на квартире БУЛГАКОВА?

Ответ: Кроме перечисленных, я других читок не знаю.

Допрос прерывается.

Протокол допроса записан с моих слов и мною прочитан.

С. Ермолинский.

Допросил: Оперуполн. 5 отд. 2 отдела ГУГБ НКВД мл. лейтенант госбезопасности (подпись).

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Обвиняемого Ермолинского Сергея Александровича от 10 февраля 1941 года Допрос начат в 24 час.

Допрос окончен в 2 час.

Вопрос: По какой линии шла ваша антисоветская деятельность?

Ответ: На этот вопрос я ответить не могу, так как антисоветской деятельностью не занимался.

Вопрос: Расскажите о характере сборищ, происходивших на квартире БУЛГАКОВА.

Ответ: Сборищ на квартире Булгакова не было, у него собирались гости.

Вопрос: Как часто собирались названные вами гости у БУЛГАКОВА?

Ответ: На квартире БУЛГАКОВА гости собирались нерегулярно.

Вопрос: Постоянный контингент гостей был у БУЛГАКОВА?

Ответ: Да, у БУЛГАКОВА на квартире собирались одни и те же лица.

Вопрос: Перечислите всех лиц, которые собирались на квартире у БУЛГАКОВА.

Ответ: Чаще всего на квартире у БУЛГАКОВА бывали: МЕЛИК-ПАШАЕВ — дирижер ГАБТ, художник Дмитриев Владимир Владимирович, несколько раз я встречал (гл. образом на читках пьес) КАЧАЛОВА Василия Ивановича, САХНОВСКОГО Василия Григорьевича, СТАНИЦИНА Виктора Яковлевича, ХМЕЛЕВА Николая Петровича, ЛИТОВЦЕВУ — жену КАЧАЛОВА, ЯНШИНА Михаила Михайловича, МАРКОВА Павла Александровича, ВИЛЕНКИНА Виталия Яковлевича и других.

Вопрос: В течение какого периода времени указанные люди собирались на квартире БУЛГАКОВА?

Ответ: Указанных лиц на квартире БУЛГАКОВА я встречал на протяжении последних шести-семи лет.

Вопрос: Что объединяло между собой перечисленных вами лиц?

Ответ: С большинством из указанных лиц БУЛГАКОВ был связан совместной театральной работой, что касается меня, то я был в хороших отношениях с БУЛГАКОВЫМ и, бывая у него, встречался с указанными лицами.

Вопрос: На проводившихся встречах, какой характер бесед был?

Ответ: Люди приходили к БУЛГАКОВУ отдохнуть, повеселиться. Беседы были главным образом на театральные темы.

Вопрос: А на политические темы беседы велись?

Ответ: На политические темы бесед не помню.

Вопрос: Политические события как внутри страны, так и вне ее вас — собравшихся — не волновали?

Ответ: За собравшихся я ответить не могу, могу ответить только за себя.

Вопрос: Отвечайте.

Ответ: Меня интересовали.

Протокол допроса записан с моих слов верно и мною прочитан. *С. Ермолинский.*

Допросили: Оперуполн. 5 отд. 2 отдела ГУГБ НКВД мл. лейтенант госбезопасности (подпись).

Оперуполн. 5 отд. 2 отдела ГУГБ НКВД мл. лейтенант госбезопасности (подпись).

ПРОТОКОЛ ДОПРОСА

Гор. Москва, 11 марта 1941 года.

Военный Прокурор Главной Военной Прокуратуры военюрист 2-го ранга — ХОРНАШОВ допросил в качестве обвиняемого ЕРМОЛИНСКОГО Сергея Александровича. ДОПРОС начат в 13 час.

ДОПРОС окончен в 16 час.

Вопрос: С какого времени вы работаете киносценаристом?

Ответ: В 1925 году я окончил МГУ — факультет общественных наук. Затем работал в газетах «Комсомольская правда» и «Правда», а с 1927 года и по день ареста я работал сценаристом.

Вопрос: Расскажите о вашей связи с БУЛГАКОВЫМ.

Ответ: С писателем БУЛГАКОВЫМ я познакомился в 1929 году у него на квартире через его жену БЕЛОЗЕРСКУЮ. В первые годы нашего знакомства я с ним встречался редко. Примерно в 1931–1932 гг., когда БУЛГАКОВ женился второй раз — на ШИЛОВСКОЙ, я с ним стал встречаться чаще, и в результате этих встреч у меня с ним установились дружеские отношения. За 3–4 года до его смерти (умер он в 1940 г.) я встречался с ним на квартире, где встречал дирижера Большого театра МЕЛИК-ПАШАЕВА, художника ВИЛЬЯМСА Петра Владимировича и художника ДМИТРИЕВА.

Кроме указанных лиц, у БУЛГАКОВА я встречал ряд актеров, главным образом Художественного театра.

При посещении квартиры БУЛГАКОВА велись разговоры главным образом на театральные темы. В разговорах за последнее время БУЛГАКОВ увлекался СТАЛИНЫМ. Во всех разговорах БУЛГАКОВ хорошо отзывался о СТАЛИНЕ.

Никаких антисоветских разговоров на квартире БУЛГАКОВА не проводилось, во всяком случае я на таковых не присутствовал.

Вопрос: Показаниями ВЕКСТЕРНА Вл. Алексеевича вы изобличаетесь в том, что являетесь участником антисоветской группы.

Ответ: В антисоветской группе я не состоял и не состою.

ВЕКСТЕРНА знаю очень мало, всего с ним виделся один раз на квартире его сестры.

Вопрос: БУЛГАКОВ знал ПИЧИНИ?

Ответ: Да, БУЛГАКОВ был знаком с ПИЧИНИ. Об их знакомстве я узнал следующим образом. Однажды на дачу, я не помню, в каком году это было, ко мне приехал БУЛГАКОВ. В это же время зашел ПИЧИНИ с женой, которые жили недалеко от моей дачи. Из их беседы я узнал, что они знают друг друга давно.

Вопрос: Чем объяснить, что при обыске у вас на квартире была изъята к.р. литература? Зачем вы ее хранили?

Ответ: Я это объясняю только своей халатностью. Библиотека у меня большая, и я давно ее не просматривал.

Вопрос: Кто, кроме вас, пользовался вашей библиотекой?

Ответ: Моей библиотекой пользовались, но редко и ограниченный круг лиц, в частности, я давал книги читать РАЙЗМАНУ, СТОЛПЕРУ и др.

Вопрос: Что вы хотите еще добавить?

Ответ: Я прошу вас изменить мне режим, т. к. я сижу в одиночной камере и это отражается на моем здоровье. Кроме того, хотелось бы полностью ознакомиться с заключением экспертизы, так как выводы ее противоречат фактам моей литературной работы.

Протокол записан с моих слов и мной прочитан.

С. Ермолинский.

Допросил: Военный прокурор ГВП КА военюрист 2-го ранга Харнашов…

ПИСЬМА Е. С. БУЛГАКОВОЙ С. А. ЕРМОЛИНСКОМУ И Т. А. ЛУГОВСКОЙ [109]

С. А. Ермолинскому

Москва, 6. IX. 46.

Милый Сереженька, прости, что не писала так давно. У меня голова кругом шла все последнее время от разнообразнейших хлопот. Ну, конечно, самое главное дело мое, жизненно важное и для меня и для Сергея, — это его поступление в Институт. Он выдержал в июне все экзамены (одиннадцать) на аттестат зрелости. А в августе — приемные экзамены (пять) в Институт, и вот теперь Сергей уже — студент Редакционно-издательского факультета Московского Полиграфического Института. Ты представляешь себе ясно, какое это счастье, что все это позади, все эти бесконечные бессонные ночи, так как дней не хватало для подготовки, все волнения в дни экзаменов. И Сергей, и я — оба всегда говорим: мы выдержали. И это действительно так: все это

происходило при полнейшем моем участии. А уж дни экзаменов я не забуду долго. Когда Сергей уходил в школу или Институт на экзамен, я не находила себе места, ничего не могла делать, никуда не выходила, до тех пор пока не раздавался звонок — Тюпа!!! Все в порядке.

Вообще, Сергей показал себя молодцом в смысле воли и собранности. Занимался он самостоятельно, за исключением таких предметов, по которым я не была уверена, что он может справиться один. Учителя были по математике, по химии и немецкому. Обошлось это дорого, т. к. время экзаменационное, горячее и учителя были дороги.

Помимо самой серьезной радости от всего этого, испытываю и мелкое чувство удовольствия от того, что все сплетни теперь должны прекратиться о Сергее и о моей порче его. Даже не понимаю, как будут говорить теперь и объяснять чем будут его успехи? Ну это второстепенное, труха, конечно.

Занятия его интересуют, у него уже есть любимые преподаватели, он мне всех показывает актерски, рассказывает обо всем, что происходит там. Не знаю, надолго ли такое увлечение, но пока что очень хорошо.

Женя принят в Академию Фрунзе, находится сейчас в лагерях Академии, переедет в Москву через месяц или полтора. Пока же бывает в Москве каждую субботу вечер и день воскресенье.

Сереженька, милый, я написала то письмо, о котором давно говорила. После чего был звонок, предложили мне обратиться в издательство Искусство насчет печатанья сборника пьес. И вот теперь в изд-ве изучают пьесы и пока не изучат, договор не подписывают. А я тем временем сижу настолько без копейки, что, вставая утром, прежде всего смотрю кругом, что еще можно продать, посылаю Галю на базар, она продает какую-нибудь вещицу и тут же покупает продукты. Мечтаю продать мою пишущую большую машину, чтобы сразу получить сравнительно большую сумму денег и несколько времени не беспокоиться. Оля сегодня, по своему несчастному обыкновению, принесла мне на хвосте неприятные новости. Мертвые души не пойдут довольно долгое время, так как спектакль разболтался, а приводить его в порядок некогда, так как нужно в срочном порядке восстанавливать Платона Кречета, ужаснейший спектакль, давно снятый из-за отсутствия к нему интереса со стороны публики. Что же касается Пушкина, то он идет, как известно, раза три в месяц, так что она мне советует скорей искать себе работу по переписке на машинке, чтобы иметь какой-нибудь верный заработок.

Меня очень волнует мысль, чтобы у тебя не вышло каких-либо осложнений с пьесой из-за темы — не современной. Юрский

ко мне не звонил, так что ничего о тебе не знаю, кроме как из твоего письма.

Я встретилась как-то случайно в Управлении в Лаврушенском с Нат. Ал. Венкстерн, мы разговорились, условились повидаться, потом я услыхала, что она разбилась в метро, пошла ее навестить, она необычайно обрадовалась, я была у нее еще раз, потом она пришла ко мне, и мы подписали акт о дружбе. Мне очень приятно бывает с людьми, которые знали Мишу, и тем более — его любили. Можно без конца говорить о нем, вспоминать, она рассказывает иногда то, что я не знала — из его словечек, шуток. Много говорим с ней и о тебе, она очень болеет тем, что ты не был у нее в этот приезд. Она стала — с моей точки зрения — гораздо лучше, очень человечная, очень умная. Философски настроенная, с приятным юмором — тот налет злости, который у нее отчасти был, теперь исчез. В общем, мне с ней хорошо, и когда я долго с ней не вижусь, мне хочется встречи.

Встречаюсь с Лилей Брик[110]. Даже задумали одну работу-инсценировку. Вернее, она предложила, я согласилась. Посмотрим, что из этого выйдет. Я считаю вещь хорошей, но не поддающейся инсценированию, а она спорит. Я сказала, ладно, попробуем, истратим две недели, выйдет — хорошо, не выйдет, тоже время не зря прошло, пригодится опыт работы.

Приехали все знакомые, которые уезжали на лето, причем почти все на рижское взморье. Встречаемся ласково, сердечно, как хорошие друзья, но часто я этого делать не могу, нет времени.

Оля приехала в полном восторге от своего летнего отдыха с мамой на даче, поправилась, посвежела. С Женей К.[111] они окончательно расстались, как ты знаешь, но большие друзья.

Пречистенку не вижу и не жажду видеть. Не знаю, чем она дышит. Как-то позвонил летом Яков, после длительного перерыва, поговорили очень мило, но думаю, что он теперь больше не будет звонить, т. к. он звал заходить, а я ни разу не зашла и не позвонила. Да и с дамами совсем порвалось. Хотя я уверена, что стоит встретиться, как они забасят: Люсеныш!! самым привычным образом, и все будет выглядеть как в самом лучшем доме. Но вообще эту тайну я хотела бы узнать, что произошло и кто виноват, я ли, сболтнувши что-либо по их адресу, или что-то другое. Сереженька, милый, ты пишешь о приезде в конце сентября. Ничего не изменилось? Целую тебя крепко.

Твоя Кут.

Татьяне Александровне Луговской
Рига. 23.7.48.

Дорогая Танюша, как давно мы с Вами не виделись. Как приеду, мы непременно встретимся.

Эти последние два месяца[112] мне хотелось быть только с людьми, которые знали и любили Олю, ведь Вы это понимаете. От этого я и не звонила к Вам.

А вообще Вы же знаете, что мы с Вами не просто знакомые, а нас навсегда связала прочная веревочка.

Что Вы делаете, да и в Москве ли Вы еще? Как здоровье Вл. Ал.[113]? Когда я уезжала, я встретила Вашу Полю[114], и она мне сказала о его тяжелом состоянии.

Тусенька, мне все еще очень тяжело, и здесь тяжелее, чем в Москве. Рига так неразрывно связана с Олей, с нашей беготней по всем улицам, с нашими детскими и юношескими воспоминаниями, что я — как выйду в город — так и замираю от безвыходной тоски. Хожу одна, разговариваю сама с собой, твержу кому-то: никогда не возвращайтесь туда, где Вы были когда-то счастливы.

Напишите мне, голубчик мой, если Вы получите это письмо до 20 авг.

Целую Вас нежно.

Ваша Лена.

Татьяне Александровне Луговской
Москва, 9.6.57.

Моя дорогая Туся, моя дорогая, голубчик мой Туся, вот собственно и все, что я могу повторять Вам без конца. Я ведь так знаю, что у вас сейчас происходит в сердце[115]. Все это я пережила в 48 году, когда умерла Оленька. Только у меня не было рядом Миши, как у Вас сейчас есть Сережа. Какое это счастье. Вот он может Вас утешить. Я же — никак. Ведь эта омерзительная маска О-ла-ла! кот[орую] я стараюсь напяливать на себя как можно чаще — это только защита от жалости. Не хочу, чтобы жалели.

А дома — жизнь среди ушедших, письма, альбомы, газеты, фотографии. Притронуться трудно. Когда одна. При ком-нибудь — легче.

А вот я вспоминаю день, когда (еще на Пироговской ул.) утром Миша меня осторожно разбудил, осторожно подготовил — и потом сказал о смерти папы. Безумное горе, но Миша был рядом. И это было лучшим лекарством.

Вот так я все время думаю — какое счастье, что рядом с ней Сережа.

Туся, моя дорогая, когда Вам захочется, чтобы я пришла, скажите, я приду сейчас же.

Крепко целую и обнимаю Вас обоих.

Ваша Лена.

ТЕЛЕГРАММА: *Москва Ленинградский проспект 64 кв 35 Татьяне Александровне Ермолинской*

Дорогая Туся поздравляю целую очень хочу видеть = Ваша Лена.

25.1.62.

Москва, 23.2.1963.

Дорогая Туся, посылаю Вам картинки — 8 штук, может быть, пригодятся Вам. Кроме того — рецепт того лекарства, о кот[ором] Вам рассказывала, — сердечного. Вдруг удастся Вам заказать где-нибудь.

Алисе я позвонила тогда вечером, все сказала.

Я у Вас забыла очки, без которых мне довольно трудно, но как их получить?!

Во всяком случае не давайте их никому, умоляю. Целую обоих.

Лена.

Ялта. *Дом творчества писателей*
Татьяне Александровне Ермолинской
Москва, 6.5.64.

Дорогие мои, в праздниках есть хорошая черта, они проходят.

Было холодно, неуютно, кроме первого мая.

Всегда вспоминаю слова из одного Мишиного фельетона. Одна баба говорит другой — на небе-то, милая, видно за большевиков. Вчера вон какой дождь шел, а нынче солнце.

Я сама больше Вашего жалею, что меня нет в Крыму. Нет и нет, вот ведь какая оказия.

И не будет, — что еще хуже.

Но Вы все-таки будьте хорошей девочкой, слушайтесь папу и маму.

Мойте мылом маму (из хрестоматии на букву М).

Целую Вас.

У меня сейчас (десятый час вечера) в большой комнате сидят двое: один из Ленинграда д-р наук и аспирантка из Харькова. Читают роман. Ленинская читалка. Такая же тишина.

Ее кормила завтраком, обедом, чаем.

Он пьет чай (пришел в 9 вечера). Тишина, тссс…

Итак, прощай и помни обо мне.

Уважаемая Вами Елена Булгакова, Леночка. Кутя — в прошлом.

Малеевка, 2.12.64.

Вот как у нас получается, дорогие Танюша и Сережа, видимся от случая к случаю, от года к году. То Западная Германия, то Снигири, то Англия, то Москва, то Швеция, то Малеевка. Когда столкнешься? Неизвестно. Это вроде как Сергей объяснял мне, почему мать Лильки осталась жива после инсульта, в то время как Шиловский или Мелик погибли[116]. — Понимаешь, у нее всего две извилины, ну как в них попасть?

А у меня без Вас разные события были, как-то: заседание Лит. Комиссии у меня на квартире. Воронков, Симонов, Каверин, Розов[117], Ляндерс. Мило было очень. Я пожалела, что не знаю стенографии — для потомства. Но вообще изобразить все смогу точно, когда в будущем году увидимся. Ведь не может быть, чтобы мы ухитрились встретиться еще в этом декабре — небось, куда-нибудь улетите.

Я — ебж — вернусь в Москву 21-го XII.

Я написала в Гамбург, что в этом декабре не смогу приехать к ним. Они мне ответили, что тогда они приедут. Теперь вопрос, на кот[орый] ты, Сережа, дай мне очень откровенный ответ. М.б. деньги у меня появятся уже и в декабре — либо из Ермоловского театра, либо из Искусства. Тогда все просто для меня. Но если это будет в январе, что всегда надо предвидеть, тогда мне нужно просить в долг до конца января у друзей. Иначе не только устраивать потемкинские деревни для немцев, а и жить до конца янв. будет трудно. (Беру коней на всякий случай, но ясно, что отдам из первых же получений. А они предвидятся несомненно.) Так вот, в состоянии ли ты одолжить мне на этот срок 400 рублей, это мой вопрос к тебе и жду от тебя, Сережа, такого же простого ответа. Тогда придется обратиться к Виталию, если ты не сможешь.

Танечка, напишите мне что-нибудь веселящее. Здесь мертвечина, а не люди. Но зато все подают мне, а не я — кому-либо.

Целую Вас обоих. Ваша Лена.

Малеевка, 11.12.64.

Дорогие Танюша и Сережа, сегодня пришло письмо от Вас. Скоро. Конечно, буду ждать с нетерпением тебя (а м.б. и Туся приедет?) и твою статью. Она меня исключительно интересует.

Если бы Вы захотели, здесь можно и пообедать (в 2 часа) и поужинать (в 7 ч.).

Я из письма Ляндерса узнала, что к нему позвонили и звонят многие из получивших письмо от Симонова[118], благодарят,

будут писать. Очень, кажется, был трогателен Яншин[119]. Но вот Леонов, Михалков и Чуковский (последний писал, а те — по телефону) сообщили, что они слишком мало знали М.А. как человека, а как писателя — предоставляют написать критикам о таланте Б-ва, не хотят отнимать у них хлеб. Но это между нами — это мне Ляндерс[120] сообщил по дружбе. Хорошие подлецы.

Здесь встречаю удивительное отношение к Мише — интерес колоссальный!

Кроме того, у меня с собой «Записки покойника», а здесь Бернес[121] с женой и с ними сидит Гердт[122] (Зиновий… не знаю отч.). Они помирают от наслаждения, я им дала почитать.

Итак, до встречи, до личного общения.

Целую Вас крепко. Большое спасибо, что выручили, а то мне пропасть. 30-го приезжают Карик с Алисой[123].

Ваша Лена.

Москва, 14.5.65.

Милые мои Танюша и Сергей, до чего хочется уехать из Москвы, отдохнуть от всех дел, телефонов и даже людей! Ведь я так люблю, когда ко мне приходят, но за этот год план перевыполнен чересчур.

Но когда удастся — не знаю, и иногда «мне щась сдается, що…» никогда.

Пишу лениво, думаю, вот приедут, тогда будем разговаривать.

Сейчас получила из Германии конверт — белый с черной каемкой. Понятно — смерть. Умерла мать Алисы, чудная толстуха, прижавшая меня в первую же минуту к своей груди. Она говорила, что полюбила меня сразу. Мне жаль ее.

Т.к. эти черти удивительно умеют всему придавать красивую форму, то текст, примерно, такой на извещении: Фрау фон Муйяр (она француженка) уснула навеки…

Так что очень прошу, когда я помру, так же написать в Вечерке — уснула навеки.

Дела двигаются, как жернова, кот[орые] крутил Козинцев в Гамлете.

Приходили много раз Ваши кумовья — Абрам Матв. Роом[124] и Ол. Андр. Жизнева[125]. Он хочет делать «Бег». Завтра они уезжают в Коктебель на месяц, и он говорит — буду набрасывать план, привезу, покажу Вам.

Симонов сказал, что устроил в Лит. Россию кусок Зап. покойника, пойдет, кажется, 30-го/V.

Ад. и Еву, по последним, вроде точным, известиям снял д-р «Искусства» Савостьянов, известный трус и скотина.

Целую Вас обоих.
Ваша Лена.

ОТКРЫТКА: *Москва, ул. Черняховского, д. 3, кв. 35. Сергею и Татьяне Ермолинским Куйбышев, 1.7.66* Милые! Дорогие!

Не приведи господь…

Да чтобы еще раз!..

Да разрази меня Бог!..

И за что это наказание? Сидела чудно дома, квартира пустая, друзья, ванна, телефон, вкусная еда, работа — что тебе еще нужно, собака, как говорится в «Ив. Вас.». Эх!.. Целую Вас. Ваша несчастная Лена.

Ялта. *Дом творчества писателей,*
Сергею Александровичу Ермолинскому
Москва, 3.5.67

Дорогие Таня и Сережа, получила Ваши обнадеживающие письма. Я — хорошая девочка. Поэтому Вы, Тусенька, подумайте, как меня нужно наградить. Но настроение у меня ужасное, и понять не могу — отчего. М.б. оттого, что сейчас наступило сравнительное затишье, и мне стало казаться, что люди увлеклись какой-нибудь новой сенсацией и забыли Мастера. Хотя вчера вдруг раздался телезвонок, и милый Сергей подошел ко мне с выпученными глазами и сказал: — Ермолинская Марика!?![126]

Это оказалась — и верно — Марика, кот. Передала просьбу какого-то швейцарца, знакомого ее друга детства Эдика (Эдмунда Эдмундовича С… ского, я забыла точную фамилию, но она была специально для Миши). Так вот этот швейцарец мечтает о Мастере. Я сказала, что она может дать ему мой № телефона.

Милые, у меня сейчас сидит некий француз Michel, студент Оксфордского у-та. Маргарита Алигер мне его рекомендовала. Я бы дорого дала, чтобы сидеть сейчас с Вами в Ялтинском саду, Москва пыльная, шумная и некрасивая.

Когда Вы собираетесь вернуться?

Напишите.

Целую Вас. Привет Маргарите Алигер[127].

Ваша Лена.

ЗАПИСКА: ***7/VII-67***

Мои хорошие, я — хорошая девочка, пусть мама и папа мне *все* купят!

А какова открытка, а? Вы бы от души повеселились, глядя на меня в Париже. Приеду, буду рассказывать.

Целую крепко.

Ваша Лена.

13/VII-67

Дорогие друзья, Вы меня никогда не поймете — одно дело путешествовать вдвоем с близким человеком, а совсем другое — одной. Совсем! Будьте здоровы. Любите друг друга и немного меня. Ваша Лена.

Ялта. *Дом творчества писателей.*
Татьяне Александровне Ермолинской
Москва. 2.5.68

Дорогие мои, это письмо Вам передаст мой молодой друг Юра Мочалов. Он поставил в Красноярске «Полоумного Журдена» и покажет Вам его в Ялте.

Туся, Тусенька, Таня, Танечка, Татьяна (я заговорила вроде Федина в «Братьях», фу!), у меня к Вам просьба. Очень для меня важная! Пойдите на репетицию «Журдена» и посмотрите своим точным взглядом художницы на костюмы актеров и постарайтесь помочь им, — при помощи какой-нибудь мелочи — (но сделанной с Вашим вкусом) исправить как-то слишком заметные дефекты в костюмах. Юра с беспокойством сказал мне, что в этом отношении он волнуется. И тут *мне* пришла в голову мысль: Татьяна сразу увидит *как* можно исправить ту или другую неудачу. Посоветует, приложит руки. Танечка, прошу Вас, а за это, «если будешь хорошей девочкой»… и т. д.

На закуску, Сережа, тебе приятное: прислали из Парижа экземпляр Мастера, и вместо предисловия твоя статья, по-моему хорошо переведенная. Я запросила экземпляр для тебя.

А засим обнимаю Вас
Ваша Елена Булгакова.

ОТКРЫТКА: *СССР Москва, ул. Черняховского,*
Сергею-Татьяне Ермолинским
Helene Bulgakov Paris 92, France
9/IV-69

Мои миленькие, хорошенькие Туся и Сергей! Я еще не ходила по этой набережной, т. к. у меня оказалась трещина на том самом ребре, из которого меня сделал Бог, и к тому же разрыв тканей. Боли адовые, хожу в каком-то дурацком бандаже, доктор обещает, что через дней 10 все пройдет. Ксения — ангельски нежна, я — жуткая скотина, т. к. вскидываюсь от боли. Но потом прошу прощенья, а она ревет. Лето, солнце, жара, тишина, петух. Будьте счастливы, здоровы. Я Вас целую. Ваша Лена.

ОТКРЫТКА: *Москва, ул. Черняховского, 3, кв. 35*
Сергею и Татьяне Ермолинским
30/4 1969.

Мои дорогие дружочки, в одном из таких прелестных домиков живем мы с Ксенией. Ездим с экскурсиями, сегодня — в Ниццу. Погода плохая, солнца почти нет. Часто я схватываю насморк, тогда Ксения колбасится вокруг меня, как наседка, вернее, как квочка. Не забывайте любящую вас Лену.

ОТКРЫТКА: *Москва, ул. Черняховского, 3, кв. 35*
Сергею и Татьяне Ермолинским.
13.5.69.

Мои миленькие, я вовсе не в этом прелестном уголке, а сижу в одном из модных ресторанов Ниццы, мы с Ксенией обедаем. А сейчас пойдем по городу и по набережной. Солнце, тепло. Будет много рассказов Вам выдано. Разговор Ксении — это нечто весьма живописное. Крепко целую.

Ваша Лена.

ОТКРЫТКА: *Москва, ул. Черняховского, 3, кв. 35*
Сергею и Татьяне Ермолинским.
15/10.

Что же Вы, мои милые, молчите? Сами просили, я сообщила Тусе по телефону… и теперь ежеминутно роюсь во всех телеграммах. Целую.

Ваша Лена.

Репино, *Дом творчества кинематографистов*
Сергею Ермолинскому
26.2.70.

В верхнем углу страницы вырезка из газеты в рамке: «РОЛЬ ЗОЛУШКИ НЕ УСТРАИВАЕТ»; ниже от руки: равно как и зайчика у огня.

Дорогие мои!

Вас не хватает. Кому? — Конечно, мне.

Настроение скверное. Я — скотина. Еще недавно я молилась исступленно, чтобы Сергей выздоровел. А сейчас, когда его выписали из больницы с нормальным давлением, я нахожусь в беспрестанной тревоге и не ощущаю той радости, которую я должна была бы чувствовать. Неблагодарная скотина. Наверное, в скором времени Сергей и Таня[128] поедут в Сочи в санаторий, Сергей очень ослабел. Он перенес в больнице — кроме всего прочего — грипп и сильнейшую ангину.

Причины для волнений, конечно, есть. Но это уже для личных

разговоров.

Люди продолжают меня мучить, хотя и с самой лучшей целью. Но и заботятся, особенно дама из Пицунды, она просто неоценимую пользу приносит. Пропала бы я без нее. Галины Мих. уже месяц как нет — болеет.

Не судите строго за пустое письмо.

Целую Вас и люблю.

Ваша Лена.

Ялта

Дом творчества писателей

Сергею Александровичу Ермолинскому с супругой,

Москва, 27.3.70.

Мои дорогие! Милые! Пока что, на сию минуту, я жива, чего и Вам желаю.

Москва. Новые Черемушки. Однокомнатная квартирка. Но эта одна комната — очень большая. С балконом, с большим количеством зелени разнообразного рода, начиная с кактусов — не любимых мною — и кончая дивной персидской сиренью, принесенной мне вчера Сергеем. Тепло, даже жарко. Только что мы с Андреем (16-летним сыном Лены Чекаловой) царски пообедали — бифштексом по-гамбургски со свежим огурцом и кофе с пасхой и калачом. Тишина, Андрей моет посуду. Я взволнованно составляю списки избранных, 29, 30 апреля, 3 и 4 мая — Зося показывает свою работу в Студии МХАТ — «Мольера» М. А.Б. Не бойтесь — Вы тоже увидите, спектакль — если он будет принят Худ. Советом МХАТ — пойдет еще несколько раз в мае.

Ремонт почти закончен, запойный Коля-плиточник настилает полы в передней и в кухне, после чего 5 дней нельзя будет ходить по ним. А затем я могу переехать. Синяя комната (моя) получилась божественно красиво (после пяти переделок), средняя, по словам Лены, еще лучше — она светло-серая. Как и передняя. Ну, это все Вы будете оценивать сами.

Сергей требует, чтобы я сразу же ехала в санаторий под Москвой. Я действительно, как это ни странно, чувствую себя средне. Сердце.

Вчера позвонила Наталья Ильина[129] и сказала, что Вы беспокоитесь, не имея от меня ответа. Простите, милые!

Сначала болезнь, боли — гвоздь в голове, потом — переезд из своей квартиры — все это выбило меня из седла (вот видите — сама знаю, что так не говорят, а не могу подыскать нужное слово!).

Прервались связи с изд-вами, с газетой — ничего не знаю.

А вы-то там, наверное, как наслаждаетесь? Конечно, Марк Алекс, мне мог бы устроить Ялту, но пока я бы собралась, числа эдак 10-го, Вы бы уже собирались в обратный путь. И я сидела бы в Ялте как дура с кукушечьим пером (по словам Тэффи[130]). Чуть не написала имя этой подлянки Татьяны Тэсс[131]…

Целую Вас крепко.

Ваша Лена.

ЗАПИСКА *без даты.*

Дорогие Татьяна и Сережа! Пишу, глядя на цветы. Это фокус. Но я умею.

Сереженька! Когда обсуждался в комиссии вопрос о печатании «Адама и Евы» (в пьесу влюблен Розов), то Пименов, твой друг и мой благодетель, сказал, что его смущает, что гибнет ЛЕНИНГРАД. Я думаю, что вполне было бы возможно заменить это крамольное слово просто ГОРОДОМ, — прием, который Миша сам употребил в «Белой гвардии».

Это я на всякий случай сообщаю.

Целую крепко. Лена.

ЗАПИСКА *без даты.*

Дорогой Сереженька, посылаю тебе по твоему желанию пьесы из архива — все роздано в издательства и исследователям. Потом я тебе сменю на хорошие экземпляры.

Зойкина квартира

Багровый остров

Полоумный Журден

Иван Васильевич

Батум

Адам и Ева.

Крепко целую. Лена.

С. АХМЕТОВ[132] ПЕРСТЕНЬ БУЛГАКОВА[133]

Впервые я его увидел на безымянном пальце С. А. Ермолинского, известного кинодраматурга, автора сценариев ряда популярных фильмов, в том числе «Неуловимых мстителей» и «Эскадрон гусар летучих». Случилось это в Переделкино на даче В. А. Каверина. Вениамин Александрович сказал о перстне всего два слова, но они заставили забыть обо всем на свете. Перстень притягивал как магнит, он был тщательно рассмотрен и запечатлен в памяти.

Это был перстень М. А. Булгакова.

Тонкий золотой ободок, поднимающийся четырехугольным кастом. В него вставлен сапфир цвета выгоревшего василька. У основания камень кажется светлым, к вершине темнеет. В нем проблескивает едва уловимый фиолетовый огонек. Сапфир огранен кабошоном редкой пирамидальной формы: в основании прямоугольник размером примерно семь на пять миллиметров, выше он закругляется, но ребра пирамиды сохранены и при взгляде сверху напоминают косой андреевский крест. Размер камня — с горошину. В нем при внимательном рассмотрении видны включения в виде мелких пузырьков.

Вот история сапфира, которую рассказал Сергей Александрович Ермолинский. Некоторые обстоятельства уже описаны писателем в книге «драматические сочинения». Она бесценна для нас первым подробным и сердечным очерком жизни М. А. Булгакова.

После смерти друга Сергей Александрович пережил войну и послевоенные мытарства в казахской ссылке (осужден за связь с М. А. Булгаковым). В 1949 году он оказался в Москве без жилья и без работы. Временно поселился у Елены Сергеевны Булгаковой, вдовы писателя. Самое ценное, что у него было — это пьеса о Грибоедове, которую согласились прослушать во МХАТе. Процедура читки достаточно нервна, так как актеры с голоса примеряют роли на себя. Горе пьесе и автору, если роли не находятся. Ситуация эта хорошо известна по булгаковскому «Театральному роману».

Сергей Александрович, собираясь в театр, нервничает, непрерывно курит. Никак не завязываются тесемки на папке с рукописью. И тут Елена Сергеевна достает перстень, который сберегла в голодные и безденежные годы.

— Надень его, — сказала она. — Он поможет. Если будет плохо, поверни камнем вверх. Сапфир начинает испускать праны добра на слушателей…

И читка прошла успешно! Правда, пьесу поставил не МХАТ, а театр имени К. С. Станиславского, который был только что образован. Собственно, со спектакля «Грибоедов» он и начался. Пьеса имела успех, автора вызывали…

До самой смерти в феврале 1984 года Сергей Александрович не расставался с перстнем. Он носил его на безымянном пальце левой руки. Когда камень был повернут внутрь, перстень походил на обручальное кольцо и не привлекал внимания. А когда он смотрел вверх, нас завораживало мерцание синего сапфира Булгакова и отчаянно голубых глаз Сергея Александровича.

Ныне перстень хранится у Татьяны Александровны Луговской, вдовы С. А. Ермолинского.

1992 г.

ВОСПОМИНАНИЯ О ЕРМОЛИНСКОМ

Болбесистом не имеет
Болбесистский
Болбесисты
Болбесистов
Болбесист
Болбесистом
Болбесистам
Болбесистами
Болбесистах
Болбесистов
Болбесистам
Болбесистами
Болбесистах
Болбесистов
Болбесистам
Болбесистами
Болбесистах
Болбесистов

«Грибоедов».

Ермолинский, которого привел с собой в театр Яншин, был в то время опытным киносценаристом и только начинающим театральным драматургом. Широко образованный, обаятельный, умный человек, он чем-то напоминал нам самого Грибоедова. Его пьеса, документально аргументированная, с большим количеством хороших портретных ролей, и сам автор произвели на нас, актеров, сильное впечатление. Все хотели играть в пьесе «Грибоедов», все хотели работать с режиссером Яншиным.

Начался долгий и трудный период распределения ролей. Это зачастую решающий момент в работе над спектаклем. Тут Михаил Михайлович проявил свои качества смелого, независимо мыслящего человека, художника-экспериментатора. Самая серьезная проблема была, естественно, связана с назначением актера на заглавную роль. Единственно возможным кандидатом здесь мог быть Г. Н. Колчицкий, но к этому времени он перешел в труппу МХАТа, и положение казалось безвыходным. Мне лично все в этой работе казалось очень привлекательным: встреча с М. М. Яншиным, любимым актером еще с детства, пьеса с ее темой и несомненными литературными достоинствами. И я попросил дать мне роль Алексашки, слуги Грибоедова. Надо сказать, что амплуа комедийного актера прочно висело на мне с самого начала моей жизни в театре.

Каково же было мое удивление, вернее, недоумение, когда однажды вечером меня вызвал к себе домой Сергей Александрович и прямо огорошил сообщением, что Грибоедова буду репетировать я. Несколько позже Михаил Михайлович сказал мне, что это эксперимент. Получится — ну и хорошо, нет — значит, нет…

Чтобы оценить смелость этого решения надо представить себе ряд обстоятельств. Первое. Ничего более противоположного лицу Грибоедова, чем мое лицо, представить себе невозможно. Здесь все, буквально все, наоборот, от кончиков волос до подбородка. Я не говорю уж о внутренних данных. Генеральский мундир, выправка и сдержанность дипломата, героичность образа, тончайшие лирические сцены с Ниной Чавчавадзе — все это шло вразрез моей предшествующей работе в театре на протяжении девяти лет.

Второе. В те времена не только в кино (где это бытует и по сию пору), но и в театре портретное сходство актера с историческим персонажем было одним из главных условий и подчас решающим при назначении на роль. Неподалеку от нашего театра, в Театре им. М. Н. Ермоловой играл Пушкина артист В. С. Якут, потрясавший зрителя не только

экстравагантной игрой, но и поразительным портретным сходством. Пренебрежение этим обстоятельством было тогда смелостью незаурядной.

Много позже, когда уже появилась надежда, что эксперимент будет удачным, Яншин предпринял некоторые попытки добиться при помощи грима хоть какого-то намека на сходство моего лица с лицом Грибоедова. Был приглашен лучший гример с киностудии. Около месяца работы — и ему удалось при помощи пластических масс (тогда это было новшество) и прочих ухищрений добиться кое-какого успеха в борьбе с моим лицом, но… получилась маска, мертвая маска, с которой выходить на сцену было немыслимо. Все было выброшено в корзину, осталась лишь прическа и грибоедовские очки. Но это было позже, а пока… Кошмар и праздники репетиций.

Приведу из всего вороха воспоминаний один кошмар и один праздник.

Тут нужно оговориться. Дело в том, что пьеса, которую нам тогда прочел Ермолинский, несколько отличалась от того варианта, который был позже опубликован. Она и называлась по-другому — «Грибоедов. Последние годы странствий и гибель». То есть тема была более четко обозначена. В пьесе были потрясающие эпиграфы. У каждого акта — свой эпиграф. И был главный: «Сегодня во сне опять видел Грибоедова. Кюхельбекер».

И уже в первой ремарке возникал этот образ, пьеса начиналась как сон-воспоминание — возникала тихая солдатская песня и как из тумана начинала просвечивать комната в крепости. Грозный. (Кстати, опять Грозный.) В комнате два персонажа: племянник Ермолова Сережа и еще один офицер. Они говорят про «Горе от ума». Офицеру не нравится пьеса, он говорит, что это сколок с «Мизантропа» Мольера, а Сережа утверждает, что это хорошее произведение. Еще они упоминают о плохих вестях из Петербурга, что-то там 14 декабря произошло. И тут появляется Грибоедов.

А до этого за кулисами шум, выстрелы, крики, они бросаются к окнам, пытаются понять, что происходит. Грибоедов выходит прямо из центральной двери вперед на рампу и говорит одно слово — «Убили». И в двух — трех репликах рассказывает про взбунтовавшегося чеченца, которого никак не могли захватить, и только солдат, взобравшийся на крышу, смог с крыши пригвоздить его штыком к подоконнику. Только так его сумели взять.

Пять полных репетиционных дней, при том что все актеры в гримах и костюмах сидят на выходах и ждут, Михаил Михайлович заставлял меня делать эту маленькую, но важную сцену снова и

снова. А уже идет прогон всего спектакля. Уже декорации стоят. Я ощущаю себя костью, которая уже пять дней торчит в горле Яншина и всей труппы. Я не мог стронуться с места. Яншин не отпускает меня со сцены. «Вы должны рассказывать об этом эпизоде с чеченцем, ассоциируя с тем, что было в Петербурге, с декабрьским восстанием. Вы не то видите, надо рассказывать про это, а видеть то. Рассказывайте о Петербурге 14 декабря, а не о том, что только что произошло вот здесь. Рассказывайте о неукротимости, об одержимости». Ставит передо мной совершенно несусветные задачи! А я слышу ропот артистов. Пять дней! С десяти до трех! Я не мог стронуться с места. Михаил Михайлович упорно искал для меня новые «манки», придумывал сотни разных приспособлений, но ни разу я не слышал по своему адресу ни слова упрека или злобной интонации. Поражало его долготерпение. Думается мне, что как актер он хорошо понимал мое отчаяние. А может, когда-нибудь и сам бывал в таких переделках.

Меня сразил «столбняк», какой-то шок в этой сцене, преодолеть который я не мог до самой премьеры. Я никак не мог соединить то, что он только что пережил, с тем, что было в Петербурге. Я тогда был молодым, но я и сейчас не мог бы этого сделать. В итоге он просто сдался.

Да еще естественное недовольство артистов. Я никому не мог смотреть в глаза. Это был подлинный кошмар.

Только в день премьеры Михаилу Михайловичу удалось меня выбить из этого состояния и, казалось бы, простым способом. Минут за пять до начала первого спектакля с публикой он подошел ко мне вместе с Ермолинским и сказал:

— Мы с вами все это репетировали как бы сняв шапку перед величием ума и гениальности нашего героя. А теперь наденьте ее и помните: он — человек, он такой же, как все мы, простые смертные, как вы. Ни пуха ни пера!

— Идите к черту! — ответил я по традиции, надел на себя цилиндр и пошел на сцену.

Об остальном уже судили зрители. Спектакль прошел за пять лет более трехсот пятидесяти раз, охотно посещался и имел успех не только за счет достоинств пьесы и режиссуры, но и безусловно за счет блистательной игры Лилии Гриценко в роли Нины Чавчавадзе. (Это тема особая, заслуживающая отдельного внимания.)

Разговор о «празднике», кстати, связан именно с участием Л. Гриценко в этой работе.

Надо сказать, что начало пьесы, до Тифлиса, было все построено на сценах, в которых выяснялась политическая,

идейная, гражданская позиция Грибоедова. И тут наступал критический момент, если бы и дальше шли такие эпизоды, то зритель, если бы и не сбежал, то закис. Но тут появлялась Нина и начиналась любовь.

Я никогда, ни до ни после, не работал над такими ролями, поэтому я прошел все то, что прошел Сергей Александрович, когда писал все те документы, восемь месяцев купался в этом. Я очень любил читать эту пьесу вслух, и при всяком удобном случае, когда собиралась компания, у меня ли или я шел куда-то в гости, я читал эту пьесу. Я прочел ее от начала до конца много-много раз, и мне это очень в жизни помогло.

Но на репетициях больше всего времени и сил отдавалось именно этим «идейным» сценам. Работа же над лирическими сценами с Ниной все откладывалась «на потом». Но мы исподволь, между делом сами встречались с Лилией Гриценко, оговаривали их, обсуждали.

Однажды я принес опубликованные письма Грибоедова к Нине, усадил ее против себя и прочел их все, шестьдесят три письма, прочел их прямо в глаза ей, как письма Лиле от меня — Бориса. И после одной репетиции наша дуэтная сцена нам показалась сделанной. Правда, самим как-то не верилось в это, и мы попросили Яншина и Ермолинского посмотреть нас и проверить нашу работу.

Ночью, после окончания спектакля. На пустой сцене, в пустом зале, при тусклом свете единственной дежурной лампочки, поставив первую попавшуюся под руку банкетку, мы проиграли наши сцены. И…(вот тебе раз!) все прослезились, и артисты и наши первые зрители. От радости. В таком примерно виде, после небольшой доработки с Яншиным, сцены эти и вошли в спектакль.

Очередной театральный парадокс: кошмары без слез и праздник со слезами.

Я уже говорил об успехе спектакля, но не могу не упомянуть, что каждое мое появление на сцене первые минут двадцать были для меня нелегким испытанием. На сцену выходил человек, ничего общего внешне не имевший со своим оригиналом. И мне каждый раз приходилось преодолевать естественное недоверие зрителей, пока они ни забывали об этом, подчиняясь ходу действия и увлекаясь им.

Поэтому я так хорошо помню первую картину, в которой происходило следующее — после упомянутой сценки появляется Алексашка и передает Грибоедову по поручению Ермолова, что приехал фельдъегерь Уклонский арестовывать его, пока он сидит у Ермолова, но скоро придет сюда и надо уничтожить все бумаги,

которые могут скомпрометировать. Грибоедов тут же собирает весь свой архив и уносит его.

А основной архив остался в Армавире, но это уже не по пьесе, а по истории, и когда Уклонский повез Грибоедова в Петербург, в Главный штаб, на перекладных заехали в Армавир и взяли сундук с главными компрометирующими письмами. С этими письмами Грибоедова через Москву провезли, через Питер, а потом в Главном штабе фельдъегерь сдает его вместе с сундуком, и тот, ничтоже сумняшеся, говорит: «Ну, а это я возьму с собой»! И берет с собой в камеру этот сундук, нахально. А утром к нему приходит навестить его Фаддей Булгарин и забирает этот сундук и дома сжигает его содержимое. Фаддей Булгарин — доносчик, стукач, сволочь. Это темное пятно в биографии Грибоедова. А может, белое пятно. Непонятно было, в чем тут дело. «Фаддею „Горе“ мое завещаю…» И вот Ермолинский проливает некоторый свет на эту историю. Во всяком случае, дает свою версию. У него была ночная сцена в доме Булгарина, после того как его выпустили из тюрьмы с очистительным аттестатом. Грибоедов спит, входит Леночка Булгарина, жена Фаддея, он просыпается, рассказывает о том, какой сон ему приснился — ему снилось все связанное с допросом, с тюрьмой, а она начинает ластиться к нему, напрашивается на любовь. Сцена заканчивается тем, что Грибоедов дает ей очень деликатный отпор: «Не будем чрезмерно увлекаться дружбою, я по себе знаю уж как опасна», — говорит ей Грибоедов. Леночка была одной из самых красивых женщин Петербурга, и она была влюблена в Грибоедова, хотя, кто в Грибоедова не был в то время влюблен. Роман, конечно же, был, а Фаддей был подкаблучником и потому все, что он делал для Грибоедова, это все было через Лену. Ермолинский на это намекает, но не развивает это в действии, но такой эпизодик был, и он объяснял пытливому зрителю, откуда все происходит. Правда, в опубликованном варианте сцена эта изменена, роль Лены вообще выпала, уж не знаю, по каким соображениям.

Возвращаясь к «Грибоедову», не могу не остановиться на некоторых знаменательных совпадениях. 14 декабря — день рождения Сергея Александровича Ермолинского. 15 декабря — день рождения Александра Сергеевича Грибоедова. 15 декабря 1951 года мы и выпустили наш спектакль. В эти же дни вышла книга Нечкиной «Грибоедов и декабристы».

Работа над пьесой «Грибоедов» многому меня научила и в чисто профессиональном отношении, и в этическом взбудоражила меня, заставила серьезнее думать об искусстве актера. Спектакль был одним из самых значительных событий в моей жизни.

Я одного не могу понять, почему пьесу больше не ставили. Очень ведь хорошая пьеса и такой успех имела.

В. КАВЕРИН [135]
Из книги «Письменный стол» [136]

Восточная пословица говорит: «Великое несчастье, когда нет истинного друга». Среди многочисленных неудач Булгакова (чтобы перечислить их на странице, не хватило бы места) в одном отношении ему решительно повезло. Он встретился и на всю жизнь сошелся с С. Ермолинским — истинным литератором, строгим ценителем искусства, много работавшим в прозе, драматургии, кинематографии.

Дружба бывает разная: кто из нас не помнит пушкинское «Воспоминание»:

> Я слышу вновь друзей предательский привет
> На играх Вакха и Киприды.

Десятки исследователей пытаются разобраться в сложных взаимоотношениях поэта с Н. Раевским, с Жуковским и даже с Гоголем, которому Пушкин подарил сюжет «Мертвых душ», не потребовав за это золотой портсигар.

Но нечего будет делать историкам литературы, если кому-нибудь из них придет в голову заняться историей отношений между М. Булгаковым и С. Ермолинским. Это сделано и сделано с блеском. Никому из них никогда не удастся лучше рассказать, какую роль сыграла эта дружба в жизни одного из самых талантливых писателей современности.

Говорят, что истинная любовь слепа. Но С. Ермолинский любил своего друга отнюдь не слепо. Он внимательно всматривался в каждое движение его души и, уж конечно, в каждую написанную им строчку. Ему удалось то, что едва ли могло удасться тем, кто пытался познать личность Булгакова по его произведениям. Можно смело сказать, что трагически-счастливая жизнь Михаила Афанасьевича вошла в его душу и, может быть, незаметно для него самого сделала его бесконечно богаче. Ведь заразительны не только зло, ненависть, честолюбие, жестокость. Заразительны и честь, и мужество, и желание добра, и гордость. Вот на чем были незримо построены эти отношения — на обмене мыслями и чувствами, на советах в трагических обстоятельствах, на тонкости в стремлении оставить неразгаданное — неразгаданным, на глубоком (насколько это

возможно) понимании друг друга.

Статья С. Ермолинского не историко-литературное произведение, хоть и не сомневаюсь, в дальнейшей «булгаковиане» исследователи волей-неволей должны будут ссылаться на этот «исповедальный отчет».

М. Булгаков всю жизнь испытывал страстное стремление раскрыть перед читателем правду, — этот свет правды озаряет то, что о нем написал С. Ермолинский.

Можно было бы еще много сказать об этой работе, которая поднимает автора на высоту выразительной прозы. Но еще одно соображение высказать решительно необходимо: мы много говорим о том, что надо найти новый, единственно верный синоним для понятий истины, мужества, чести — синоним, который тронул бы молодое сердце. Так вот, не надо никаких синонимов: надо воочию, вживе показывать жизнь таких людей, как Булгаков, — людей, посвятивших себя рыцарской верности, не боязни трудностей и умению восхищаться, радоваться жизни, несмотря ни на что. Именно таким и показал нам С. Ермолинский великого писателя — с его любовью к людям, с его беспредельным трудолюбием, с его трогательной благодарностью за «дар жизни», который (к счастью для нас) вдохнула в него природа.

АНДРЕЙ ХРЖАНОВСКИЙ [137]
Дольше века [138]

В том, что Сергей Александрович Ермолинский будет писателем, он не сомневался с восьмилетнего возраста. Именно тогда он написал письмо Льву Николаевичу Толстому, в котором спрашивал, что нужно для того, чтобы стать писателем. Все вокруг сомневались, что придет ответ. Все, кроме Сережи. И Лев Николаевич ответил ему. Этот ответ теперь может прочесть каждый в собрании сочинений классика.

Особую известность принесли Ермолинскому его сценарии к первым фильмам Ю. Райзмана — «Каторга», «Земля жаждет», знаменитый «Танкер „Дербент“» по книге Ю. Крымова, «Дело Артамоновых» по М. Горькому. Его приглашал в соавторы М. Шолохов («Поднятая целина»), А. Хмелик («Друг мой Колька»), несколько поколений засматривались «Неуловимыми мстителями» по сценарию С. Ермолинского и Э. Кеосаяна.

Из фильмов, увиденных мною в юности, я выделяю райзмановскую «Машеньку» не только потому, что был очарован исполнительницей заглавной роли, но прежде всего из-за хорошо выстроенного повествования, авторство которого было приписано

в титрах единолично Е. Габриловичу, ибо его соавтор — С. Ермолинский в это время находился в тюрьме. Ныне соавторство Ермолинского восстановлено во всей справочной литературе по кино.

С. Ермолинский был арестован в 1940 году, вскоре после смерти М. А. Булгакова. На допросах из него выбивали — также и в прямом смысле этого слова — показания о том, что Булгаков являлся главой контрреволюционного заговора, а друзья писателя — его соучастниками. Ермолинскому пришлось проделать путь сквозь все круги «дьяволиады», начавшиеся на Лубянке и в Бутырке и закончившиеся ссылкой в казахской степи.

И теперь, спустя годы после смерти Булгакова и Ермолинского, нечистая сила снова нет-нет да и прохаживается по Москве, пытаясь бросить тень на людей безупречно порядочных. Один из них — покойный писатель Лев Разгон в свои девяносто лет вынужден был дать публичную пощечину такому вот клеветнику. Я не знаю, что сделал бы или сказал по этому поводу С. А. Ермолинский. Думаю, он бы пожал благородную руку Л. Разгона. А может, дал бы совет (С.А. был замечательным советчиком и блистательным профессиональным редактором) прислушаться к Пушкину, считавшему недостойным обращать внимание на негодяя, плюнувшего сзади тебе на платье.

Сейчас я бы не мог сказать, когда произошла моя первая встреча с Сергеем Александровичем Ермолинским.

Тогда ли, когда мы сняли дачу в Переделкино, где наш сын проводил первое в своей жизни лето, и мы, состоя при его дворе, зашли за чем-то в Дом творчества писателей. Возможно, там я в первый раз увидел изящного пожилого седовласого господина — моя жена была знакома с ним раньше, представила меня, и тогда я впервые пожал его красивую руку с булгаковским перстнем, повернутым (от сглазу) сапфиром внутрь. Историю этого перстня я узнал позже. Когда Сергей Александрович шел читать свою пьесу «Грибоедов» труппе МХАТа, он страшно волновался, и Елена Сергеевна Булгакова сняла с пальца перстень и, надевая его на руку Ермолинского, сказала: «Он принесет вам удачу. Миша всегда носил его камнем внутрь, но в особо важных случаях поворачивал сапфиром вверх, чтобы усилить его магнетическое действие». Позже, когда Ермолинский возвращал перстень Елене Сергеевне, она попросила его оставить у себя это кольцо в память о Булгакове.

Возвращаюсь в Переделкино. Может быть, именно тогда и там, повстречавши Ермолинского на дорожке, ведущей к главному корпусу Дома творчества, я впервые ощутил себя посетителем дворянского благородного собрания, стиль и манеры

которого впоследствии были так обезображены мосфильмовскими статистами. Легкий, но со знаком «фермато» наклон головы и подразумеваемый, как звук и как ощущение шестого позвонка, но только подразумеваемый, щелчок каблуков щеголеватых заграничных туфель — одно из первых движений, увиденных мною в исполнении Ермолинского, впоследствии разученных под руководством его жены Татьяны Александровны Луговской нашим маленьким сыном.

Или наше знакомство случилось позже, когда Сергей Александрович явился с визитом на нашу дачу. Помнится, я был увлечен в то время чтением стенограммы допросов Колчака и пересказал несколько эпизодов С.А. «Слушайте, так это безумно интересно!» — воскликнул он с энтузиазмом, выдававшим в нем человека, знающего цену достоверным историческим сведениям и еще кое-чему.

Это было счастливое дождливое лето, и быть может, самым прекрасным посреди всех дождей и туманов была «ермолинская» терраса с плетеными стульями, дятлообразным постукиванием пишущей машинки, пасьянсами и разговорами, оплечными образами друзей, с периодичностью незримо действующего механизма, как фигуры Вита Ствоша на часовой башне Краковского собора, возникавшими на фоне травы и деревьев в прямоугольнике окна; с весело «стреляющим» в руках В. А. Каверина японским зонтиком, думаю, туземцы, друзья Миклухо-Маклая, так же восторженно и простодушно удивлялись чудесам цивилизации, как Вениамин Александрович восхищался этим «фокусом»; с просвечивающей сквозь прозу жизни мировой озабоченностью Наташи Крымовой, с горестной складкой губ, ежедневно вкушающих за всех от древа познания добра и зла. Изредка заглядывал Анатолий Эфрос — он тем летом репетировал «Отелло» и дописывал книгу на соседней даче. Время от времени возникали в раме окна Леонид Лиходеев со своей женой красавицей Надей, Даниил Данин, Арсений Тарковский. Мариэтта Чудакова, Леонид Зорин, Сергей Юрский, Наталья Тенякова, Борис Жутовский, Натан Эйдельман. Когда «терраса» переезжала в Москву, на ней появлялись в добавление к вышеозначенным гостям Наталья Ильина, Валентин Берестов, Наталья Рязанцева, Людмила Петрушевская, захаживали и Владимир Лакшин с женой Светланой, и Алла Демидова. В разное время, и вместе и порознь Сергей Александрович и Татьяна Александровна дружили со Шкловским и Ахматовой, Татлиным и Коонен, Раневской и Пастернаком, Заболоцким и Чиковани, Тышлером и Малюгиным.

Я перечисляю эти имена, чтобы читателю стало понятно,

какой притягательной силой обладало семейство С. А. Ермолинского и Т. А. Луговской, какая удивительная атмосфера царила в их доме. Мало где так славно говорилось, весело дурачилось, сладко елось и пилось, как под сенью их абажура. В то время как Татьяна Александровна раскладывала на террасе пасьянс, Сергей Александрович любил прогуляться по улицам Переделкино. Чаще всего маршрут пролегал по улицам Серафимовича или Павленко. При этом Сергей Александрович никогда не рассказывал, что именно последний завизировал ордер на его арест. Только позднее, уже после смерти Сергея Александровича, я прочел в его тогда еще не опубликованных воспоминаниях, что членов Союза писателей могли арестовывать лишь при наличии ордера, подписанного одним из секретарей СП. Фадеев, к которому обратились чекисты, отказался это сделать, но далеко ходить им не пришлось, в соседнем кабинете нашелся Павленко, автор романа под многообещающим названием «Счастье».

Теперь, как говорится, задним числом, я вспоминаю шестидесятые годы, друга своих студенческих лет Гену Шпаликова и то, как он позвонил мне, сказал, что надо увидеться *немедленно,* — Гена любил это слово. А едва мы встретились, он обрушил на меня шквал новостей и признаний: «Ты не представляешь, с каким человеком я познакомился! Как, ты не знаешь этого писателя? Он же написал „Грибоедова“». («Грибоедова» я действительно знал, московские афиши конца пятидесятых годов невозможно было представить себе без этого спектакля). «И потом, — продолжал Генка, — он дружил с Булгаковым, он был его ближайшим другом, у него есть воспоминания о Мастере».

Помню, в том, что говорил тогда Гена, было такое соединение «поэзии и правды», — художественного и житейского, что у меня навсегда — и, должно быть, с тех именно пор осталось ощущение, что история дружбы с Булгаковым не менее прекрасна и, главное, не менее увлекательна, чем вышедший в то время булгаковский роман, а пьеса про Грибоедова, наоборот, являет собой документальный репортаж про еще одного, общего с Булгаковым и со Шпаликовым друга Ермолинского.

«Ты обязательно должен с ним познакомиться!» — убежденно закончил Гена. Ради этой перспективы стоило сохранять здоровье, за наличие которого надлежало немедленно выпить. «Есть еще хорошие люди в нашей литературе!» — подвел итог «заседанию» Шпаликов.

Впрочем, есть предположение о еще более раннем знакомстве моем с Сергеем Александровичем. Возможно, он был в числе

самых первых людей, увиденных мною на этой земле. Дело в том, что до войны С.А. жил в Мансуровском переулке, в доме № 9. Читая об этом в его воспоминаниях о Булгакове, я невольно вздрогнул: «В сухой зимний денек, особенно, когда солнечно было, Михаил Афанасьевич появлялся у меня. Я жил недалеко, в Мансуровском переулке, в небольшом деревянном доме. Перейдя Остоженку, можно было переулком спуститься к Москве-реке. Поэтому лыжи стояли у меня, и наша прогулка начиналась прямо из моего дома. Он… натягивал неизменный вязаный колпак, и мы, закрепивши лыжи уже во дворе дома, отправлялись в поход».

Я родился в доме напротив, под 10-м нумером.

И кто знает, мы могли составлять единый обоз, двигавшийся по направлению к реке: моя двадцатилетняя кузина, которой доверяли гулять со мной, гордая возможностью без усилий обмана выглядеть матерью рядом с изделием якобы собственного изготовления, сажала меня в санки и вывозила на белый снег зимы. Мы пересекали Остоженку и по Коробейникову переулку спускались к реке.

Любимая с детских лет Пречистенка была осознана мною как общая родина: в доме по улице Фурманова, где жил Булгаков, жили и мои друзья. Другой мой одноклассник проживал над аптекой, куда С.А. ходил за лекарствами и кислородными подушками для больного Булгакова. Наконец, история, описанная у Ермолинского, про то, как Николай Робертович Эрдман приехал на одну ночь из Вышнего Волочка, где он находился в ссылке, проститься с Булгаковым, поразила меня еще одним совпадением: в ней увидел я повторение хорошо знакомой мне с детства истории посещения Эрастом Павловичем Гариным своего опального друга в Сибири (Эрдман жил в Енисейске, на улице, между прочим, Сталина, а Гарин прилетел к нему на гидроплане за несколько тысяч километров — всего на несколько десятков минут).

«Сырую даль, рассвет, дома без труб, железных крыш авторитетный тезис» — все это я видел в доме у Гариных. Лучшие из всех виденных мною акварельных пейзажей — улицы и закоулки Вышнего Волочка — принадлежали кисти пасынка Колчака, Алексея Тимерева, так же отбывавшему ссылку в тех краях. «Так это невероятно интересно!» — слышу я снова голос Ермолинского.

Вообще, я прихожу к выводу, что С.А. обладал какой-то сверхъестественной эманацией, притягивающей к нему невероятные совпадения. Так оказалось, что первая посылка, полученная им в голодные времена казахской ссылки от Елены Сергеевны Булгаковой, была собрана заботливыми руками

подруги и соседки Е.С. по ташкентскому двору. — Татьяной Александровной Луговской, с которой С.А. тогда еще даже не был знаком и мужем которой стал впоследствии.

Не раз я поражался тому, насколько тесно, почти мистически, переплеталась моя жизнь с жизнью этого замечательного человека еще до того, как он, без малого двадцать лет назад, в день Ильи Пророка, взошел в крестильню церкви Преображения Господня в Переделкино и, не желая ни в чем подменять условностью полный ход обряда, поднял на руки своего тогда уже пятилетнего крестника — моего сына. А было тогда С.А. восемьдесят лет.

Так я до сих пор не знаю, когда познакомился с С. А. Ермолинским. Знаю только, что все эти годы меня не покидало ощущение всю жизнь длившегося, судьбой дарованного родства.

В советской иерархии применительно к творцам существовала своя табель о рангах, где они подразделялись на «известных», «знаменитых», «выдающихся», «крупнейших» и так далее. Масштаб литературного дарования С. А. Ермолинского оценит история. Его же преданность М. А. Булгакову и память о нем, верность друзьям, честное служение слову делают Сергея Александровича, родившегося вместе с ушедшим от нас столетием, рыцарем без страха и упрека на многие будущие времена — до тех пор, пока будут в чести сами эти понятия: благородство, достоинство, любовь к ближнему и верность своему делу при любых обстоятельствах, обязательная даже для тех, кого Лев Толстой не успел благословить на это служение.

СЕРГЕЙ ЮРСКИЙ [139]
Свет позапрошлого века [140]

«Она приходила к нам и, остановившись в передней, кричала: „Таня, где вы? Посмотрите мое новое пальто! Идите скорее, а то я еле стою на этих проклятых шпильках, кто их только выдумал? Не могу, упаду!“ Ей до крайности важен был суд моей жены. Она вообще любила поговорить с ней — с юморком — о модах и обо всем на свете. Но это обычно было вторым отделением программы ее визита. Повертевшись, как манекенщица, бросала его роскошным жестом на пол и появлялась у меня в кабинете. Сразу преобразившись, собранная и деловитая, она сообщала мне новости. Их всегда было много. Все сразу завертелось, закружилось вокруг нее. „Театральный роман“ безусловно, будет напечатан в „Новом мире“. Заходил Александр Трифонович Твардовский и сообщил…»

Боже мой, я их всех знал! Я вижу ясно эту переднюю и этот кабинет, потому что много, много раз бывал там. Я запах еще не забыл. Пахло множеством добротных книг, кофе, коньяком, слегка истлевшими коврами и чистым крахмальным бельем. В этих комнатах бывало по-особенному хорошо. По-московски хорошо. Как-то по-старому, по-небывалому… и вместе с тем… по-привычному хорошо. В этих комнатах бывало так, как должно быть!

И я знал их всех. Таня — это Татьяна Александровна Луговская, жена Сергея Александровича. «ОНА», которая вертелась, демонстрируя пальто в передней, это Елена Сергеевна Булгакова — жена великого Михаила Афанасьевича. Твардовский обещал напечатать «Театральный роман» — значит, это зима 64–65-х годов. Адрес: у метро «Аэропорт», улица Черняховского, со двора, вторая парадная, четвертый этаж. А текст первого абзаца — из книги Ермолинского, вышедшей в 82-м году. В книжке — пьесы, сценарии и сто страниц воспоминаний о Булгакове, которые я и процитировал.

Хорошее слово — литератор. Поэт — это как-то слишком возвышенно, писатель — слишком уперто в ремесло; сценарист — совсем прагматично. А вот литератор — хорошо. Сергей Александрович Ермолинский был литератором. И по профессии, и по складу мышления, и по кругу интересов. Его речь, его кодекс чести, его юмор — все это было дворянской, университетской закваски с филологическим уклоном. Странным образом от него как-то отскакивал упрощенный советский стиль общения. Он был, что называется, «человек с правилами», и, соприкасаясь с ним, каждый, попадающий под его обаяние, осознавал, что, собственно, так и должно, что человек и должен быть «с правилами», на то он и человек.

Однако напомню (я так хочу, чтобы нынешние молодые ясно представили его себе) — жил-то он на этой земле, в нашей стране. Сергей Александрович прошел тюрьму, ссылку, долгий запрет на проживание в столицах и крупных городах. Он знал не просто бедность, но нищету. Многие годы безденежья и бездомья. Он вполне ознакомился с изнанкой жизни. Но и свет жизни не обошел его — был успех и признание в кинематографе, были времена бурных загулов и веселья, несмотря ни на что. Были страсти, была любовь. Была, наконец, дружба с Булгаковым, определившая многие радости и беды его дальнейшей жизни.

В замечательном предисловии Натальи Крымовой к уже упомянутой книге Ермолинского нельзя не обратить внимания, как исчезает, «проваливается» его биография в сороковые годы. Это знак времени — категорически нельзя было тогда (подумать

только, в 82-м году!) даже намекнуть, что автор был арестован. Чтобы книгу издали, чтобы «не выбросили из плана», надо было сказать — «война застала Ермолинского далеко от Москвы». Да и сам Сергей Александрович в своих воспоминаниях запретил себе касаться темы тюрьмы и ссылки. Наброски второй, не подцензурной биографии писались «в стол» и долгое время были скрыты даже от дружеских глаз. Булгаков избежал репрессий. Страшно сказать, но, судя по всему, спасением от ареста для него стала смерть. Темная угроза кружилась над ним и в результате обрушилась на его младшего друга — Сергея Ермолинского.

Впервые я увидел Сергея Александровича в 1946 году в Грузии, в местечке Сигурамо, где грузинские писатели фактически скрывали его — поднадзорного — от властей. Здесь он начал работу над пьесой о Грибоедове — одним из главных свершений его жизни. Здесь крепко и на всю жизнь они подружились с моим отцом Юрием Сергеевичем Юрским. Я мог наблюдать со стороны этот роскошный многодневный диалог образованных, мыслящих людей, которые заряжали друг друга интеллектуальной энергией. Внизу текла Арагва, вокруг были горы и деревенская тишина, и в это время можно было говорить не опасаясь последствий. Грядущее было смутным, но они умели радоваться настоящему и в ежедневных застольях поднимали стаканы с вином за великолепие этих мест и за грузинское гостеприимство.

Аристократичность была неотъемлемой чертой Сергея Александровича. В пластике, в манере речи, но главное в независимости от мелочей быта. Его не угнетали окружающие неурядицы. Абсолютно естественно он умел пренебречь ими. Бывало, он жил у нас в Ленинграде на Толмачевой улице — уже в 50-е годы, но все еще бесправный. Он был четвертым в нашей единственной комнате. Комната была частью гигантской коммунальной квартиры с одной кухней и одной ванной на 30 человек. Но когда дядя Сережа просыпался на своем пролежанном диванчике и начинал пародийно важный и очень смешной утренний монолог, казавшееся важным становилось незначительным, на первый план выходили иные ценности, и утро казалось великолепным.

В разные годы Ермолинским были написаны сценарии к фильмам, ставшими знаменитыми, — «Танкер „Дербент“», «Машенька» (совместно с Е. Габриловичем), «Неуловимые мстители», «Дело Артамоновых». Но сам он большее значение придавал своей театральной драматургии и прозе.

Может быть, причиной тому было ВРЕМЯ, о котором он писал в пьесах и театральных фантазиях, — тот самый XIX век, который

влек его, тот, ТЕПЕРЬ УЖЕ ПОЗАПРОШЛЫЙ, ВЕК, к которому он духовно принадлежал. Гиганты XIX века — Пушкин, Грибоедов, Денис Давыдов, Толстой, Островский — они составляли его интерес, о них писал он свои пьесы, сценарии, хроники.

Хочется подчеркнуть важную особенность творчества Ермолинского: избрав героями своих произведений реальных людей, он, прежде всего, оставался СОЧИНИТЕЛЕМ. Мемуары и архив были для него важным, но не ведущим источником. Ведущим было изображение, духовное сближение, опирающееся на интуицию. И его «Драматические сочинения» — это диалог с теми, в кругу кого витала его мысль, к кому обращалось сердце. Думаю, во многом на этом стояла их дружба с Булгаковым, — несмотря на разницу в возрасте, несоизмеримость масштабов, отличия писательской манеры, оба они ощущали своим фундаментом великую русскую литературу XIX века.

Незнающие, удивитесь! — Мальчик Сережа Ермолинский, 1900 года рождения, успел «обменяться письмами» со Львом Николаевичем Толстым! Да, да! Восьми лет от роду он написал письмо великому старику, будто своему знакомому, и получил ответ, и ответ опубликован в Полном собрании сочинений классика. Можно снисходительно улыбнуться. А можно почувствовать в этом и мистическую связь веков, и естественную простую преемственность.

Сергей Александрович Ермолинский скончался в 1984 году. В последние годы жизни — взрыв интереса «булгаковедов», расплодившихся в количествах немыслимых. Некоторые из них, не знавшие ни дружбы Булгакова, ни допросов в КГБ по поводу Булгакова, ни тюрьмы и ссылки «за Булгакова» стали вести «второе следствие», выискивая несовпадения дат, противоречия в дневниковых записях и делах более чем полувековой давности. Пользуясь открывшейся безграничной свободой и модой на любые сенсации, они попытались бросить тень на светлое имя Ермолинского, вбить клин между ним и вдовой Булгакова. Сергей Александрович умер. Умерла и его жена — художник и великолепная писательница Татьяна Александровна Луговская.

Кто защитит память о нем?

Мы! Все те, кто знал его, кто читал его, кто принадлежал к его кругу!

Мы — любившие этот дом, черпавшие несравненную радость от общения с его хозяевами, честью своих имен оградим память о нем от любого посягательства. Кто такие мы? Это довольно постоянный состав, собиравшийся по торжественным и не очень торжественным дням и вечерам у Ермолинских. Натан Эйдельман, Даниил Данин — этих двоих, выдающихся, уже не

стало, Борис Жутовский, Наталья Крымова, Людмила Петрушевская, Наталья Рязанцева, Андрей Хржановский, автор этих строк, наши родные и близкие, и еще многие, не хочу утомлять читателя слишком длинным перечнем имен. Это были веселые собрания. Это были остроумные собрания. Это были душевные собрания.

И я свидетельствую: внутри этого круга царили благорасположенность и доверие. Елена Сергеевна Булгакова — ее я тоже знал лично — относилась к Сергею Александровичу как к человеку близкому и родственному. Во всем этом были следы отношений того давнего круга тех времен, когда доверительно читал Михаил Афанасьевич главы «Мастера и Маргариты».

Есть книга «Драматические сочинения» Сергея Ермолинского. Есть книга «Я помню» Татьяны Луговской. Есть рукопись второй части «автобиографии» и множество новелл и набросков Ермолинского, которые ждут издания. Есть память в каждом, кто знал этих замечательных людей. Но их самих нет! И некем заменить их. Они были особенные. Они были из того, другого века, который сейчас, прямо на наших глазах, становится позапрошлым.

Н. РЯЗАНЦЕВА [141]
Майский день — именины сердца [142]

Мы познакомились с Сергеем Александровичем Ермолинским в мае 1961 года в Гаграх. Прошло сорок лет, но я отлично помню тот день, а почему — вы сейчас поймете. Но придется начать издалека. Мы с Геной Шпаликовым[143] поженились в 59-ом, а в 61-ом наш студенческий «экспериментальный» стал трещать по швам, и весной Гена затеял примирение. Мы решили начать новую жизнь. Из прежней жизни — с моими родителями — мы были изгнаны, вернее, сами ушли. Для новой жизни были все основания — Гена получил аванс на «Мосфильме» и, узнав, что я тоже скитаюсь, живу у подруги, купил два билета на Кавказ и преподнес их как спасенье: ехать и не рассуждать. Он был горд, ощутив себя «не мальчиком, но мужем».

Был апрель, и знаменитая гостиница «Гагрипш», диковинное деревянное сооружение в стиле «шале», явно стояла пустая. Не сезон, и мы решили непременно поселиться в ней. Я хорошо знала Старые Гагры, бывала там не раз «дикарем», с родителями, были знакомые хозяева, но это не соответствовало замыслу. Новую жизнь надо начинать в хорошем отеле, поутру спускаться в ресторан, заказывать в номер легкое вино и т. д. Цвели глицинии, восхитительно пахло самшитом, кипарисом и турецким кофе, что

варили под старыми платанами. Был первый жаркий день, и солнце зализывало лужи, а мы никогда не бывали на юге весной, когда чисто, тихо, и слышно каждую птицу, и никаких отдыхающих. А в гостинице — «мест нет». Вот же — пустая! А для нас — мест нет. Ясное дело — надо дать взятку, но как это делается — мы не знали. Поставив чемоданы у глициний, не мозоля глаза администраторше, мы совещались и репетировали — часа два. Ближе к закату, оголодав, Гена заложил в паспорт десятку, зажмурился и пошел на позор. Я подсматривала из-за стекла, как он глупо улыбается непреклонной тетке, готовый сию секунду бежать с покрасневшими ушами или обратить нашу взятку в шутку. Это длилось секунду. Через минуту потребовался мой паспорт, мы получили номер. Правда, самый плохой, под крышей, почти без окна — окно упиралось в скалу.

Мы зажили на широкую ногу, и деньги наши стремительно таяли. Ими распоряжался Гена, я даже не знала, сколько их, но все чаще мы заходили на почту — деньги за сценарий должны были прислать, но все почему-то не слали; Гена дал телеграмму с просьбой выслать их телеграфом. Я стала думать, что бы такое продать. У меня было четыре платья и ситцевый халат. Каждое из этих платьев я помню, потому что сшила их сама, хотя шить не умела и не умею. Я их сшила в знак протеста и независимости от мамы, которая обшивала всю семью. Как ни странно, мои изделия были раскуплены мгновенно, дежурные в гостинице, видимо, раньше нас почувствовали наши финансовые затруднения и с южной непосредственностью приценивались — «почем вы брали этот штапель, я бы для дочки купила рублей за тридцать… А сумку не продадите? Я бы дорого дала…» У меня была редкая вещь — голубоватая самолетная сумка с надписью «SAS», и я ее продавать не собиралась. На мои платья мы продержались дня три, а деньги все не приходили.

Мы обросли новыми знакомыми: в ресторане играли музыканты из Тбилиси, консерваторские ребята, такие же безденежные, как мы, и Гена подружился с ними, а потом и с Сухумской филармонией, приехавшей на гастроли. Они заказали нам песни, у них не было русских текстов для курортной публики, и мы радостно взялись за работу. «Под старым платаном меня подожди, где листья шумят, как прибой… Над Гаграми снова дожди, дожди, а нам расставаться с тобой…» — репетировала солистка с прекрасным низким голосом, а мы сидели под старым платаном и гадали, — заплатят ли они что-нибудь? Хотя Гена представился поэтом-песенником, у него уже была одна песня для кино — «Пароход белый — беленький». Администратор Сухумской филармонии догадался, что мы

голодные, и выдал двадцать рублей. Гена с утра отправился на почту и дозвонился наконец на «Мосфильм». Оказалось, что деньги только вчера выписаны, и надо подождать недельку, пока соберут все подписи…

Гена зашел в кофейню и заложил знаменитому продавцу турецкого кофе свои часы…

В «Гагрипше» жила одна полузнакомая пьющая артистка, она как раз собиралась в Сочи, чтобы получить там у кого-то крупную сумму, а пока одолжила у нас двадцать рублей — последние, и попросила у меня «сасовскую» сумку — до вечера. Она не вернулась. И вообще это была не она, не та артистка, за которую она себя выдавала. Впрочем, и ту, в те годы довольно известную, я никогда после в кино не видела. Так и осталось тайной — была ли это настоящая И.А. или двойница, и мы накручивали сюжеты, веселые ужастики, «страшные истории в детском санатории» про таинственную И.А. — чтобы не плакать над голубой сумкой. «Такую вещь — такой аферистке» — убивалась дежурная.

Гена пошел прочесывать местность в поисках какого-нибудь случайного знакомого. Конечным пунктом назначения был писательский «Дом творчества». Тут нужно заметить, что знакомые попадались часто — то в парке, то на морском вокзале, то прямо в «Гагрипше» — в ресторане. Но к тому моменту мы уже поняли, что не у всякого знакомого стрельнешь десятку, а тем более — попросишь денег на билеты. Вернее, я поняла, да и раньше понимала эту простую истину, а Гена так и не понял — никогда.

Я закрылась в номере и грызла редиску и сухой лаваш. От вечерних посиделок с музыкантами всегда что-то оставалось, но приходилось закрываться от вероломного гитариста Важи, который под видом дружбы со Шпаликовым домогался меня пылко и настырно. Хотелось бежать куда глаза глядят, а я сидела в каморке нашей, тихо, как мышь, без завтрака и обеда, будто меня нет. Не хватало нам только драки на скрипучей лестнице «Гагрипши», битвы на шампурах, что регулярно там случались.

И вдруг — нетерпеливый стук в дверь! И часу не прошло, как Гена ушел, и вот он стоит на пороге, совершенно счастливый, сияющий, и прямо с порога рассказывает, показывает в лицах:

— …Я думаю, — он или не он? Я издалека его увидел, а когда приблизился, думаю, — а вдруг не он? Он сидел вот так, в будке у чистильщика, и этот парень чистил ему ботинки. До блеска, такой бархатной тряпочкой. Он очень долго чистил ему ботинки. А я стоял — думаю, а вдруг он меня не узнает? А когда он встал, я делаю два шага вперед, и по стойке «смирно», чтобы не ушел, стою и говорю: «Здравствуйте, Сергей Александрович! Я

— Шпаликов Геннадий…» Но он и так меня узнал, он обрадовался, они вечером к нам придут в «Гагрипш»…

— Кто он? — спрашиваю.

— Ермолинский! Ну да, тот самый, который «Грибоедов»…

Я, разумеется, знала, кто такой Ермолинский — мы во ВГИКе проходили историю кино, но я и до этого знала — на спектакль «Грибоедов» ходили всем классом, потом обсуждали, и Ермолинский представлялся мне классиком, которого, может быть, и в живых-то нет… Неизвестно и неважно — когда имя уже существует на афишах и в умах, все остальное — существование их физического тела не имеет значения. А у Гены Шпаликова, как ни странно, не было этой «полосы отчуждения» — стариков он не боялся, искал с ними дружбы и говорил по-приятельски. Почтение выражалось в суворовской выправке — подойдет, щелкнет каблуками, поприветствует как положено — и готово дело — старший по званию современник умиляется, удивляется, обнаружив интерес к своей персоне — неподдельный. Гена уже откуда-то знал, что Сергей Александрович прошел тюрьму и ссылку, и пока они прогуливались по парку, ошарашивал его прямыми детскими вопросами. Впрочем, может быть, это было в другой раз — мы потом еще много вечеров проводили вместе, но Гена клялся, что он опять, как дурак, спросил — «За что?», в смысле — «за что посадили?», хотя уже прекрасно знал, что таких вопросов не задают. Всего пять лет прошло с тех пор как наша история стала открываться во всем ее кошмаре. В том 61-ом мы еще не слыхивали — это трудно сейчас представить — даже имени Солженицына, не читали никаких свидетельств очевидцев, но говорили мы только об этом, добывая правду по крохам и намекам. Все пять лет — с 56-го, весь наш любознательный студенческий ум ушел в эти раскопки, в добычу — из третьих рук — знания и понимания. Мы со Шпаликовым ездили в Переделкино на похороны Пастернака, мы знали гнусную историю с романом «Доктор Живаго», но не читали его, и теперь, как ни старайся, не вспомнить тех важных слов и умолчаний, тех ступенек, по которым пробирались, вырастали из самих себя очень советские по воспитанию Гена — суворовец из военной семьи и я — воспитанница Городского Дома Пионеров. Слова, диалоги наши забылись начисто, видимо, глаза, паузы и стихи значили больше.

Почему Ермолинский сразу догадался о наших финансовых затруднениях и сам предложил десятку на обед и сказал, что вечером они придут всей компанией и «что-нибудь придумаем» — я тогда не поняла и сначала страшно стеснялась, до полной немоты. Тот счастливый день закончился большим застольем. Не

всех помню, кто там был, — по-моему, был Александр Хмелик с женой, мы были с ними слегка знакомы до этого, и был Булат Окуджава, еще не знаменитый, и какие-то с ним грузины из Дома творчества. Но мастером грузинского стола оказался Ермолинский. Он замечательно говорил тосты, длинные, затейливые, грузинские. Он любил Грузию особенной любовью — она дала ему приют в трудные годы после ссылки, когда он не имел права жить в Москве и приезжал туда нелегально. Теперь я хорошо знаю биографию Ермолинского, по-настоящему мы познакомились много позже, а тогда… помню веселого моложавого человека в замшевой куртке, неистощимого тамаду. Исчерпав программные грузинские тосты, стали балагурить: Сергей Александрович изображал иностранного гостя, произносил какую-то тарабарщину на несуществующем языке, а Шпаликов играл переводчика, а потом и все остальные, по кругу, переводили с какого-то «неандертальского», давясь от хохота, изображали официальный прием. Только я, когда дошла до меня очередь, ничего не смогла из себя выдавить, сидела букой, с испуганным лицом, молясь, чтобы Шпаликов не напился, не заигрался, не ляпнул что-нибудь некстати этому почтенному седому человеку со строгим — несмотря на все балагурство — именно строгим учительским лицом. Не хотелось впасть в немилость самой истории, а она проступала, — как ни старался он вписаться в молодую компанию — в резких на загорелом лице морщинах, в манерах иных времен. Все старшие — люди военного поколения, комсомольского воспитания — сходу говорили на «ты» с нами, студентами, да и между собой, а Сергей Александрович — неизменно на «вы». Тогда я еще не знала, что они и дома, с Татьяной Александровной говорят на «вы». Мы еще не знали про его дружбу с Булгаковым, да и про Булгакова знали смутно. При том Ермолинский ничуть не походил на старорежимных дедушек из дворян, каких мне изредка приходилось встречать, он был наш современник и коллега, они с А. Хмеликом писали сценарий «Бей, барабан!» для вчерашних вгиковцев Митты и Салтыкова. И Шпаликова он уже успел отличить, обсуждая его сценарий на «Мосфильме», и очень хорошо понимал, что такое сидеть без гроша и ждать гонорара; так что встреча наша не была случайной, это для меня было чудо — «майский день, именины сердца», нечаянный, незаслуженный подарок судьбы.

Разумеется, мы не уехали, а растянули «именины сердца» на неделю. Мы приходили к ним в писательский дом, а Сергей Александрович приходил к нам, с удовольствием отлынивая от сценарных трудов. Он не слишком серьезно относился к

сценарному ремеслу, ощущал себя писателем, вынужденным зарабатывать деньги на киностудии. Он мечтал бросить это хлопотное, неблагодарное занятие, и жалел Шпаликова, предвидя, что его ждет та же судьба. Весенние Гагры не располагали к работе, на каждом углу продавалось местное дешевое вино, начинался пляжный сезон, и кажется, из всего писательского дома один только Булат Окуджава оправдывал название «Дом творчества» — сидел в заточении и что-то писал. Но вечером удавалось его сманить, и он нам пел, долго настраивая чужую гитару — «Море Черное, словно чаша вина, на ладони моей все качается…» Это была новая песня, только что написанная, остальные — их было тогда немного — мы знали, но готовы были слушать еще и еще. Мешало море. Оказалось, под шум прибоя невозможно петь, а писательский дом выходил окнами прямо на пляж. Ермолинский очень любил Булата, и грузины, постоянно их окружающие, нашли другое место для песен. Мы поднимались по темным тропинкам в какой-то дом с апельсиновым садом и там, на террасе, за круглым столом, Окуджава пел все, что попросят, и после каждой песни деликатно отставлял гитару и ждал, когда снова попросят, уговорят. Не могу вспомнить ни дома, ни хозяев, и вся эта неделя слилась в сплошной «праздник, который всегда с тобой». Шпаликов — и в том была его трагедия — хотел, чтобы каждый день был праздником, но это редко получалось. И теперь, сквозь толстую кору времени, все ярче сияют эти светящиеся точки. В нашей бестолковой, нетерпеливой, унизительной молодости наберется таких — два-три островка. Под крылом Ермолинского в нашей семье ненадолго воцарился мир, все заботы были забыты. Он поднимался в нашу мансарду, прилегавшую к скале, и вспоминал про Сигурамо, про Заболоцкого, читал стихи, а про тюрьму и ссылку — не хотел говорить, отмалчивался. И наши «маленькие трагедии» — мой ненаписанный диплом, не сданный экзамен по марксизму, бездомность, безденежье, Генин запущенный в производство, но остановленный первый фильм «Причал» — все невзгоды начинавшейся взрослой жизни отступали, узнавали свое место в масштабах иных трагедий и потерь. Раз нас — бедных промотавшихся студентов — сам Ермолинский привечал — можно было еще потерпеть, не впадать в грех уныния.

Прошло лет восемь, и уже в другой моей жизни я снова встретила Ермолинского, и мы познакомились уже по-настоящему, надолго. И опять это была весна, май, цветущая, благоуханная Ялта. Я туда не приехала, а приплыла пароходом из Одессы, чтобы работать с В. А. Кавериным над экранизацией его

«Открытой книги». Как красиво, литературно это сейчас звучит — морским путем, из Одессы в Ялту, к знаменитому писателю… На самом деле я опять была «женщиной на грани нервного срыва» — в Одессе в четвертый раз решалась судьба моего замученного сценария, из которого впоследствии вышел фильм «Долгие проводы», и она опять не решилась, запуталась между Госкино, студийными интригами, Одесским обкомом. Я оставляла доведенную до отчаяния Киру Муратову в последней надежде — сценарий мурыжили уже четвертый год. Я взяла отдельную каюту, чтобы выспаться, вылечится от всей этой скверны, а ко мне вдруг подселили массовичку-затейницу, пьяненькую и тоже на грани срыва, и они с баянистом репетировали песни у меня над головой, а потом всю ночь она горько рыдала над своим провалом, и рыжий болтливый администратор отпаивал нас коньяком. Она всхлипывала — «я, наверное, слишком академична», и вдруг взвизгивала, топтала свое вечернее платье — «Не хочу, не могу, не буду! Я боюсь их, я их боюсь!» Она боялась публики, проклинала «маскульт» и клялась, что в последний раз… Она была моим кривым зеркалом, я молча проклинала кино и тоже клялась, что в последний раз, допивая скверный коньяк большими глотками, чтобы девушке меньше досталось.

В таком виде я, шатаясь, сошла с корабля, чтобы предстать перед Вениамином Александровичем Кавериным отличником сценарного цеха, молодым профессионалом, со свежим взглядом и конструктивным мышлением. На самом деле хотелось кричать — «не могу, не хочу, не буду!», забросить подальше эту толстую книгу, выспаться и исчезнуть. Ни выгодный договор, ни райские кущи престижного писательского дома не соблазняли меня, и взялась-то я за эту работу с сомнением, ради знакомства с Кавериным.

Но там, в райских кущах, за одним столом с Кавериным и его женой Лидией Николаевной я увидела Ермолинского и жену его Татьяну Александровну. Про нее я много слышала и не могла оторвать от нее глаз. Насмешливая, чуть высокомерная, она, тем не менее, создавала уют и покой. Они дружили с Кавериными, она называла их «дядя Веня» и «баба Лида», в общем, любила подтрунивать над людьми так, что никто не обижался, а напротив, все хотели попасть в зону ее насмешек. Каверин говорил, что она талантлива, и ей непременно надо написать книгу. Литература была для них делом священным, превыше всего. Сценарные мои терзания понимал только Ермолинский. Он был мэтр, его звали, платили, но все сужался круг возможностей. После 1968-го года, когда наши танки вошли в Чехословакию, мы

окончательно поняли, в какой стране живем. Так называемая «оттепель» кончилась, последние остатки иллюзий рушились грубо и зримо. У стариков, умудренных опытом еще худших времен, мы искали ответа и совета — как жить, можно ли жить вообще, служить, но не прислуживаться? Помню, Каверин хвастался — «а у меня нет ни одной ненапечатанной строчки», — когда ему рассказывали про зарубленные заявки и сценарии. В десять утра он ежедневно садился за стол и, если побаливала голова, писал хоть что-нибудь, например, письма. Он повел меня в библиотеку и выбрал сам — что из его собрания сочинений прочитать. А про последнюю книжку — «Перед зеркалом» — выспрашивал с пристрастием, записывал замечания, — он готовил ее к переизданию. В тот момент он уже не сочинял ничего «игрового» — переключился на воспоминания. Как когда-то, в критический момент, «когда русская проза ушла в лагеря», догадался стать детским писателем и написал незабываемые «Два капитана». И гордился, что нашел свою «нишу» — как теперь говорят, а тогда появилось словечко «щель». Перехитрив судьбу, можно и классиком стать. Я невольно — и наивно — сравнивала счастливую судьбу Каверина и переломанную — Ермолинского. «Что ж, это чистая работа», — говорил Сергей Александрович про «Открытую книгу», которую предстояло нам экранизировать в двух сериях для режиссера В. Фетина и артистки Л. Чурсиной. Прямо скажем, — смиряя гордыню: я выросла из этой книги, тем более — Каверин дал мне почитать документы и много рассказывал про подлинную историю пенициллина, про Ермольеву и своего брата Зильбера, который из тюрьмы передавал на папиросной бумаге «вирусную теорию рака», он знал из первых рук всю страшную, погромную историю медицины при Сталине, и в голове у меня не укладывалось, как мог он адаптировать этот трагический материал в занимательную, романтически-«подростковую» книгу, а нам еще предстояло ее адаптировать для кино, и лучше бы мне не знать, как оно было на самом деле. А Ермолинский сказал — «чистая работа». Я в этом сомневалась, да и теперь сомневаюсь. Но ему следовало верить — он уже однажды, за несколько лет до этого, «зарубил» мою заявку на «Мосфильме». Убедительно и нелицеприятно. И я не только не обиделась, но премного ему благодарна. И должна рассказать эту отдельную, мимолетную историю как штрих к портрету Ермолинского-редактора.

А дело было так. Мне дали на студии интересный материал про город Темир-Тау и познакомили с интересным человеком — бригадиром каменщиков Димой Оськиным, который прошел много строек и вел дневники, а в Темир-Тау оказался

корреспондентом многотиражки, увидел, что творится вокруг, как наживаются на комсомольском энтузиазме хапуги-начальники, и душа его содрогнулась. А писал он только от души — чистую правду. И я написала от души подробную заявку про правдолюбца, праведника, и как он всех выводил на чистую воду, и ему это почти удалось. Правда, жизнь продолжила этот сюжет малопригодным для советского кино трагическим апофеозом в Темир-Тау. Не знаю, как сейчас называют это историки, но тогда об этом можно было только шептаться, официальных сообщений не было, а я узнала правду от того же Димы Оськина, оказавшегося в эпицентре событий. Он приезжал в Москву — правду искать. Наивно вооружившись документами и бухгалтерскими отчетами, пытался идти законным путем организованного рабочего контроля. Разумеется, потерпел поражение. Голодный бунт в Темир-Тау списали на уголовников — они пошли громить магазины. А проворовавшееся начальство ушло в Москву, на повышение.

Разумеется, кино про Диму Оськина не могло состояться, его бы закрыли на любом этапе. Худсовет был готов одобрить мою обстоятельную заявку, меня вызвали в Москву из Питера для подписания договора, но вдруг самый старший и самый мудрый из коллегии — Ермолинский — пресек поток всеобщего одобрения и угрюмо сказал: «Ничего из этого не выйдет. Вы здесь смягчите, здесь сбалансируете, а режиссер возьмет белозубого красавца на главную роль, и будет очередная отрава про рабочий класс». Так и сказал — «отрава» — и заставил себя посмотреть в глаза несчастному автору — то есть мне, прибежавшей прямо с поезда заключать договор, и, стало быть, получать аванс. Уж от него-то я не ожидала подобного удара — после тех майских каникул на берегу моря, под пение Окуджавы… Но он был непреклонен и убедил коллегию, что начинать эту работу нельзя. Потом отвел меня в сторону и повторил уже наедине, не стесняясь в выражениях, что меня ждет, если я влезу в эту остросоциальную тему — на радость студии — про рабочий класс! Они-то галочку поставят, а потом будут мурыжить сценарий до полного изничтожения, и приличный режиссер за него не возьмется, а какой-нибудь конъюнктурщик сделает отраву… У меня уже был подобный опыт: сценарии от варианта к варианту испускали дух и списывались за полной никчемностью. А мы, как бабочки на огонь, летели на договора и авансы — на «авось», по молодой дурости. Ермолинский меня пожалел. Теперь-то я ясно понимаю, что он спас мне года два жизни. Давно понимаю. А теперь понимаю, чего ему стоил этот заурядный день на «Мосфильме», куда как приятней сказать «да!», и все довольны,

и день пролетел в улыбках и комплиментах. А суровое «нет» требует объяснений — дотошной аргументации и душевных сил. Помню — вся коллегия мигом разбежалась — сконфуженно, пожимая плечами, мол, старик «рогом уперся», а ему досталось объясняться с автором. Впрочем, я была уже понятливой и плакать не собиралась. А из всего кладбища похороненных заявок и сценариев я никогда не пожалела только об этом «рабочем корреспонденте». Действительно, села «не в свои сани». Действительно, «взрослые» иногда правы, когда «добра нам желают». Я бы напрочь забыла этот досадный эпизод своей сценарной биографии, если б не подружилась потом с Ермолинским. Он помнил. И в весенней Ялте при Каверине, при Татьяне Александровне нет-нет да и вставлял доброе словечко обо мне как о сценаристе. Чтобы уважали. Чтобы человек, «в дальнейшем именуемый Автор», как пишется в договоре, мог сам себя уважать: «держать марку», не бросаться на любую работу, беречь свое имя.

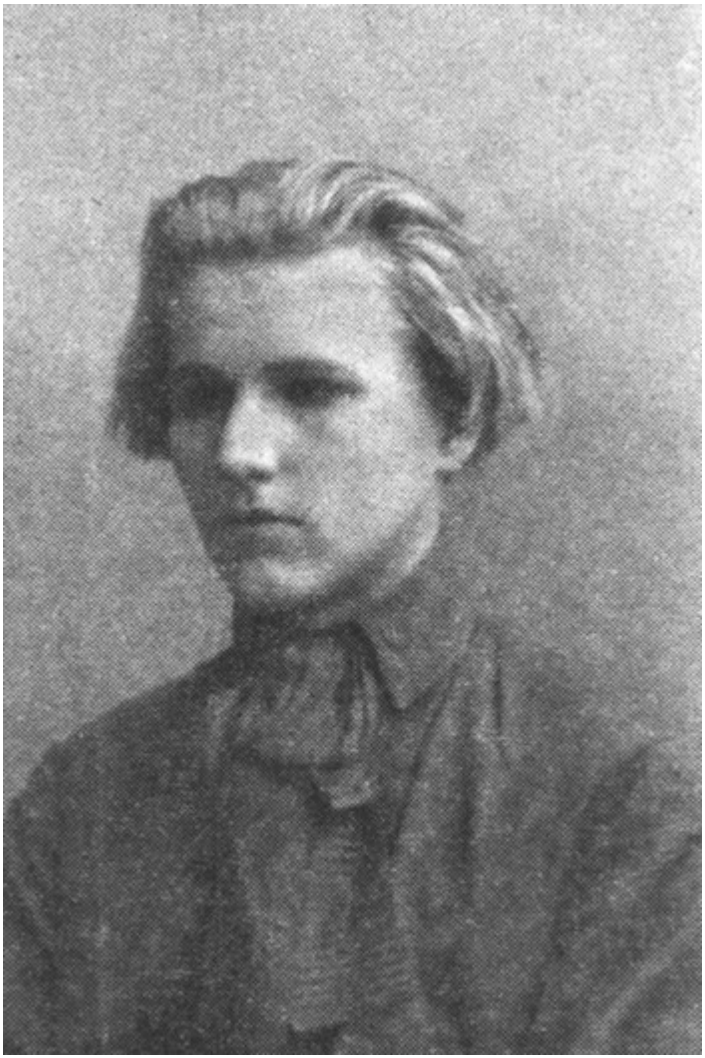
А потом я попала в «святая святых», в кухню Ермолинских, куда не всех пускали. Некоторых — не дальше кабинета. Я бывала там на семейных торжествах, а часто и в будни, и с мужем — Ильей Авербахом — бывала. И много чего еще можно вспомнить. Но об этом могут рассказать и другие, там немало прекрасного народу бывало. А те случаи никто не помнит, я одна помню, и надо, стало быть, записать. И назвать — «Майский день, именины сердца» или «Как Ермолинский спас Шпаликова от голодной смерти на берегу Черного моря».

Иллюстрации

Александр Иванович Ермолинский, отец, 1897

Руфина Юрьевна Ермолинская, мать, (в девичестве Ульянинская)

Таня и Сережа Ермолинские, Вильно, 1906



Сергей Ермолинский, Калуга, 1920

С. Ермолинский и Ю. Райзман

Ю. Райзман, Т. Ермолинская и др. в павильоне, Москва

Семья М. А. Булгакова

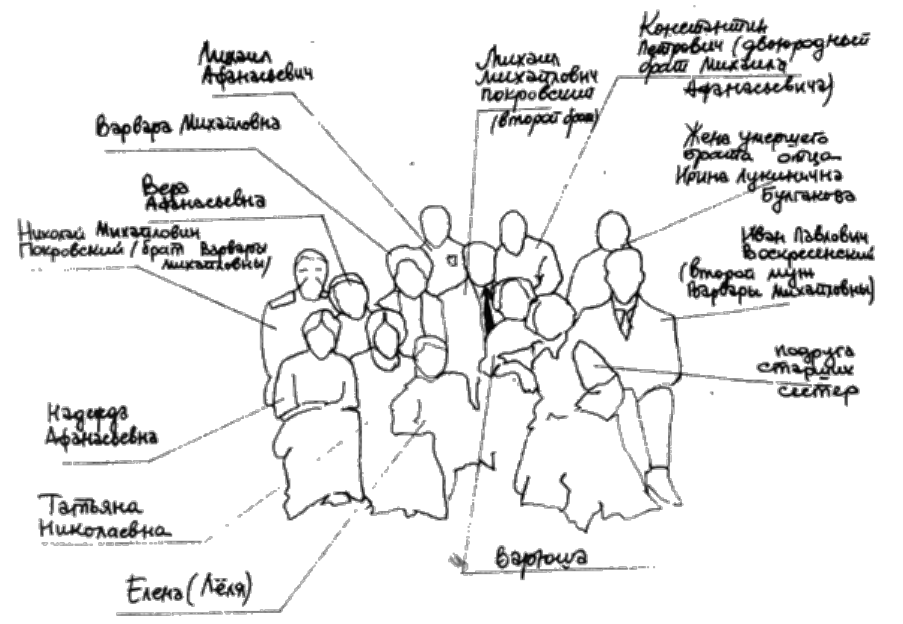


Рисунок фотографии семьи с раскрытием имен

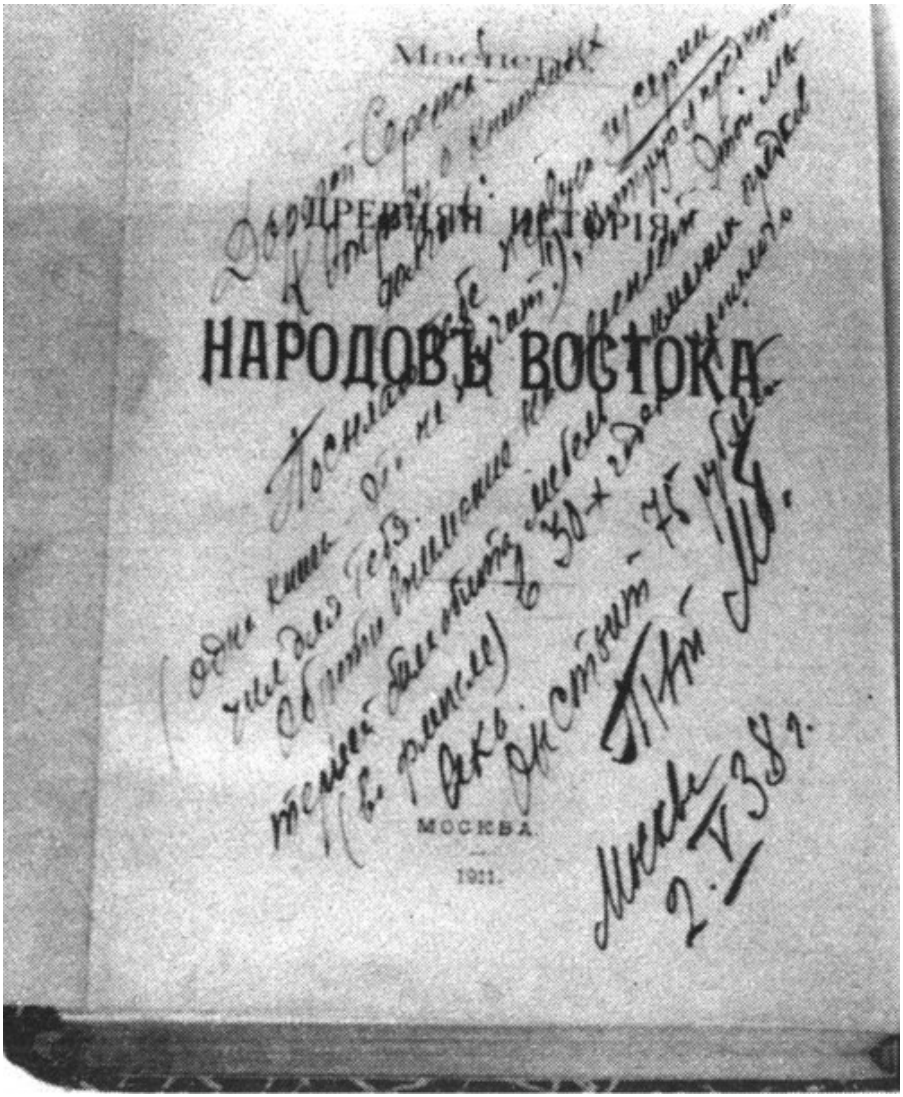
М. Булгаков, середина 20-х гг.

М. Булгаков, 1928

Фотография с дарственной надписью С. Ермолинскому, 1935

М. И. Михельсонъ.

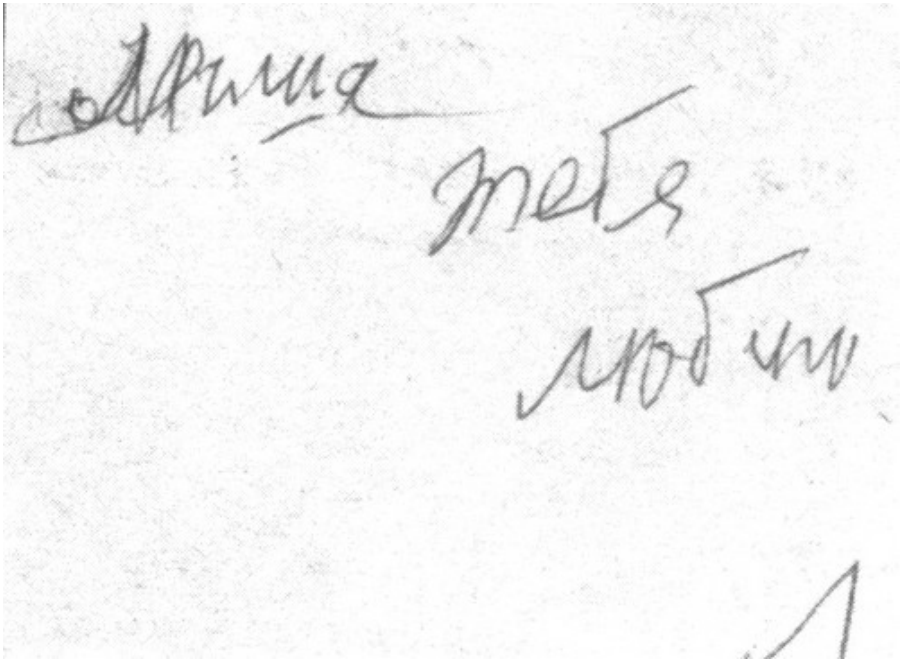
ХОДЯЧІЯ и МѢТКІЯ СЛОВА.



Дарственные надписи на книгах, подаренных М. Булгаковым С. Ермолинскому

М. Булгаков и С. Ермолинский, 1940

М. Булгаков в постели, январь 1940



«Миша тебя любил. Л.» — надпись Е. Булгаковой на обороте фотографии

М. Булгаков и Е. Булгакова, 1940

Фотография Е. Булгаковой с дарственной надписью С. Ермолинского

С. Ермолинский, 1938–1939 гг.

С. Ермолинский в тюрьме

С. Ермолинский после ссылки, 1949–1950 гг.

С. Ермолинский, Т. Луговская, Т. Ермолинская (сестра), Т. Ульянинская, Москва, 1948

С. Ермолинский, В. Седов, М. Седова (Луговская). Т Луговская. 50-е гг.

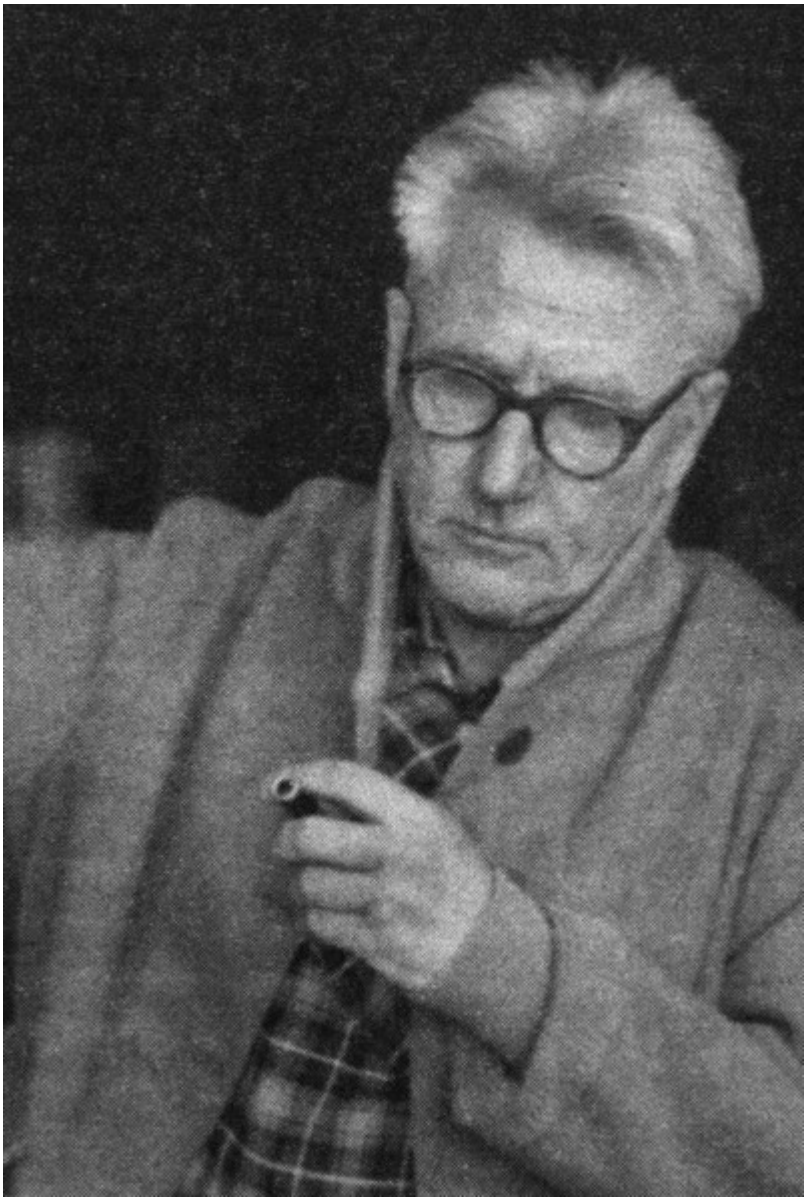
С. Ермолинский и В. Луговской, конец 50-х гг.

С. Ермолинский и Т. Луговская, 50-е гг.

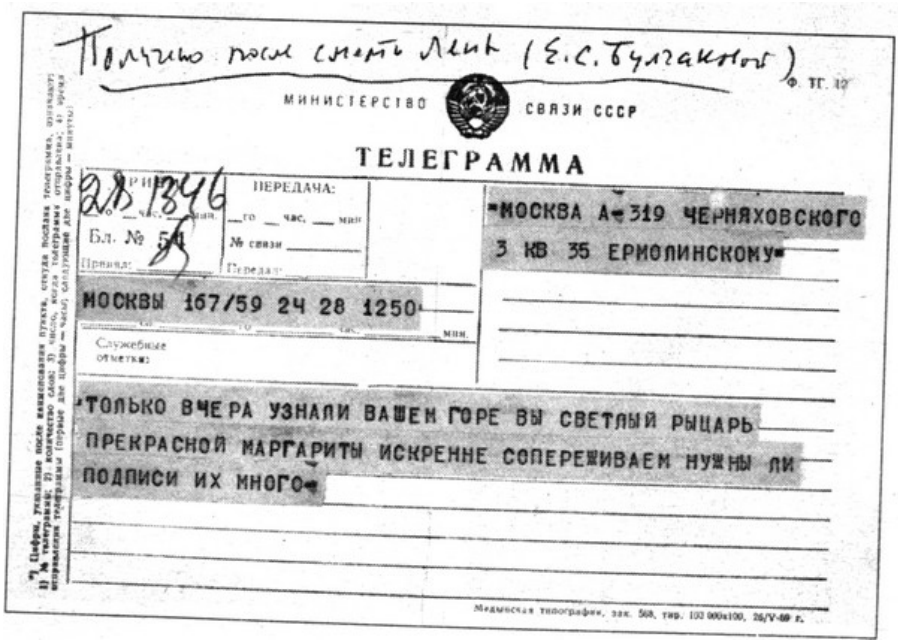
Ю. Оксман, Т. Луговская, Б. Грибанов, С. Ермолинский, Г. Пожинян

С. Ермолинский на съемках фильма «Неуловимые мстители»

С. Лебедева, Н. Сухоцкая и Т. Луговская, Верея, 1956



С. Ермолинский, 70-е гг.



Получено после смерти Лены (Е.С. Булгаковой)

Ф. ТГ. 12

МИНИСТЕРСТВО СВЯЗИ СССР

ТЕЛЕГРАММА

ПРИНЯТА 28.1846

ПЕРЕДАЧА: ___го ___час, ___мин

№ связи

Бл. № 54

Принял: Передал:

МОСКВЫ 167/59 24 28 1250

Служебные отметки:

МОСКВА А-319 ЧЕРНЯХОВСКОГО 3 КВ 35 ЕРМОЛИНСКОМУ

ТОЛЬКО ВЧЕРА УЗНАЛИ ВАШЕМ ГОРЕ ВЫ СВЕТЛЫЙ РЫЦАРЬ ПРЕКРАСНОЙ МАРГАРИТЫ ИСКРЕННЕ СОПЕРЕЖИВАЕМ НУЖНЫ ЛИ ПОДПИСИ ИХ МНОГО

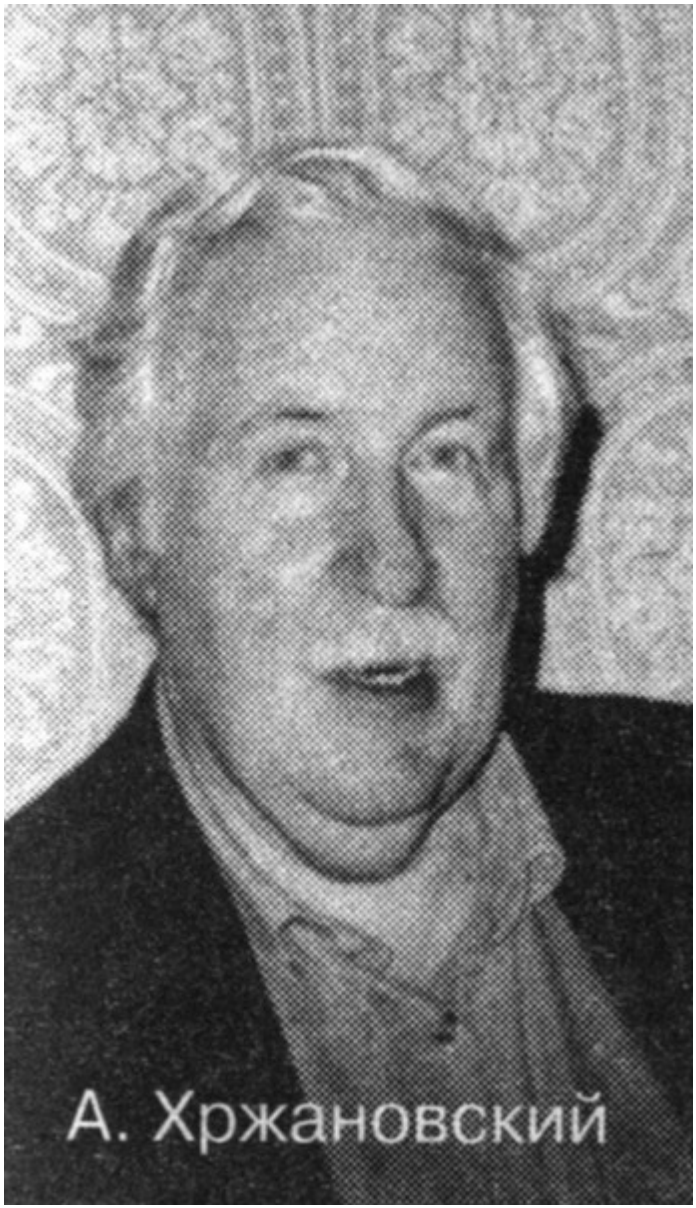
Медынская типография, зак. 568, тир. 100 000х100, 26/V-69 г.

Телеграмма о смерти Е. С. Булгаковой

В. Каверин

Н. Крымова

В. Лакшин



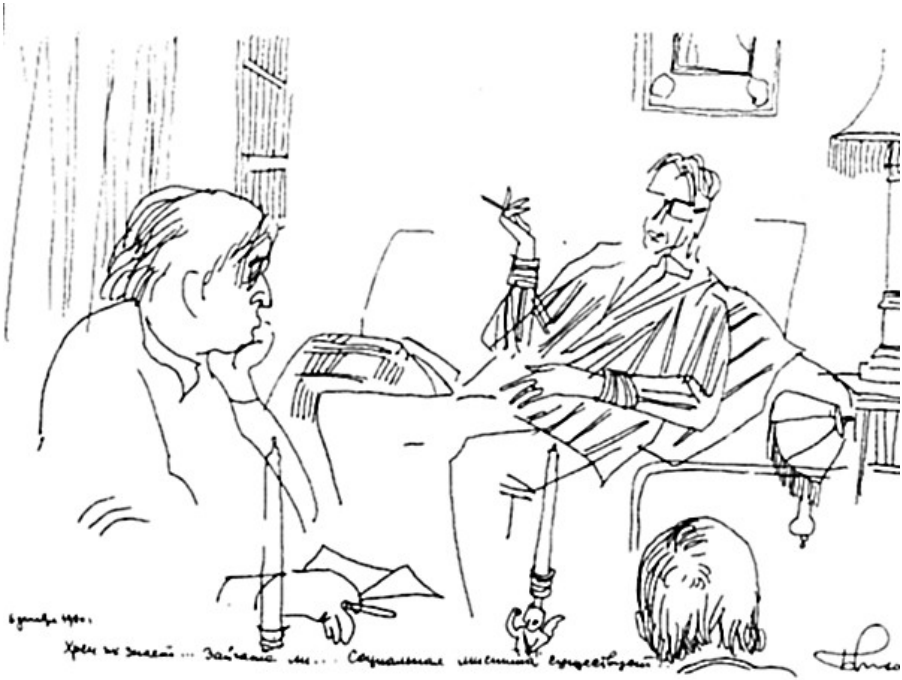
А. Хржановский

В. Берестов

Н. Рязанцева

Л. Лиходеев, С. Ермолинский,
Б. Галантер

Н. Крымова, Д. Данин,
Н. Эйдельман



Рисунки Б. Жутовского

А. Демидова и С. Ермолинский

Кабинет С. Ермолинского, начало 80-х гг.

С. Ермолинский и Т. Луговская

Фотография с выставки, посвященной столетию С. Ермолинского

notes

Примечания

1

Крымова Наталья Анатольевна, театральный критик.

2

Л. Н. Толстой. ПСС, *гг.* 79–80. С. 374.

Ответ на письмо восьмилетнего мальчика Сергея Ермолинского из Вильно от 20 марта, который просил Толстого дать «подпись», сообщая при этом, что он «очень хочет быть писателем».

3

Автобиографическая повесть «Юность» печатается в отрывках.

4

Отец С. А. Ермолинского, Александр Иванович Ермолинский (1875(?)—1931), происходил из древнего польского рода Ермолинских (Ярмолинских). Мать — Руфина Юрьевна Ермолинская (в девич. Ульянинская, ум. в 1917 г.) — оставила мужа и ушла к С. С. Любинскому, с которым жила в Польше. С детьми (Сергеем и Татьяной) ей позволялось видеться только летом, на каникулах.

5

«Мистерия Буфф» — пьеса В. В. Маяковского (первый вариант — 1918; второй — 1920–1921).

6

Кугель Александр Рафаилович (1864–1928), литературный и театральный критик. В 1908 году создал театр сатиры и литературной пародии «Кривое зеркало».

7

Отвечая на вопросы, заданные сотрудниками краеведческого музея Калуги, С. А. Ермолинский написал о своих земляках А. Л. Чижевском и К. Э. Циолковском, с которыми был знаком: «Я должен, по-видимому, рассказать лишь об Александре Леонидовиче Чижевском. Вы правы, разумеется, я его хорошо знал. Мы встречались с ним и позднее, после Калуги, в Москве, пока обстоятельства совсем не развели наши дороги, и каждый из нас хлебал свое… Я помню его отца, усатого артиллерийского полковника царской выделки, его тетушку, заменившую ему его рано умершую мать, их дом на Ивановской улице и, наконец, „лабораторию“ Александра Леонидовича, в которой мне все представлялось нарочным, „показушным“, он словно играл в ученого, был очень самоуверен и по тем временам (не в пример нам) хорошо ухожен, краснощек. Одновременно с взрывательными научными идеями, он совмещал страсть к стихам, писал их в огромном количестве (старомодно, скучно) и читал мне. Я был, если можно так выразиться, его доверенным лицом (по части душевной), но называли мы друг друга на „вы“ и по имени и по отчеству. Он терпеть не мог фамильярности (впрочем, мы тут, пожалуй, сходились). Был он старше меня лет на семь, что тогда не могло не сказываться, но как стихотворец он обращался ко мне как к старшему. В остальном он держался без пяти минут нобелевским лауреатом. Именно он познакомил меня с великим калужским „чудаком“ — Циолковским. Их отношения были прелюбопытны. Их связывали общие космические „ереси“. Циолковский приглядывался к нему с любопытством, хотя не раз впадал в негодование от скороспелости его выводов. Циолковский жил слишком напряженно, он был сумасшедше сосредоточен, но, обожая самое фантастическое воображение, не терпел легкомыслия. А у Александра Леонидовича было это легкомыслие, странно сочетавшееся с сухостью и почти „молчалинской“ почтительностью. Он любил к тому же прихвастнуть своими академическими связями, поддержкой Луначарского и т. п. Циолковский странновато фыркал и вдруг становился глухим: „Что? Что?“ — переспрашивал он. Он действительно был глуховат, но окончательно притворялся глухим, когда это было ему нужно. Тем не менее приходу Александра Леонидовича он всегда искренне радовался, ибо чувствовал в Чижевском одного из тех, немногих тогда, кто относился к нему не только восторженно, но и с непоколебимой верой.

Об Александре Леонидовиче я написал (не называя его имени) в своей повести „Пещерный человек“. Там очень точно рассказана история напечатания его первой книжки (о влиянии солнечных пятен на ход исторических событий). Книжка была издана автором (при посредстве одного деляги, сумевшего в Калуге раздобыть бумагу и договориться с типографией). Это со скромным тиражом калужское издание вызвало, как известно, скандал в большой прессе. Дальнейшая научная судьба Чижевского кратко (и тоже точно) очерчена мною в той же повести».

8

Ильинский Игорь Владимирович (1901–1987), известный актер театра и кино, в 20-х годах игравший в театре Мейерхольда. Роль Брюно Ильинский исполнял в спектакле «Великодушный рогоносец» по Кромелинку (1922).

9

Камерный театр, главным режиссером которого был А. Я. Таиров (1885–1959), находился на Тверском бульваре, после ликвидации в 1949 году был переименован в театр им. Пушкина.

10

Супрематизмом называлось формалистическое течение в живописи, связанное с построением цветовых поверхностей.

11

Церетелли Николай Михайлович (1890–1942), наст, имя Саид Мир Худояр — внук эмира бухарского, ведущий актер Камерного театра.

12

Коонен Алиса Георгиевна (1889–1974), ведущая актриса Камерного театра, жена Таирова.

13

Мариенгоф Анатолий Иванович (1897–1962), поэт, прозаик, драматург, мемуарист.

14

Шершеневич Вадим Габриэлевич (1893–1942), поэт, переводчик, литературовед.

15

Татлин Владимир Евграфович (1885–1953), художник.

16

Хлебников Велимир (Виктор Владимирович) (1885–1922), знаменитый поэт-футурист, прозаик, драматург.

17

Покровский Михаил Николаевич (1868–1932), историк, парийный деятель, академик, автор «Русской истории с древнейших времен».

18

Кизеветтер Александр Александрович (1866–1933), историк, общественный деятель, с 1922 года за границей, проф. Пражского университета.

19

Богословский Михаил Михайлович (1867–1929), историк, академик.

20

Сакулин Павел Никитич (1868–1930), литературовед, академик.

21

Пиксанов Николай Кирьякович (1878–1969), литературовед.

22

Бродский Николай Леонидович (1881–1951), литературовед.

23

Гроссман Леонид Петрович (1888–1965), литературовед, писатель. Автор книг о Достоевском, Пушкине, Лескове и др.

24

Челпанов Георгий Иванович (1862–1936), психолог, логик. Основатель и директор Московского психологического института.

25

Бердяев Николай Александрович (1874–1948), религиозный философ. В 1922 году выслан за границу, основал религиозно-философское общество «Путь» и одноименный журнал.

26

Эллис-Кобылинский — Эллис — псевдоним поэта, переводчика и критика, теоретика символизма Льва Львовича Кобылинского (1879–1947).

27

Конрад Николай Иосифович (1891–1970), востоковед.

28

Поливанов Евгений Дмитриевич (1891–1938), востоковед, лингвист.

29

Пьеса С. А. Ермолинского, написанная в ссылке. Была поставлена в театре им. Станиславского в 1952 году М. Яншиным и Т. Кондрашевым.

30

Зощенко Михаил Михайлович (1895–1958), *Иванов Всеволод Вячеславович* (1895–1963), *Никитин Николай Николаевич* (1895–1963), *Тихонов Николай Семенович* (1896–1979), *Федин Константин Александрович* (1892–1977), *Пильняк Борис Андреевич (Вогау)* (1894–1938), *Пришвин Михаил Михайлович* (1873–1954), *Шагинян Мариэтта Сергеевна* (1888–1982), *Лидин Владимир Германович* (1894–1979), *Форш Ольга Дмитриевна* (1873–1961) — писатели.

31

Сменовеховцы… — общественно-политическое движение, основывающееся на идеологии евразийства, которое в 20-е годы, в основном, исповедовалось бывшими эмигрантами, некоторые впоследствии вернулись в СССР. Идеолог — Н. В. Устрялов.

32

Сорокин Питирим Александрович (1889–1968), социолог, эмигрировал из России в 1922 году.

33

Потебня Александр Афанасьевич (1835–1891), филолог-славист; *Эйхенбаум Борис Михайлович* (1886–1959), историк литературы; *Жирмунский Виктор Максимович* (1891–1971), литературовед; *Шкловский Виктор Борисович* (1893–1984), писатель, литературовед.

34

Потапенко Игнатий Николаевич (1856–1929), писатель, друг Чехова.

Никандров Николай Николаевич (Шевцов), писатель.

36

«Серапионовы братья» — литературная группа, возникшая в 1921 году.

37

Моравская Мария Магдалина Франческа Людвиговна (1889–1947), поэтесса, прозаик, критик.

38

Нижинский Вацлав Фомич (1890–1950), артист балета, балетмейстер.

39

Осоргин Михаил Андреевич (1878–1942), писатель.

40

Южин (Сумбатов) Александр Иванович (1857–1927), актер, драматург.

41

*Сологуб (Тетерников) Федор Кузьмич (*1863–1927), писатель, поэт; *Зайцев Борис Константинович* (1881–1972), писатель; *Замятин Евгений Иванович* (1884–1937), писатель; *Шмелев Иван Сергеевич* (1873–1950), писатель; *Иванов Вячеслав Иванович* (1866–1949), поэт.

42

Редактором-издателем журнала «Россия» был Исай Григорьевич Лежнев (Альтшуллер) (1891–1955), он стал прототипом Рудольфа в повести «Тайному другу» и Рудольфи в «Театральном романе» Булгакова. Вот каким он предстает в повести «Тайному другу»: «Видите ли, в Москве в доисторические времена (годы 1921–1925) проживал один замечательный человек. Был он усеян веснушками, как небо звездами (и лицо и руки), и отличался большим умом. Профессия у него была такая: он редактор был чистой крови и Божьей милостью и ухитрился издавать (в годы 1922–1925!!) частный толстый журнал! Чудовищнее всего то, что у него не было ни копейки денег. Но у него была неописуемая воля и, сидя на окраине города Москвы в симпатичной, грязной квартире, он издавал». Цит. по: Мариэтта Чудакова «Неоконченное сочинение Михаила Булгакова». Новый мир, 1987, № 8, с. 166.

43

Тарас Костров… — наст. имя Александр Мартыновский (1901–1930), критик и публицист. Главный редактор «Комсомольской правды», «Молодой гвардии», создал журнал «За рубежом».

Багрицкий (Дзюбин) Эдуард Георгиевич (1895–1934), поэт.

45

Николай Юрьевич Ульянинский (1872–1937), известный библиограф, в 20-е годы директор библиотеки Наркомпроса. Брат матери С. А. Ермолинского Руфины Юрьевны Ульянинской. Семья Ульянинских была известна библиофилами и видными коллекционерами: *Дмитрий Родионович Ульянинский* (1756–1854) — директор Синодальной типографии; *Дмитрий Васильевич Ульянинский* (1861–1918) — известный собиратель старинных книг и гравюр, его библиотека составляла около 70 000 томов. Эта библиотека, а также библиотека Н. Ю. Ульянинского, стала частью коллекции Румянцевской библиотеки (впоследствии — Библиотеки им. В. И. Ленина). Библиотека С. А. Ермолинского тоже была по-своему замечательной, в ней находилось много редких книг; по завещанию она была передана библиотеке Союза Театральных деятелей на Страстном бульваре.

Райзман Юлий Яковлевич (1903–1994), кинорежиссер.

47

Косматое Леонид Васильевич (1901–1977), кинооператор.

48

Ферсман Александр Евгеньевич (1883–1945), ученый геохимик и минералог.

49

Печатается по книге: *С. Ермолинский.* Из записок разных лет. Михаил Булгаков. Николай Заболоцкий. — М.: Искусство, 1990.

50

Слезкин Юрий Львович (псевд. Жорж Деларм) (1885–1947), прозаик.

51

Ангарский — Клестов Николай Семенович (1873–1941), революционер, критик, издатель. С 1922 года возглавлял журнал «Недра».

52

Лужский Василий Васильевич (1869–1931), артист и режиссер МХАТа. Принимал участие в решении вопросов, связанных с постановкой «Дней Турбиных».

Необходимо отметить, что после успеха спектакля Луначарский писал о пьесе уже в ином тоне, критикуя ее не с художественной, а с идеологической стороны.

54

Литовский Осаф Сесенович (1892–1971), театральный критик, драматург. В 1932–1937 гг. — председатель Главрепеткома. Автор самых яростных статей, направленных против Булгакова. Предположительно является прототипом Латунского из «Мастера и Маргариты».

55

Блюм Владимир Иванович (1877–1941), редактор театральных журналов, заведующий театральной секцией Главрепеткома.

Василевский (Не-буква) — *Василевский Илья Маркович* (1882/83–1938), фельетонист, журналист, критик. Был мужем Л. Е. Белозерской, второй жены Булгакова.

57

Эрдман Николай Робертович (1902–1970), драматург. Автор пьес «Мандат» и «Самоубийца».

58

Венкстерн Наталья Алексеевна (1891–1957), драматург. Автор инсценировки «Пиквикского клуба», в которой Булгаков играл роль судьи.

59

Заяицкий Сергей Сергеевич (1893–1930), прозаик, переводчик, участник чтений в доме Белозерской и Булгакова.

Шиловский Евгений Александрович (1892–1952), второй муж Елены Сергеевны, помощник начальника Академии Генерального штаба, начальник штаба Московского военного округа.

61

Попов Павел Сергеевич (1892–1956), литературовед, первый биограф Булгакова.

62

Горчаков Николай Михайлович (1898–1958), театральный режиссер.

63

См.: Булгаков М. Пьесы. М.: «Искусство», 1962; Булгаков М. Драмы и комедии. М.: «Искусство», 1965.

Тихонов (Серебров) Александр Николаевич (1880–1950), писатель, работник издательства.

65

Сахновский Василий Григорьевич (1886–1945), режиссер, театровед.

Марков Павел Александрович (1897–1980), театральный критик, с 1925 года заведующий литературной частью МХАТа.

67

Городецкий Сергей Митрофанович (1884–1967), поэт, прозаик, переводчик.

68

Пырьев Иван Александрович (1901–1968), известный кинорежиссер, работал с Булгаковым над экранизацией «Мертвых душ».

Каростин Михаил Степанович, кинорежиссер.

Таких списков было несколько. Первый назывался — «Список врагов М. Булгакова по Турбиным», более полный (на нем есть сбоку приписка, рукой Елены Сергеевны).: «Авторы ругательных статей о Мише». Булгаков М. А. Дневники. Письма /Сост. В. Лосев. М., 1997.

71

Дмитриев Владимир Владимирович (1900–1948), театральный художник, рисовал Булгакова в последние дни жизни и в день похорон.

72

Вильямс Петр Владимирович (1902–1947), живописец, театральный художник, близкий друг Булгаковой.

73

Мелик-Пашаев Александр Шамильевич (1905–1964), с 1931 года дирижер Большого театра.

Куза Василий Васильевич (1902–1941), актер и режиссер театра им. Вахтангова.

75

Симонов Рубен Николаевич (1899–1968), актер и с 1924 года главный режиссер театра им. Е. Вахтангова.

Бокшанская Ольга Сергеевна (1891–1946), сестра Е. С. Булгаковой, секретарь В. И. Немировича-Данченко.

77

Авербах Леопольд Леонидович (1903–1939), критик, генеральный секретарь РАППа, один из яростных гонителей Булгакова.

78

Елена Сергеевна очень трепетно относилась ко всему, что касалось памяти Булгакова. Когда Ермолинский готовил свои записки о Булгакове, Елена Сергеевна помогала ему, надиктовывая страницы из своих дневников, так как все записи тех лет Сергея Александровича исчезли в архивах Лубянки. Тетради с записями отрывков из дневников Елены Сергеевны находятся в домашнем архиве Сергея Александровича. Она подарила ему и бесценную реликвию — булгаковский перстень с сапфиром, а перед смертью на одной из последних фотографий написала: «Миша тебя любил. Л.».

Фотография эта и поныне стоит на полке в кабинете С. А. Ермолинского, сохраненном в том же виде, что и при его жизни. К сожалению, эта фотография была использована недоброжелателями Ермолинского в той травле, которой уже после смерти подвергся Сергей Александрович.

В журнале «Советское фото» за 1988 № 4 в статье «Осторожно, история» утверждалось, что эта фотография на самом деле была подарена не Ермолинскому, а Сергею Шиловскому — пасынку Булгакова, младшему сыну Елены Сергеевны (которому в 1935 году шел девятый год). Автор статьи, в частности, ссылался на разговор, состоявшийся в 1988 году с вдовой друга Булгакова Николая Лямина — Н. А. Ушаковой, утверждавшей, что 29 октября 1935 года она вместе с мужем была у Булгакова и не видела, как он дарил эту фотографию Ермолинскому. Ушакова также недоумевала, отчего фотография была подарена не старому другу — Лямину, а Ермолинскому. В том же 1988 году состоялся и телефонный разговор автора статьи с М. А. Чамишкиан, первой женой С. А. Ермолинского, подтвердившей, что этой фотографии она в доме не видела. По ее свидетельству, при аресте Ермолинского фотография, даже если бы она и была, неминуемо должна была исчезнуть — «…изъяли все бумаги, документы, письма, фотографии, принадлежавшие Ермолинскому, была составлена опись, под которой я расписалась, — фотография с надписью там не значилась…» В конце статьи автор подвергал сомнению и саму форму обращения Булгакова к Ермолинскому — «Дорогой Сережа», почему-то полагая, что так можно обращаться только к ребенку, то есть к Сергею Шиловскому. Не вполне ясным автору статьи представлялось лишь одно обстоятельство: каким образом фотография оказалась у Ермолинского.

Нам же аргументация автора статьи представляется надуманной и малоубедительной.

Тому, что фотография подарена не Лямину, как хотелось бы его вдове Н. А. Ушаковой, удивляться не приходится. Уже в конце 20-х гг. взаимоотношения Булгакова и «пречистенцев», к кругу которых принадлежал и Н. Лямин становились все более и более прохладными, а брак Булгакова с Еленой Сергеевной и вовсе развел прежде близких друзей.

Ермолинский же стал близким человеком в новой семье, у него сложились теплые дружеские отношения с Еленой Сергеевной, которую не приняли многие прежние друзья,

привязанные к веселому дому Любови Евгеньевны.

Что же касается письменного обращения «дорогой Сережа», якобы немыслимого для Михаила Афанасьевича по отношению к кому бы то ни было, кроме маленького мальчика, то это замечание не выдерживает никакой критики. Как бы того ни хотелось недоброжелателям Сергея Александровича, но Булгакова и Ермолинского действительно связывала крепкая и трогательная дружба, отличная от других дружб Булгакова — дружба старшего и младшего, учителя и ученика (Ермолинский на десять лет младше). К 1935 году они были на «ты», обращались друг к другу «Миша» и «Сережа», к тому же сохранилось немалое количество письменных свидетельств подобных отношений, на что, разумеется, при желании могли бы обратить внимание авторы подобных «сенсационных» публикаций. «Дорогой Сережа!» — так обращается Булгаков к Ермолинскому в письмах от 14.06.36, от 18.06.1937, от 13.8.39. (Булгаков М. Дневник. Письма. 1914–1940. М., 1997.) Подобным же обращением начинается и шуточная надпись, сделанная Булгаковым в 1938 г., на книге Масперо «Древняя история народов Востока», подаренной им Ермолинскому. Отметим, кстати, что шутливое письмо Булгакова его пасынку С. Шиловскому, датированное 03.06.38 (также приведенное в книге «Дневники. Письма. 1914–1940»), начинается с обращения «Дорогой Сергей!», да и подписано не «Твой Михаил» или не «Твой М. Б.» (как письма), и не «Твой любящий искренно М. Булгаков» (как та самая фотография), а «Твой Дя Ми».

Не вызывают доверия и свидетельства первой жены Ермолинского М. А. Чамишкиан-Ермолинской, якобы не знавшей о существовании в доме фотографий Булгакова (отметим, кстати, что в 1991 году еще одна фотография Булгакова — 1937 г., также с дарственной надписью Ермолинскому, наряду с другими подарками была передана вдовой Ермолинского Т. А. Луговской в открывающийся музей М. А. Булгакова в Киеве).

Что же касается списка всех бумаг и документов, изъятых во время обыска, в котором якобы (по свидетельству той же Марии Артемьевны) не значилась фотография Булгакова, то ответ на это можно найти в примечаниях Т. А. Луговской к эпизоду книги Ермолинского, в котором описывается обыск. В комментариях к книге Ермолинского «Из записок разных лет» 1990 года издания Татьяна Луговская писала: «Когда в пятидесятых годах, после смерти Сталина, мы с Ермолинским получили возможность жить вместе, вся моя комната была завалена его книгами. Он с упоением их перебирал и ставил на стеллажи по порядку, а не в три ряда, как было до этого. Каково же было его радостное

удивление, когда, раскрыв одну большую книгу, он обнаружил там следующее:

1. Письмо Льва Николаевича Толстого (ответ восьмилетнему Ермолинскому. Впоследствии оно было передано Музею Толстого на улице Кропоткина).

2. Письмо Булгакова (хранится в архиве С. А. Ермолинского).

3. Две фотографии Булгакова (1935 и 1937 гг.), обе с дарственными надписями Сергею Александровичу от Михаила Афанасьевича.

Эти бесценные вещи никогда не лежали вместе, тем более в книге. Значит, среди обыскивающих была доброжелательная рука, которая помогла сохранить эти бесконечно дорогие для Ермолинского реликвии».

Отметим в довершение и следующее: фотография, ставшая предметом полемики, многие годы стояла на видном месте в рабочем кабинете С. А. Ермолинского, где ее, разумеется, видели все бывавшие в этом доме и в том числе Е. С. Булгакова. Сложно понять, зачем было бы Елене Сергеевне покрывать Ермолинского, каким-то образом присвоившего себе фотографию, подаренную Михаилом Афанасьевичем ее сыну.

Может быть, не стоило бы столь подробно останавливаться на этой столь бездоказательной заметке, но публикация в «Советском Фото» привела к тому, что в издании «Дневник Елены Сергеевны Булгаковой» (М., 1991), подготовленном Л. Яновской и В. Лосевым, под фотографией Булгакова значится, что этот снимок подарен Сергею Шиловскому. В книге, составленной В. Лосевым «М. Булгаков. Дневник. Письма. 1914–1940», часть фотографии с дарственной надписью и вовсе отрезана, видимо, чтобы как-то обойти эту проблему.

80

В 4 часа 39 минут.

81

Иванов Всеволод Вячеславович (1895–1963), прозаик, драматург.

Леонов Леонид Максимович (1899–1994), писатель, драматург.

83

Леонтьев Яков Леонтьевич (1890–1948), заместитель директора Большого театра.

Маршак Самуил Яковлевич (1887–1964), поэт, переводчик.

85

Виленкин Виталий Яковлевич (1911–1995), заместитель заведующего лит. Частью МХАТа.

86

Файко Алексей Михайлович (1893–1978), театральный драматург.

87

Шапошников Борис Валентинович (1890–1956), художник, искусствовед.

Павленко Петр Андреевич (1899–1951), советский писатель.

89

Т. А. Луговская в комментариях к изданию книги 1990 года писала: «Отсутствие нормального паспорта у Ермолинского не давало нам возможности находиться вместе, поэтому каждое лето мы садились на волжский пароход, брали с собой работу и ехали до Астрахани и обратно. У нас две одноместные каюты и общая крыша над головой — счастье и свобода, в которые трудно поверить. Подъезжаем к Саратову, и вдруг Сергей Александрович очень твердо говорит мне: „Я выйду один“. Переполненная недоумением, остаюсь на пароходе. Стоянка недлительная. Первый звонок. Второй. Готовый к отплытию пароход начал дрожать (он колесный). С тревогой смотрю на пристань. Третий звонок. Среди редких людей показалась светлая голова Сергея Александровича. Стук в мою дверь. И вот рассказ Ермолинского: „Я решил попытаться найти Прасковью Федоровну. Постоял, подумал: в какую сторону идти? Кажется, река была слева? Пустое поле поднималось перед глазами то выше, то ниже — холмы. Ни дерева, ни строения. Время уже на исходе, мне нужно возвращаться на пароход. Вдали показалась фигура с громоздкой поклажей на плече. Она то исчезала в низине, то опять появлялась на холме. Уже ясно было видно, что идет женщина. Я остановился с надеждой спросить у нее, где же тут могут быть хибарки и куда они делись? Или я пошел в другую сторону? Приблизившись ко мне, женщина вдруг бросает поклажу на землю и с криком „Ермолов, жив?!“, начинает обнимать меня. Передо мной стояла сама Прасковья Федоровна. Все, что я успел, — это расцеловаться с ней и записать ее адрес“. Невероятно! В жизни такого не бывает! С этого времени в течение нескольких лет во взаимоотношения с Прасковьей Федоровной Новиковой вступила я. Пошли посылки из Москвы в ее адрес. А потом пришло печальное известие, что адресат выбыл. Смерть прервала эту связь с Прасковьей Федоровной, женщиной, спасшей жизнь Сергею Александровичу… Вот такой необыкновенный случай был с нами, когда мы в 1949 году плыли на колесном пароходе „Радищев“ в Астрахань».

Марика (Мария) Артемьевна Чамишкиан-Ермолинская (род. 1904), первая жена Сергея Александровича.

Марика Артемьевна была родом из Тбилиси, где Булгаков и Белозерская и познакомились с ней в 1928 году. В надежде получить образование и работу она приехала в Москву и остановилась в доме Булгакова и Белозерской. Именно в этом доме Ермолинский сделал ей предложение. То обстоятельство, что Ермолинский в своей первой публикации 1966 года в журнале «Театр» только упомянул о Марике Артемьевне, первой жене, которая, как и он, была тесно связана с домом Булгаковых, вызвало резкое неприятие Л. Е. Белозерской и позволило поставить под сомнение достоверность «Записок» в целом. По всей видимости, Ермолинский, рассказывая о Булгакове, не считал необходимым посвящать читателей в подробности своей личной жизни. Полагаем, что в упреках Любови Евгеньевны сквозила ревность и обида: Ермолинский стал близким другом не только М. А. Булгакова, но и его жены Елены Сергеевны.

В результате с легкой руки Белозерской воспоминания Ермолинского стали восприниматься некоторыми булгаковедами как «недостоверные».

Посмеем утверждать, что Сергею Александровичу не в чем было себя упрекнуть. Их супружеская жизнь с Марикой Артемьевной была подвергнута серьезнейшему испытанию: 10 октября 1940 года Ермолинский был арестован, и их отношения надолго прервались. До 1943 года Ермолинский фактически исчез из жизни, о его местопребывании не знал никто из родных и знакомых.

В 1946–47 годах Ермолинский стал тайно (он был еще в ссылке) наезжать в Москву и пытался восстановить свою семейную жизнь, но, видимо, прежние отношения так и не наладились. В 1947 году он встретил Т. А. Луговскую и с этого времени его связи с Марикой Артемьевной фактически прекратились, но все годы, до самой своей смерти, Сергей Александрович помогал ей материально.

91

Ю. А. Райзман был режиссером «Машеньки».

92

Коварский Николай Аронович (1904–1974), критик, сценарист, литературовед.

93

Блейман Михаил Юрьевич (1904–1973), сценарист, критик.

Смирнова Мария Николаевна (1905–1993), сценарист (фильмы — «Член Правительства», «Сельская Учительница»).

95

Магарилл Софья Зиновьевна (1900–1943) актриса кино, жена режиссера Г. Козинцева. Умерла от сыпного тифа, заразившись от С. А. Ермолинского, за которым ухаживала в больнице.

Эрмлер Фридрих Маркович (1898–1967), режиссер.

97

Ауэзов Мухтар Омарханович (1897–1961), казахский поэт.

Барнет Борис Васильевич (1902–1965), кинорежиссер.

Эйзенштейн Сергей Михайлович (1898–1948), кинорежиссер.

100

Пудовкин Всеволод Илларионович (1893–1953), кинорежиссер.

101

Козинцев Григорий Михайлович (1905–1973), кинорежиссер.

102

Чиаурели Михаил Эдишерович (1894–1974), кинорежиссер.

103

Вачнадзе Наталья Георгиевна (1904–1953), известная грузинская актриса.

Чиковани Симон Иванович (1903–1966), грузинский поэт.

105

У Ермолинского была задумана книга о Булгакове в трех частях. Первая часть — «Булгаков при жизни». Ее в расширенном виде и без купюр, которые вынуждены были сделать в издании 1982 года, мы и помещаем в этом сборнике.

Вторая часть — тюрьма, Алма-Ата, Грузия, написанная в черновике, прервалась на полуслове, смерть оборвала работу. И все же мы решили предложить эту часть вниманию читателей.

Третья часть — «Булгаков после смерти», куда должны были войти воспоминания о всех мытарствах с изданием сочинений Булгакова и подвиге Елены Сергеевны Булгаковой. «Хождение по мукам» Елены Сергеевны и его самого, их тайные разговоры и хлопоты о наследии Булгакова.

От этой части сохранилась лишь хронология их хождений по редакциям… В конце следует короткая запись, ее хотелось бы привести полностью: «Отрывок из моих воспоминаний неожиданно напечатали в журнале „Театр“ в 1966 году (редактор Ю. С. Рыбаков). Более ста писем получил я от читателей… Леночка очень любила мои воспоминания. Она умерла вечером 10 июля 1970 года. Если бы ее не было на свете, то сочинения Михаила Афанасьевича, думаю, еще долго пролежали бы в ящиках стола. Моя роль в их осуществлении была ничтожна: я лишь посильно помогал. Ее энергии и мужеству кланяюсь низко. Не хватает у меня сил писать о ней, очень мне трудно — до боли».

Т. А. Луговская

106

Шиловский Сергей Евгеньевич (1926–1976), младший сын Е. С. Булгаковой.

107

Шиловский Евгений Евгеньевич (1921–1957), старший сын Е. С. Булгаковой.

108

Печатаются по: «Независимая газета», 16.05.1995. Публикация Г. Файмана, Вл. Виноградова, В. Гусаченко (Архив ФСБ).

109

Публикуется впервые.

110

Брик Лиля Юрьевна (1891–1979), актриса, возлюбленная В. Маяковского, автор воспоминаний о нем.

111

Женя К. — Калужский Евгений Васильевич (1896–1966), актер МХАТа, муж О. С. Бокшанской.

112

Письмо написано после смерти сестры Е. С. Булгаковой Ольги Бокшанской.

113

Вл. Ал. — *Луговской Владимир Александрович* (1901–1957).

Поля… — домработница семьи Луговских.

115

Письмо, написано после смерти В. Луговского.

116

Видимо, речь идет о Е. А. Шиловском, втором муже Е. С. Булгаковой, умершем в 1952 году и А. Ш. Мелик-Пашаеве, скончавшемся в 1964 году.

Розов Виктор Сергеевич (1913), драматург.

118

Симонов Константин Михайлович (1915–1979), писатель.

119

Яншин Михаил Михайлович (1902–1976), актер МХАТА, режиссер.

Ляндерс Семен Александрович, литератор.

121

Бернес Марк Наумович (1911–1969), актер кино, популярный певец.

122

Гердт Зиновий Ефимович (1916–1996), актер театра и кино.

123

Сын и невестка А. С. Нюренберга (брата Елены Сергеевны).

Роом Абрам Матвеевич (1894–1976), кинорежиссер.

125

Жизнева Ольга Андреевна (1899–1972), актриса, жена А. М. Роома.

126

Ермолинская Мария Артемьевна, первая жена С. А. Ермолинского.

127

Алигер Маргарита Иосифовна (1915–1992), поэтесса.

Сергей и Таня — сын Е. С. Булгаковой и ее невестка.

129

Ильина Наталья Иосифовна (1914–1994), писательница.

130

Тэффи (Лохвицкая) Надежда Александровна (1872–1952), писательница.

131

Тэсс Татьяна, советская журналистка.

132

Ахметов Спартак Фатыхович (1938–1996), автор научных книг.

133

В кн.: *С. Ахметов.* Камень твоей судьбы. М., 1992.

134

Левинсон Борис Леопольдович (р. 1919), актер театра им. Станиславского, с 1957 г. — театра им. Маяковского. Играл Грибоедова в пьесе С. А. Ермолинского.

135

Каверин Вениамин Александрович (1902–1989), писатель, автор романов «Два капитана», «Открытая книга» и др.

В кн.: *В. А. Каверин.* Письменный стол. М., 1985.

137

Хржановский Андрей Юрьевич (р. 1939), режиссер-аниматор.

138

Впервые опубликовано в газете «Экран и сцена», дек. 2000.

139

Юрский Сергей Юрьевич (р. 1935), актер театра и кино.

140

Впервые опубликовано в «Общей газете», 14–20 дек. 2000.

Рязанцева Наталья Борисовна (р. 1938), кинодраматург.

142

Печатается впервые.

143

Шпаликов Геннадий Федорович (1937–1974), кинодраматург, поэт.